Леонид Мартынов

Черты сходства



Леонид Мартынов

Черты сходства

Новеллы

«Современник»
Москва
1982

Р2
М 29

Составитель В. В. Сякин

Мартынов Л. Н.

М 29 Черты сходства: Новеллы.— М.: Современник, 1982.—224 с.— (Новинки «Современника»).

В 1974 году в издательстве вышла автобиографическая книга выдающегося советского поэта Леонида Мартынова «Воздушные фрегаты».

Новая книга новелл-воспоминаний — о времени, его событиях, людях (которую автор передал издательству незадолго до своей кончины) — продолжает первую и называется «Черты сходства».

В нее вошли также новеллы о примечательных личностях прошлого: сестрах Бакуниных, Адаме Мицкевиче, русском картографе и историке С. Ремезове.

М $\frac{4702010200-133}{М106(03)-82}$ 34—82

ББК84Р7
Р2

Знак бесконечности

Явленье птицы Ундервуд

1

В моей поэме «Адмиральский час», помимо всего остального, упоминается и казахский всадник. «Его узорный малахай — экзотика для иностранцев»,— писал я. Но не только для иностранцев был экзотикой головной убор степного гостя на улицах Омска, или на железнодорожных станциях, либо на речных пристанях Степного Края. Крытый цветной тканью лисий малахай, кнут за поясом, кошель за пазухой — все это привлекало внимание не только чехов, румын или шотландцев, но и многих своих, русских, впервые попавших за Урал из Европейской России. За Уралом многое казалось удивительным, почти невероятным, например, огромные колеса мороженого молока, катимые по снегу Казачьего базара, или, скажем, кони, о которых речь пойдет дальше, либо коровы, либо овцы, гонимые казахами в город на продажу или на бойню,— словом, стада скотины, которые могли бы где-нибудь на пригородном переезде, поломав шлагбаум, остановить не только транссибирский экспресс, но и товарный состав, эшелон с мукой и мясом для столицы и промышленных центров республики. Я привожу последний пример не случайно, потому что дальше речь пойдет именно о бригаде войск внутренней охраны путей сообщения.

Итак, бригада ВОХР двигалась на восток ранней весной 1920 года. Эта бригада, руководимая опытными комиссарами в кожаных куртках и военспецами в бекешах и барашковых папахах, имела подрывную команду, бойцы которой были в большинстве из крестьян, хотя оказался среди красноармейцев один средних лет ресторанный повар, мастер по приготовлению третьих (сладких) блюд, и один бывший театральный декоратор, мечтавший осуществить теперь силами бойцов постановку небезызвестной в дореволюционное время пьесы «Царь Иудейский», принадлежавший, как известно, перу автора, скрывшегося за инициалами К. Р.

Однако не эти колоритные люди являются героями данного рассказа, а речь пойдет о семнадцатилетней машинистке штаба бригады, девушке, отстукивающей на «Ундервуде» всевозможные приказы, отчеты, циркуляры и инструкции по охране Великого Сибирского железнодорожного пути от всякой скверны, мерзости и напасти.

Проделывая долгий, более чем тысячекилометровый, бросок по следам отступавшего и затем наголову разгромленного Колчака, бригада быстро двигалась с Котельнича на Вятку, Пермь и дальше, переходя по только что восстановленным мостам большие и малые реки. Поднявшись на Урал, миновали провинциальные граниты и мраморы старого Екатеринбурга. Бойцы и командиры бригады, равно как и щебечущая на «Ундервуде» машинистка, конечно, рассуждали меж собою о судьбе семьи Романовых, закончивших свой век в екатеринбургском подвале, а также и о Распутине, чья покинутая им бревенчатая берлога скрывалась в лесах меж Тюменью и Тобольском. Но больше думалось не об этом, а о текущих делах. Хозяйка птицы Ундервуд вспоминает, что в это время от Екатеринбурга до Тюмени она перепечатывала трехсаженный приказ бригадного врача о санитарном состоянии служб, бараков и казарм в полосе отчуждения. Так миновали Тюмень. Затем, оставив позади Ялуторовск, Заводоуковск, Паклевскую, Коззел, Ишим, бригада ВОХР к началу лета достигла желтоватого Иртыша и наконец за этой знаменитой, воспетой еще самим Рылеевым (да и, как увидим ниже, не только Рылеевым), мутноводною широкой рекою углубилась в путаницу подъездных путей между Порт-Артуром и Атаманским хутором, двумя пыльно-солончаковыми предместьями бывшей колчаковской столицы.

2

Секретарь-машинистка штаба бригады ВОХР так и не побывала тогда в самом Омске, в бедовом старом Омске, опустевшем после беженцев и интервентов. Этот город, в прошлом, 1919 году распухавший в полумиллионный Вавилонище и затем вернувшийся в свое естественное состояние, посещался теперь разве только окрестными земледельцами да казахами-скотоводами, съезжавшимися на городские базары, вроде Казачьего базара, где между каланчой и цирком бродил в числе прочих и я. Но и казахи в малахаях, и я в джек-лондоновской шляпе и

ковбойке не стали, как я уже сказал, объектом наблюдения и любования девушки из штаба бригады ВОХР.

Их состав поставили на один из бесчисленных запасных путей станции Омск-Пассажирская, позади депо, ближе к железнодорожному поселку с его коричневыми, обсаженными желтыми акациями одноэтажными домиками в стиле времен строителя дороги инженера Михайловского, писателя Гарина тож! Маститый художник слова создал этот участок Великого Сибирского пути, и я, все еще юный и неизвестный стихотворец, снабжал хроникой не только городскую, но и железнодорожную газетку, конечно заглядывая для этого и на вокзал, и в железнодорожные мастерские, и в Сибопс, то есть в пятиэтажный серо-бурый дом Сибирского округа путей сообщения, где, кстати, работал кем-то вроде счетовода, стоя, как Достоевский, за своей конторкой, король писательский Антон Сорокин. Поблизости от Сибопса в китайских лавочках у вокзала городской ветки я встретил знакомую девушку Таню, проживавшую с теткой своей Оксаной в домике на колесах. После его исчезновения с привокзальных путей я по воле судеб не обнаружил на близлежащих путях и другого состава, в одном из вагонов которого стрекотала птица Ундервуд. Однако, наблюдая бесконечное переплетение стальных параллелей, я, видимо, слышал пророчески-беззвучный стрекот пишущей машинки, ибо чем же иначе объяснить появление в том же году в газете «Рабочий путь» моего стихотворения, так кончавшегося: «Там с девяти в стеклянной клетке щебечет птица Ундервуд»?

3

Но было еще рано свершиться тому, что свершилось впоследствии. Птица Ундервуд недолго напевала над Иртышом, еще не превратившимся для меня в Ипокрену. То есть он уже превращался — я уже писал и печатал стихи,— только не знал про превращение в Ипокрену Иртыша: как он превращался и когда именно? А пока что скажу: поворотный круг на степном треугольнике за Чертовой Ямой повернул отремонтированные в омском депо локомотивы, и бригада ВОХР, прибывшая в Омск со стороны Ишима, отправилась теперь на эту реку, только выше по ее течению, в город Петропавловск, что несколько поюжнее, по другой, челябинской линии Великого Сибирского пути.

Некоторым читателям, может быть, трудно разобраться во всей этой географии — нелегко это было и повелительнице птицы Ундервуд. Чтобы быть понятнее, я могу сказать, что это те места, та линия, где поблизости Омска в восемнадцатом году омские красногвардейцы сразились у станции Марьяновка с чешскими легионерами Гайды, а десятилетием раньше отец мой, как гидротехник, ремонтировал и воздвигал новые водокачки на участке аж от Челябинска до Омска. Я помню этот путь, где перемещался красный служебный вагончик, из окна которого я, пятилетний, видел среди полыни, ковыля и чертополоха львов, носорогов и тигров. Впрочем, в этом нет ничего удивительного! Сто лет раньше другой мальчик — Петя Ершов — имел в этих степях видение волшебного летающего коня. Так что и мне было немудрено увидеть там вместо теленка льва. И, возвращаясь к моим детским впечатлениям, я вспоминаю еще и совсем иное: во время стоянок отцовского вагона между Исилькулем и Петуховом наш вагонный проводник Станислав приноровился приносить, будто с озер, пойманных там, как он объяснял, диких гусей и уток, пока отец мой не изобличил его в поимке совершенно домашних и гусей и уток, и даже кур и петухов, и не заставил расплатиться с их хозяевами.

Повелительница птицы Ундервуд тоже видела из окна штабного вагона эту степь с ее озерами, болотцами, гусями и утками, эту степь, становящуюся все ковыльнее и полыннее по мере приближения к Петропавловску, то есть, говоря по существу, к Казахстану. И на южной стороне горизонта замаячили не то верблюжьи горбы степных караванов, не то миражи голубых горных массивов, конечно же только миражи, потому что выпуклость земного шара не позволяет с Великого Сибирского пути увидеть эти голубые кокчетавские горы, то есть увидеть Кокчетав из Петропавловска.

Стоящий, в отличие от вулканического Петропавловска-на-Камчатке, на кажущейся абсолютной плоскости степей Петропавловск Акмолинский, пожалуй, был и остается — для меня, конечно,— наиболее знаменитым тем, что в этом городе напечатал в газетке «Приишимье» свой первый рассказ, написанный в 1916 году, тогда наборщик Всеволод Иванов, впоследствии автор многих прекрасных произведений, в том числе замечательного романа «Вулкан», не про камчатские вулканы, а будто про потухший вулкан Карадаг в Коктебеле, а на самом деле про действующие

вулканы душ человеческих. Но об этом я уже писал в другом месте, а теперь отмечу еще кое-какие достопримечательности Петропавловска: в нем провел детские годы сын местного исправника упомянутый выше Петя Ершов, будущий автор «Конька-Горбунка». И, как полагает исследователь его творчества Виктор Утков, киргизские лошадки, дикие и стремительные, и породили в Петином воображении образ сказочного коня. Наконец, еще одной достопримечательностью Петропавловска является Меновой Двор, старинное каменное строение, поражавшее местных романтиков тем, что двери его открывались лишь внутрь!

— Этот Меновой Двор стоял за Новой и Крайней улицами, то есть за краем города, ближе к озерку, куда мы с адъютантом бригады ходили ловить, ну, глушить рыбу гранатой, но только не вышло, рыбы не оказалось, не всплыла, а может быть, озерцо было горько-соленое! — так через полвека рассказала мне она сама, моя дорогая, и тут же воскликнула: — Ну зачем вспоминать такие глупости!..

Вообще моя дорогая не особенно охотно рассказывает о тех временах, а видя, что я пишу обо всем этом, то и дело прерывает мою работу капризным: «Ты неправильно пишешь! Ты приплетаешь бог знает что, разные несерьезные подробности, ты даешь свое истолкование всему и вся!» Мол, вовсе не важно для истории, кто помогал утомленной машинистке перестукивать инструкции и приказы, какую часть коровьей головы или конской ноги получали служащие в виде праздничного пайка! Но как бы то ни было, а я должен, хоть вкратце, рассказать о том, как девушка, почти девочка со школьной скамьи, едва закончив гимназию, переименованную в среднюю советскую школу номер такой-то, и пойдя на первую попавшуюся работу — в штаб какой-то неясной для нее бригады, вдруг оказалась находящейся на военной службе и вместе с семьей (отец тоже поступил работать в эту бригаду по счетной, хозяйственной части), вместе с отцом и матерью и школьником-братом очутилась сперва в тишайшем Котельниче, затем в конце концов в Петропавловске Акмолинском, по улицам которого зачастую вместо людей ходили зимой снежные, а летом песчаные смерчи.

Я должен поведать, хоть вкратце, о том, как личный состав бригады из вагонов переселился в городские квартиры и героиня моего повествования узнала от милейшей своей петропавловской квартирной хозяйки Павлы Пет-

ровны, тоже европеянки, но уже давно осибирячившейся женщины, что как сибиряки делятся на варнаков — каторжников — и просто чалдонов, так и российские: одни люди как люди, а другие — форменные кацапы, и не дай бог за такого кацапа доброй девушке выйти замуж! Когда же моя дорогая спросила у Павлы Петровны, кто же в таком случае ее сын Миша, почтенная женщина ответила, что Миша, выросший здесь, в Петропавловске, искусный объездчик степных скакунов, не варнак, не чалдон, а не кто иной, как джигит!

Павла Петровна научила мать моей дорогой, а также и другую квартирантку, приселенную в порядке уплотнения комиссаршу, то есть жену какого-то комиссара, делать не только сибирские пельмени, но и казахские, азиатские, манты, более крупные, с большим количеством лука, варимые не в воде, а на пару!

Так они жили. Но вскоре пришел приказ бригаде ВОХР двинуться дальше на восток, в Канск, то есть к границам студеной Восточной Сибири, в тот самый Канск, скажу я кстати, где мой друг, вернее, тогда мой будущий друг, Вивиан Итин выпустил как раз в это время на оберточной бумаге, в обложке из синей твердой бумаги, в которую раньше упаковывались сахарные головы, вот на такой бумаге он выпустил в свет первый советский фантастический роман «Страна Гонгури». Но моя дорогая не поехала в холодный Канск, а осталась с семьей в Петропавловске, перейдя, как состоящая на военной службе, из бригады в местный полк. А ее отец, с военной службы уволившись по возрасту вовсе, поступил на железную дорогу. И мне кажется, что моя дорогая, оставшись в Петропавловске, может быть, если не наверняка, выполняла волю рока. Дело в том, что, не будучи знакомы, я и моя дорогая намечали уже между собой в своих поступках и действиях некоторый контакт.

4

Намечался известный контакт, по крайней мере с моей стороны,— нечто вроде смутного ясновидения. Некоторые читатели упрекают меня если не в мистике, то, во всяком случае, в каком-то мистификаторстве, что ли, когда я говорю о вещах, выходящих за пределы ортодоксальной ясной обыденности. Но вот хотя бы и в данном случае: чем, как не сверхточностью восприятия событий, можно объяс-

нить тот факт, что той зимой, когда моя дорогая перешла из бригады в полк, я, не будучи еще ей известен и находясь за двести пятьдесят километров от Петропавловска, в Омске, писал:

Все это было так знакомо —
Петлицы, разговоры, шпоры
И неуклюжие танцоры
На рауте у военкома.
За окнами костры, дозоры,
На окнах снежные узоры,
В одно сливались ваши хоры,
Интеллигенты и танцоры,
На рауте у военкома.

Как годом ранее, я, блуждая по бесконечному пересечению параллельных омского железнодорожного узла, вдруг объявил миру через газету «Рабочий путь», что слышу щебет птицы Ундервуд, так теперь я написал, как будто воочию видел, как моя дорогая танцует на командирском балу, что она и подтвердила впоследствии. Но тогда эти строки были порождены разве что чувством смутно ощущаемой, почти не осознанной ревности, это были телепатические сигналы из города Петропавловска-на-Ишиме.

А затем девушка, уволившись с военной службы, перешла из Военведа в Наркомпуть, в управление степной железнодорожной новостройки, так называемой Кокчетавки. Эта Кокчетавка, скромная, казалось бы, новостройка, стала постепенно расти на смену древним караванным путям и степным казенным почтовым трактам XIX столетия, нацеливаясь с Петропавловска через Кокчетав на Боровое и Акмолинск, то есть на будущий Целиноград, на будущую целину.

Для меня лично эти края, конечно, были сверхсказочно заманчивы с самого детства. И конечно, отнюдь не случайно в детских грезах я из окна служебного вагона своего отца принимал телят за тигров. Ведь в Акмолинской области, административным центром которой был как-никак Омск, хоть и стоящий на северном ее краю, в этой Акмолинской области, правда у южных границ ее с Туркестаном, тигры действительно значились в наличии. Я помню в экспозиции Омского музея Западно-Сибирского отдела Российского Географического общества чучело джульбарса, балхашского тигра. И я помню картинки из омского учебника родиноведения. «Главные звери нашей области,— гласила подпись,— тигр, волк, лисица, барсук,

горностай, кабан, еж, заяц, газель». «Главные птицы: пеликан, цапля, журавль, выпь, чайка». Вот какова была Акмолинская область, на гербе которой стояла мечеть с полумесяцем под императорской короной. Я помню и такие упоительные иллюстрации: «Дикое ущелье реки Селеты, впадающей в озеро того же наименования на юге Омского уезда» или пейзажи Акмолинской области с его сотнями озер, значительнейшие из которых, расположенные рядышком, в центре степей, Кургальджин и Тенис казались мне чем-то похожими на жюль-верновское море в центре земного шара; и еще иллюстрации: далекие степи и горы Центрального Казахстана, унылый Спасский завод, медная руда на который доставлялась с Успенского рудника за сто десять верст, а уголь для плавки, добываемый на малоизвестных Карагандинских копях, шел на завод по узкоколейной железной тридцативерстной дорожке, причем как и эта дорожка, так и эти копи были помечены во дни моего детства далеко не на всех картах. Вот туда, в глубь степей с их ковылем, полынью, пшеницей, каменным углем и каменными бабами, легендами, песнями, мясом и салом, к горам с их рудами, горным хрусталем, графитом,— словом, к великолепному аграрному и индустриальному будущему и шагнули из Петропавловска первые километры Кокчетавки, в управление которой из полка и перешла работать моя дорогая. Но если все это выглядит столь роскошно в данной главе моих воспоминаний, потому что казалось мне романтически близким и с детства, то в юных глазах моей дорогой повелительницы птицы Ундервуд вся эта Кокчетавка выглядела лишь очень большой комнатой учреждения, в котором писались только бумаги, бумаги, бумаги и, кстати сказать, не было даже и пишущей машинки (она только была обещана!). И моя дорогая попросту стала одной из чуждых ей глупых конторщиц, со скукой слушая, как эти конторщицы, «Клавы — юбочки недетские, барышни советские», толковали о пайках и карточках, инженерах и комиссарах. А службистки постарше лет так на пять также вспоминали еще и об офицерах былых дней, и о чешских легионерах. Эти последние, появившиеся в восемнадцатом году, само собой, ухаживали за петропавловскими барышнями. («Мы одной крови! А мадьяр кто? А мадьяр есть гунн. Атилла!») Убегая, они обещали вернуться и увезти петропавловско-акмолинских невест жениться в злату Прагу, но обманули. Впрочем, говорили обманутые барышни, сам ихний Гайда был даже

и не генерал, а просто ветеринарный фельдшер! Так болтали меж собой петропавловские конторщицы, а между тем, хоть чехи и исчезли как будто бесследно, бывший адьютант Гайды полковник Сватош все еще находился неподалеку, хоть и казалось, что прошло его время.

5

Казалось, что дни пальбы, убийств, воровства и пожаров миновали если не навсегда, то надолго-надолго здесь, в глубине страны, откуда до ближайшей — а именно китайской — границы две недели скачи, не доскачешь ни верхом, ни в самом хорошем экипаже, хоть узун-кулак, копытный степной телеграф, и передавал в случае надобности новости из уст в уста, через весь Казахстан, суток за двое, не боле. Итак, царило спокойствие, нарушаемое только выхлопами грузовых машин Сибавтобазы Наркомпрода, вывозивших из глубинки зерно и мясо для промышленных районов. Но вдруг однажды, в конце января 1921 года, в ясный морозный день петропавловских совслужащих, конторщиц и уборщиц, распустили по домам: идите и сидите смирно, не высовываясь!

Нечто подобное было в Зауралье, и тоже зимой, два года назад, в 1919-м, когда также среди бела дня распустили служащих по домам, потому что внезапно температура поднялась с двадцати градусов мороза по Реомюру до двух градусов тепла, затем пошедший было снег сменился дождем, после этого снова похолодало, на образовавшийся лед упал снег,— так было по крайней мере в Омске, вероятно, приблизительно так же было и в Петропавловске, и тут началось: дикие вихри примчались со степей, сбивая людей с ног, сбрасывая с мостков, мостиков и мостов, сдувая звонарей с колоколен и муэззинов с минаретов мечетей, выворачивая деревья и телеграфные столбы, прежде чем по проводам доносилось предупреждение, что идет небывалый — как всегда кажется в таких случаях — циклон, клубящий снежные тучи до самого неба, а по мнению других, таких же недостоверных очевидцев, спускающий с небес наземь смертельно засасывающие ледяные хоботы.

Так было в 1919-м. Но через два года, в 1921-м, телеграфная связь была прервана не стихией, а недобрыми людьми. Бедствие было иного рода: разразилось восстание, кулацкое восстание, известное под именем Ишимско-

го, Петропавловского, но фактически охватившее гораздо больше районов, включая тюменские края, Тобольск (где, кстати сказать, и объявился среди главарей мятежнического командования бывший адъютант Гайды полковник Сватош!), а затем и некоторые северные районы: Березово, Сургут. Этот жестокий, кровавый и, конечно, заранее обреченный на провал кулацкий мятеж, отголосок зауральской антоновщины, мятеж, распространившийся до самого Обдорска (нынешний Салехард), довольно подробно описан в литературе. История этого мятежа очень толково изложена, например, в книге Д. Л. Голинкова «Крушение антисоветского подполья в СССР» (М., 1975). И нет смысла повторять то, что уже нашло место на страницах печати. Могу сказать лишь одно: мне кажется, что таких кровавых дел, как во время этого восстания, не случалось в этих краях, пожалуй, с тех времен, когда сюда, на Ишим в его среднем течении, бежал с севера разбитый дружиной Ермака Кучум с остатками своей рати. Здесь, как раз в районе будущего Петропавловска, он возбуждал местных татар и башкир против русских. Но такой мерзкой, кровавой резни, которую учинили белогвардейцы вкупе с эсерами, подняв кулачье на Советскую власть, я думаю, не было в этих краях и во времена беглого царька-авантюриста Кучума.

— Но ты, моя дорогая владычица птицы Ундервуд, что чувствовала ты под надежной защитой красноармейских частей?

— Мне кажется, что я ничего не чувствовала, кроме боязни за близких! — так ответила моя дорогая.— Я боялась за своих друзей и знакомых из полка, я очень боялась за Петю!

Петя был хорошим знакомым по службе в полку. Что еще знаю я о Пете? Вот что: петербургский реалист, получивший медаль за спасение утопающих,— он спас вместе со своим приятелем-гимназистом, сыном какого-то Сологуба, женщину, задумавшую утопиться в Неве. Затем он стал прапорщиком, перешедшим на сторону Советов, и, несмотря на ложный сустав (ранение на германском фронте), был боевым красным командиром и активно участвовал в подавлении мятежников, провозглашавших «крестьянскую диктатуру» и «советы без коммунистов».

— А чувствовала ли ты, что сама лично являешься, не меньше, чем Петя, объектом ненависти мятежников, потому что ты — строительница Кокчетавки, по которой гораз-

до больше, чем на машинах автобазы Наркомпрода, пойдет для революционного Питера и для Москвы хлеба и всего прочего? — спросил я.— Понимаешь ли, что ты, как сотрудник Кокчетавки, была одной из причин кулацкого мятежа, но была, таким образом, и причиной победы над этими мятежниками?

— Не говори глупостей,— отрезала она, давая понять, что даже и слышать не хочет таких, с ее точки зрения, ужасных шуток.— Я вскорости и ушла с Кокчетавки!

— Да, ты ушла,— вспомнил я,— потому что там за отсутствием для тебя машинки ты как машинистка бездействовала, а в другом месте ты рассчитывала работать по специальности...

6

Разумеется, это не кто иной, как сама судьба, принявшая обличие петропавловской биржи труда, указала моей дорогой перстом своим переход с Кокчетавки в газету «Мир труда», где в отличие от управления Кокчетавки машинка имелась. Так ранней весной 1922 года моя дорогая переступила порог газетной редакции. Несомненно, это был шаг к нашему сближению, ибо где, как не в газетной редакции (не в этой еще, но в будущей), было всего естественней оказаться нам, чтобы в конце концов повстречаться друг с дружкой, увидеть друг дружку воочию. Вот почему она и оказалась в редакции, где работали как будто бы всего-навсего двое журналистов — в пимах, шапках и полушубках, причем один из них в теплую погоду весной и осенью носил полушубок мехом наружу, а другая, скинув свой полушубок, оказывалась миловидной женщиной, женой редактора, хроникершей Лелей. Может быть, там были и еще журналисты и журналистки, но моей дорогой запомнились, насколько я понимаю, лишь двое, с которыми она подружилась.

Затем наступило лето, ужасное лето приснопамятного года засухи, голода в Поволжье.

Я был тогда в Омске и писал: «Я помню все: в кирпично-пыльном Омске они пришли на городской базар, я помню груди плоские, как доски, щетину щек и мутные глаза, и ребятишек старческие маски, когда, изъяв из подзаборных дыр, красноармеец в однорогой каске их вел в Чека как грустный командир». Так писал я. Но омская невеселая, а все же наполовину солончаковая, а наполови-

ну черноземная явь и пыльная, но мукомольно-элеваторная действительность была отнюдь не столь страшна, как это лето в соседних, охваченных засухой степях, где солоно-мерцательная земная поверхность растрескивалась от адски азиатского зноя на некие зловещие иероглифы либо на крючки и загогулинки бредовой стенографии каких-то дьявольских присутственных мест. И как будто в тщетных попытках придать здравый смысл всем этим надписям зноя скитался я по степям как газетный сотрудник, разрешающий отнюдь не простые и ясные вопросы ликбеза или сельской экономической политики, но вопросы о том: есть ли в аду вода? О, я думаю, и в аду нет воды едче и сероводородней, чем в лужицах между Черлаком, Чернолучьем и Карачами!

Тучи, возникавшие в медных от жарищи небесах Зауралья, разражались не дождем, а рассыпались над городами и весями прахом пожарищ и пухом унесенных с незримых пепелищ птиц, домашних и диких. Я видел сам (наяву ли, во сне ли — это уж я боюсь утверждать), но я видел сам, как обессиленные птицы среди белого дня смирно сидели в пыльных репейниках, а ведь так бывает лишь после очень сильной грозы, когда, прибитые ветром, ослепленные молниями и оглушенные громом и градом, они, приходя в себя, будто бы ползут в травах.

Но, странствуя в зарослях пыльных бурьянов и лишь грезя влажными после дождя кормовыми травами, я все-таки душой был в городе, в городе вообще, в широком смысле этого слова, а практически в Омске, мимо которого суховато катился с юга на полночь желтый, как гигантский рулон газетной бумаги, Иртыш.

7

Тем временем моя дорогая в городе на притоке Иртыша Ишиме снова оказалась обманута в своих ожиданиях. Дело в том, что ей, повелительнице птицы Ундервуд, не дали в редакции не только обещанного «Ундервуда», но и ни «Ремингтона», ни «Смис-премьера», и вообще никакой пишущей машинки, а посадили на прием объявлений. Объявления же эти были почти исключительно о потере документов, и почему-то эти объявления делались почти исключительно казашками. Возможно, что у многих из этих свободолюбивых степных амазонок никаких удостоверений личности никогда не бывало и вовсе, и моя дорогая превратилась в фигуру довольно высокой государственной важ-

ности, творя однообразную, но высокополезную процедуру преображения ранее бездокументных номадок в чинных, переходящих с кочевого на оседлый образ жизни советских гражданок.

«Бир мильон»,— восклицала моя дорогая, выписывая квитанцию на принятое объявление, и величественная казашка, задирая бесчисленные юбки, извлекала из кармана нижних штанов пачку кредиток, чтобы отсчитать «бир мильон»,— один миллион рублей за объявление. Затем моя дорогая смотрела в окно на то, как заплатившая свой миллион степнячка уезжала прочь либо верхом на коне, либо в древней двухколесной, в виде скифской колесницы, повозке, влачимой верблюдами, которые нравились птице Ундервуд не менее, чем любезные ее сердцу кони.

И не было ничего случайного либо незакономерного в том, что постепенно расширяющийся круг новых редакционных знакомств включил в себя, кроме журналистов русских, и сотрудницу газеты казахской. Эта девушка была миловидна, скромна, хорошо образованна. И вскоре моя дорогая стала домашней гостьей этой прекрасной казашки, принимавшей самых близких друзей не на европейской, а на азиатской половине своей квартирки, в комнатке, где не было стульев, а вокруг очень низенького стола лежали — свидетели по крайней мере двух столетий, если не двух эпох,— старые, повытертые, видавшие всякие виды ковры.

Это были первые встречи моей дорогой с людьми Востока в домашней обстановке. Ведь одно дело — разговаривать с казашкой через окошко кассы по приему объявлений, либо на рынке, либо на дворе, с почтенным татарином-водовозом, по прозвищу Эфиоп, либо даже подвергаться галантным преследованиям некоего мусульманина в белой чалме, свидетельствующей, что он побывал в Мекке. «Выходи за меня замуж, любимой женой будешь!» — взывал он, и она убегала от него при неверном свете месяца над белой мечетью. Все это была, так сказать, уличная петропавловская Азия. А другое дело — сидеть в гостях у просвещенной милой казашки, пить чай из легкой, звенящей от своего изящества пиалы, слушать очень умную, очень милую, с небольшим казахским акцентом речь любезной хозяйки — словом, войти в ее дом как бы внутрь Азии. Здесь, в этой комнате, пахло чуть-чуть типографской краской от свежей газетной полосы, с книжной полки веяло чуть-чуть арабским, чуть-чуть

латинским шрифтом, но больше всего кириллицей, а от всей остальной обстановки веяло слегка кошмой, слегка овчиной, слегка кумысом, слегка духами. И моя дорогая не почувствовала себя чужой здесь, наоборот, ее даже несколько удивило, почему казашки со своими родными и близкими принимают ее, европеянку, недавно приехавшую из-за Урала, почти за свою, во всяком случае, за какую-то совсем восточную девушку. Много позже, когда наши пути встретились, я понял и рассказал ей, в чем тут дело, как я понимаю. Напомнив ей, откуда появились ее предки, я объяснил ей: пращуры ее — волжане (отец запросто переплывал Волгу), пришедшие на верховья Волги с нижнего ее течения, суть люди оттуда, где, по свидетельству арабских историков, южнее устья Камы стоял город Булгар; а в низовьях Волги было, как известно, Хазарское ханство, откуда птицы летят, а в религиях нет постоянства, люди верят во что хотят. Вот почему, сказал я моей дорогой, она, кутающаяся, как в сосновом лесу, в златоблещущую лису, славная славянская девушка, несмотря на всю свою северорусскую ортодоксальную православность, имела явную, не только благоприобретенную, но и наследственную симпатию ко всему восточному, юго-восточному и северо-восточному, а в последнем случае и ко мне, юноше не столько с Иртыша, желтого, как рулон газетной, революционных лет, бумаги, сколько с Иртыша, превращающегося в Ипокрену.

8

«Иртышом, превращающимся в Ипокрену» звалось ежемесячное сочинение, то есть периодическое издание, журнал, выходивший в Тобольске с 1789 по 1791 год,— словом, в годы Великой французской революции. И бумага, на которой напечатан журнал, тоже желтоватая, то ли от времени, то ли от природы, то ли от Французской революции, то ли от тобольской действительности, то есть наличия именно такой бумаги на складах купцов Корнильевых. Ибо выпускалось это издание просвещенными тобольскими негоциантами Корнильевыми под наблюдением тобольского главного народного училища. Редактировал журнал внучатый племянник знаменитого поэта Александра Сумарокова Панкратий Сумароков, сосланный Екатериной II в Тобольск за некоторые художества. Сотрудничали в журнале приехавшие с Панкратием разде-

лить его ссылку жена его Софья и сестра Наталья, а кроме того, учителя, ученики местных учебных заведений и просвещенные чиновники. Читателями были они же плюс другие местные любители изящной словесности и другие местные грамотеи, а впоследствии в числе читателей второго и третьего поколений — сын бывшего петропавловского, а затем березовского исправника Петр Ершов, будущий автор оцененного Пушкиным «Конька-Горбунка», и, мальчиком сиживавший на коленях Ершова, внук издателя, купца Корнильева, будущий гениальный русский ученый Дмитрий Менделеев, тесть Александра Блока. А в конце концов читателем «Иртыша, превращающегося в Ипокрену» стал и я, грешный, футурист, сторонник Маяковского, стихотворец и сотрудник омской партийной и профсоюзной прессы двадцатых годов XX века.

Не скрою, «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» со своими довольно бледными переводными отрывочками из Вольтера и Юнга, а особенно с такими нравоучительными стихами, как, например, басни тобольского прокурора Бахтина, журнал этот, найденный мной в музейной библиотеке, показался мне довольно скучным. Я сказал бы, что из всего журнала больше всего понравилось мне его название. Идея его названия! Мне живо представился северный полунощный, похожий на июльское нагромождение кучевых грозовых облаков над Сибирью тобольский Геликон и стекающая с него, превращающаяся в Иртыш Ипокрена.

Поведав обо всем этом, мне, пожалуй, остается добавить к повествованию лишь следующее.

9

В то время, как я, будто бы отвлекшись от бурной действительности, точнее, от современности, как бы случайно углубился в историю своей Отчизны, ища «Иртыш» и другие старые тобольские и нетобольские издания в библиотеках Западно-Сибирского отдела Российского Географического общества, на развалах букиниста Айсберга или в кучах книжной трухи на превращенном в толкучку бывшем Конском базаре,— в эти дни в начале 1923 года моя дорогая повелительница птицы Ундервуд решила покинуть город Петропавловск и вернуться домой, за Урал, в Европейскую Россию, в Европейскую часть Союза, как говорится в настоящее время. И вот тогда ее петропавловс-

ко-акмолинские друзья и принялись ей советовать, что надо купить на дорогу и что надобно привезти домой, каких гостинцев и чего по домашности. Тут в этих советах участвовали так или иначе все: и культурные журналисты, журналистки русские и казашки, и квартирная хозяйка Павла Петровна, и водовоз Эфиоп. И каждый предлагал свое. Журналисты, конечно, говорили о духовном, об эстетически-фольклорном, наконец, о вкусном, а люди попроще — о житейском:

— Перво-наперво купи масла, сливочного и топленого, оно у нас первосортное, до революции шло за границу! Купи, натурально, и сала; бараньего — у киргизов, свиного — у хохлов либо у немцев, эстонцев. Купи пуховый платок, купи валенки, по-нашему — пимы. Мимо Тюмени поедешь, купи ковер — там прежде такие выделывали, что не отличишь от французских, как их, гобеленовых, что ли!

Так поучали мою дорогую друзья и знакомые. В общем, они советовали накупить всего, что можно было приобрести когда-то на всех ярмарках области — на Петропавловской в Атбасаре, на Таянчинской на озере того же наименования, на Константиновской в Акмолинске, на Введенской в Омске, хотя лучшие времена этих степных торжищ уже миновали, уступая новым формам торговли. И вот тут-то, как будто бы компенсируя ряд покупательных невозможностей («Да откуда мне столько денег взять?» — смеялась моя дорогая), тут-то, пожалуй, и возникла еще другая, обуявшая всех доброжелателей идея:

— Приобрети коня!

— Коня? Но что я буду с ним делать?

И хотя тут было много смешных и даже нелепых разговоров о том, что на добром, вымененном, например, в степных аулах на поношенную бархатную шубку коне вроде необязательно ехать верхом через Урал, а коня этого можно, как бывшей железнодорожной служащей, перевезти в теплушке, а потом в России выменять, например, на корову,— несмотря на все эти пустые фантазии, суть была — я много думал об этом! — вот в чем: имелся в виду конь не простой, а крылатый!

Да! И не сама ли полынная и ковыльная Матушка-Степь устами своих сынов высказала эту идею! Не сама ли Степь, которая, как уже сказано было, когда-то помогла здесь Петру Ершову создать образ прекрасного грифона Конька-Горбунка! Но откуда взялась, в свою

очередь, эта фантазия у ее величества широкой Степи? Кто породил и унес этот образ? Не поитель ли степей и лесов Сибири и Казахстана желтый Иртыш, превращающийся в Ипокрену? Ведь Иртыш, превращающийся в Ипокрену, вернее Ипокрена, превращающаяся в Иртыш, возникла из того ключа, который брызнул на Геликоне от удара копыта Пегаса, крылатого коня древних!

Доброжелатели не учитывали лишь одного: что Пегас не покупается, не выменивается на бархатные шубки, а находит своих владетеля и владетельницу сам!

Меня он нашел немного раньше. Когда моя дорогая покинула Петропавловск, Пегас помчал меня в Кузбасс, затем в горящие леса тарского Севера, затем на Алтай, оттуда мимо горы Бектау-Ата в Коунрадский на Балхаше, принимая, несмотря на свою гривастость и крылатость, всякие обличья — от парусных кораблей до локомотивов!

А не он ли был запряжен в пролетку, на которой мы — я и моя дорогая,— наконец встретившись, ехали по древнему северному городу в поликлинику лечить мне ногу?! Не этот ли Пегас, оборачивая голову, смотрел правым глазом на меня, читающего для первого знакомства моей избраннице «Реку Тишины»?

Пушкинист и футурист

Циклон, побудивший меня снова взяться за стихи и запечатленный в красочном рисунке, по счастью сохранившемся у меня с тех далеких времен,— этот великолепный циклон промчался и умчался, но наступившая вслед за этим весна была такой, что лучше бы этот циклон не кончался. Атмосфера становилась столь напряженной, что едва ли мог отмахнуться от всяческих неприятностей и сам Шиффальда; он только и делал, что убеждал нас учиться и учиться, как это ни трудно в обстановке — да-да! — столь сложной! Несколько забегая вперед, скажу: через полгода почтенный педагог искренне поздравил нас с преображением из гимназистов в воспитанников Единой трудовой школы. Но прежде чем это случилось, произошло еще много событий, и в том числе следующее.

От бойскаутизма я отбоярился. Но когда перед самыми летними каникулами классный наставник смущенно ска-

вал, что было бы весьма желательно, чтоб я, как мальчик развитой и начитанный, вместе с некоторыми другими учениками принял бы участие в сборе книг для формирования госпитальных библиотек, я не стал отказываться. Нечего объяснять, как манили меня книги и как трудно их было доставать в те годы. И в назначенное время я пришел на сборный пункт, куда другие ребята свозили выклянченные у пожертвователей книжки. Этот сборный пункт помещался в некоей бывшей лавке, и моя роль сводилась к тому, чтоб разбирать сваливаемые на прилавок книги — беллетристику, публицистику, научные издания и поэзию,— расставлять их по полкам, где прежде у лавочника лежали галантерея и бакалея.

Представитель властей, офицер-инвалид, пришел, посмотрел и ушел, предоставив нам самим делать дело. И, делая это дело, я убедился, что среди книг попадаются и весьма для меня интересные.

Я не знаю, кто пожертвовал эти две книжки, привлекшие мое особенное внимание — «Крылья» Кузмина и сборничек «77 стихотворений современных поэтов». Положив перед собой «77 поэтов», я углубился в чтение пресловутого романа Кузмина так усердно, что даже не заметил появившегося около меня человека.

Это был не свой брат — гимназист. Не подросток, не мальчик. Конечно, это был молодой человек, но мне, четырнадцатилетнему, он, естественно, показался более чем взрослым. Он был высокого роста, с задранной головой и острым носом. Одет он был в военную форму, но без погон. На голове была английская фуражка.

— Действительно ли вас интересует эта книга? — спросил он спокойно и серьезно, указывая на «Крылья», и я так же спокойно и серьезно ответил ему, что эта книга кажется мне менее интересной, чем Александрийские песни и лирика того же автора. Тогда он спросил, что мне еще нравится из поэзии, и я ответил, что Маяковский и, пожалуй, Блок. Я прекрасно понимал, что Маяковский и Блок не могут быть в чести у колчаковцев, однако без колебания сказал так — не почувствовал почему-то потребности лгать этому человеку. Он с некоторым недоумением взглянул на меня, подумал, помолчал, а затем, решительно ткнув сборник «77 стихотворений современных поэтов», сказал, что в этой книжке есть и его стихи.

— Забирайте ее себе и вообще не стесняйтесь, берите из книг все, что вам нравится! — добавил он.— Знаете,

все равно эти книжки пойдут в прорву! Все пойдет в прорву! Культура гибнет!

И тут я почувствовал, что от него пахнет «Зубровкой», водкой «Зубровкой», которая была тогда в большом ходу в Омске. Помню, как, дыша «Зубровкой», он склонился ко мне, чтоб расспросить, как меня звать, кто мои родители, что представляет собой наша гимназия и откуда у меня познания в литературе.

Вот так я познакомился с Георгием Масловым. Когда он назвал себя, я сказал, что знаю некоторые его стихи по газетам, а когда он спросил, нравится ли мне его творчество, я, помню, смутился, но затем с неожиданной даже для себя уверенностью заявил, что его стихи хороши и печальны. Кажется, я имел в виду стихи: «Бессонница томит, и хочется слагать неправильные строки, чтобы избавиться от одиночества» — а может быть, и какие-нибудь другие, я уже забыл, какие именно, но только в ответ он сказал, усмехнувшись:

— Погодите, я скоро покажу вам очень жизнерадостную пьесу. До свидания, мой милый мальчик!

И удалился, слегка пошатываясь.

На следующий день я пошел в читальный зал городской библиотеки и внимательнейшим образом просмотрел комплекты газет, ища стихи Георгия Маслова, вернее, проверяя свое мнение о них, о том, что они печальны. Я хотел на случай, если повторится разговор, быть во всеоружии. Мне было для чего-то надо доказать себе, а может быть, и Маслову, что в творчестве его доминирует элемент грусти. Конечно, я думал тогда не именно этими словами, но поэт — а Маслов был первым поэтом, с которым я встретился лицом к лицу, не гимназистом, пишущим стихи, а настоящим поэтом,— поэт Маслов, думал я, не может быть не печален в этом мире орущих глупые песни солдат и бог знает что болтающих ополоумевших беженцев.

Приблизительно через неделю он появился снова.

— Читайте веселую пьесу, Леня, она коротенькая! — сказал он, протягивая мне четыре страницы, плотно заполненные стихотворным текстом. Это был «Дон Жуан» — миниатюра, в которой стареющий Дон Жуан принимает предложение Лепорелло посвататься к дочке мясника и начать мирную жизнь.

Когда ж мы заведем трактир,
Жизнь будет рай земной:

Тяжел карман, в семействе мир,
Бочонок под ногой!
И сам наш славный Дон Жуан
В ненастный вечерок
Зайдет подчас глотнуть стакан
В наш славный кабачок —

так под занавес декламировал Лепорелло.

— Эта пьеса,— сказал Георгий Владимирович,— будет ставиться в нашем кабачке «Берлога» и на 1-м Взвозе, в подвальчике, знаете? Я вижу, пьеса вам нравится, а если так, Леня, не возьметесь ли вы в ней сыграть роль пажа? Вот смотрите, эти стихи должны будете произнести вы: «Твой образ милый, в ночной мантилье, прельстил пажа. Сломались крылья, и я бескрылый, о госпожа!» И еще: «Своей царице слагая гимны, я изнемог. Пойду томиться в гостеприимный «Призывной Рог». Роль небольшая, но я не могу себе представить никого другого в этой роли, в этом городе, кроме вас, Леня! Кстати, я познакомлю вас с литературным миром!

— Нет,— ответил я не раздумывая,— ни в коем случае. Пьеса мне нравится, стихи хорошие, но я не буду играть в «Берлоге».

— Но почему?

И тут я, чувствуя полное доверие к автору таких прелестных стихов, выложил ему все, что передумал за это время.

— Я не пошел в бойскауты и не пойду в «Берлогу»!— воскликнул я.— И не хочу связываться и с вашим литературным миром. Это... противно моим убеждениям! Да!

— Каковы же ваши убеждения? — спросил Георгий Маслов.

— Думаю,— осторожно сказал я,— такие же, как и ваши. Вы сами сказали: «Культура гибнет». Да! И ваши собственные стихи сильны не чем иным, как безнадежностью,— она правдива!

Высказав Маслову все это, я ни капельки не думал, что он схватит меня за шиворот и потащит в контрразведку — в подвалы кадетского корпуса, но тем не менее мне казалось, что наша дружба кончена, что он повернется и уйдет, отобрав у меня своего «Дон Жуана». Однако он не только не отобрал пьесы, а, наоборот, выхватив из кармашка френча бумагу, протянул мне.

— Почитайте! — сказал он.— Это будет напечатано не сегодня-завтра.

Стихотворение называлось «Парижанину».

От хмеля победы горд,
Ты в веселом кафе сидишь,
Но скоро разгул обезумевших орд
Сметет одряхлевший Париж.
Банкир, убегая, свое жилье
Запрет, тяжело дыша,
И наденет кружевное белье
Любовница апаша.
Полетит на аэроплане Фош
Вербовать надежные полки,
А ты, парижанин, в своей каморке замрешь,
Изнывая от боли и тоски.
Иль будет сниться в краю чужом
Париж, как русским Москва?
...А мы мириться вас позовем
На Принцевы острова.

— Ну? — спросил он.— Как?

— Предрекаете победу революции и во Франции,— ответил я ему.

— Вы прелестны, милый мой вундеркинд! — засмеялся он.— Знаете что, приходите ко мне в гости сегодня вечером. Это недалеко от вашего Никольского проспекта — на Каинской, между Варламовской и Степной.

О Георгии Маслове написано очень немного, и если о нем и упоминается, то как о заядлом колчаковце, участнике белогвардейских оргий и прочее. Но, судя по его убогому жилищу на Каинской улице, по этой нищей келье аскета, по этой страшной, хотя и вполне аккуратной, пустоте его полуподвала, так мог жить только человек отчаявшийся и ни на что не надеющийся. А главным доказательством душевного состояния этого симбирца, петроградского студента-пушкиниста, попавшего в стан Колчака, были, конечно, стихи. Эти стихи я наконец рассмотрел там вкупе — почти все это были вырезки из газет. И за исключением весело-плохого стишка об отпускном солдате, который «две недели или менее у хозяйки жил своей, каждый день ел пельмени, приглянулся, что ли, ей», все это были страшно печальные вещи. Например, об инвалидах войны: «Костыли и деревяшки. Ноют раны в день ненастный. Вы свершили подвиг тяжкий, и прекрасный, и напрасный. Может быть, чрез ряд столетий и о вас узнают дети, и поэт, Гомеру равный, воспоет ваш подвиг славный, но пока хвалите бога и за этот день осенний. Радость жизни сей убогой всех даров благословенней».

Или отрывки из прекрасно-мрачной поэмы «Аврора»: «Кто раз увидел чудный сон, тому земные ласки грубы, и на смерть роком обречен поцеловавший эти губы». Тут я прочел и стихи, посвященные какой-то неизвестной мне Елене: «Помнишь, Лена, первый вальс на бале, мы кружились до потери сил, и архивны юноши сказали, что тебя я, верно, покорил. Но бокалы до края напенив, увели меня с собой друзья, Александр Иванович Тургенев, улыбаясь, заменил меня...» Это были печальные стихи о декабристе.

— Да! «Радость жизни сей убогой всех даров благословенней»! — воскликнул я. — И вообще, я вижу, что вы ничего хорошего не ждете! — И с диким торжеством стал читать ему его прекрасные печальные стихи:

За счастье краткое мое
Судьба готовила возмездье —
Изгнанническое беззвездье,
Хмельное полузабытье.

— Слушайте, что вы пишете, Георгий Владимирович, — потрясая газетными вырезками, восклицал я:

Октябрь — с ухабами и лужами,
С деревьями в плащах нескромных
И с облаками неуклюжими —
Печальный месяц для бездомных.
Брожу и стук пролеток слушаю
И хриплый лай из подворотен,
Слепому предан равнодушию,
Безрадостен и беззаботен.
В саду шарахаются тополи,
А прошлое по мерзлой опали
Бредет, шепча по-стариковски.

Как прекрасно, как верно. А вот это: «Душа, отдохни».

Немного покоя,
Работы немилой
Часы и усталого сна.
Мне снилось иное,
Когда восходила
Моя золотая весна,
Ты не жил, быть может,
И страсти ты не пил,
И счастья не знал искони.
Ничто не встревожит
Остынувший пепел.
Душа, отдохни.

Мне просто совестно вспомнить, с какой мальчишеской жестокостью я тыкал пальцем во все эти стихи, повторяя Георгию Владимировичу:

— Вот! Вот! Вот! Вы настоящий поэт и поэтому не можете не говорить правду. И ни во что вы в это не верите, и верить в это нельзя.

Только много позже я по-настоящему понял, как странны и даже неправдоподобны были эти обличительные беседы четырнадцатилетнего с двадцатичетырехлетним. Но видимо, именно это было нужно и даже необходимо Георгию Маслову.

— Вы хотите стать моей совестью! — крикнул он мне однажды.— Но знаете ли вы, кто будет спасать вашего Блока, вашего Маяковского? Может быть, это буду именно я, мой дорогой мальчик. Знаете ли вы, зачем я здесь?

— Я не знаю, зачем вы здесь, и не хочу знать! — ответил я.— Мне противно догадываться, что вы связаны с адмиральской верхушкой. А как же вы это собираетесь спасать Маяковского и Блока?

— И Есенина,— добавил он.

И затем рассказал мне все по порядку. Он нарисовал такую картину: вот после отступления началось наступление. Вот к осени будет осуществлен совместный удар Колчака и Деникина на Москву, вот Москва взята, Петроград тоже, и тогда-то он, Георгий Маслов, объединив вокруг себя других добрых людей, организует движение за спасение деятелей культуры. Организует отряд по спасению Блока, Маяковского, Есенина и многих, многих других, кто захочет спасаться от белогвардейского гнева,— вот в чем суть!

— Они готовят особую часть для расправы, а мы должны готовить отряд для спасения, поняли вы, Леня? Прежде чем осуждать, надо хорошенько понять положение вещей! — закончил он наставительно.— К этому движению можете присоединиться и вы, Леня.

Если все до этой последней фразы я слушал с напряженным любопытством, то последние слова показались мне некоей обмолвкой, раскрывающей коварно задуманный лично против меня план. «Так вот в чем дело! — подумал я.— Хитер, заманивает. Я сумел отвертеться от вербовки в бойскауты, чтобы не соприкасаться с колчаковцами, не стать игрушкой в их руках, а теперь он заманивает меня в колчаковцы под предлогом спасения Блока. Шалишь, не поддамся!»

Это было вполне по-детски, быть может, но, вполне не по-детски овладев собой, собравшись с мыслями, после не-

долгого молчания я продекламировал ему его же собственные, очень нравящиеся мне стихи:

Бессонница томит, и хочется
Слагать неправильные строки,
Чтобы избавиться от одиночества,—

медленно начал я,—

О том, что во Владивостоке,
Или где-нибудь дальше, в Иокогаме,
Или, уехав на Филиппины,
Бродишь по дороге с босяками
И продаешь апельсины...
Ты бы мог стать великим ученым,—

продолжал я, указывая на Георгия Владимировича пальцем,—

Ты бы мог стать великим ученым,
При котором бы Менделеев говорил бы с опаской,
А ты шляешься по игорным притонам
И делаешь из жизни дикую сказку.

— Это я написал про своего брата художника! — покраснев, прервал меня Маслов.

— А я думал, что про себя! — ответил я и убежал, чтоб не продолжать разговора дальше.

Благотворительный сбор книг пришел к концу.

Шло к концу пыльное, суматошное послециклоническое колчаковское лето. Я редко виделся с Масловым после того разговора. Однажды он зашел к нам взглянуть на мои стихи. Он был уверен, что я пишу их, и не ошибался, но я стеснялся показывать ему свои несовершенные стихотворные опыты. А он, видимо, стеснялся моих родителей, и стеснялся не без основания. Отец поглядел на него недружелюбно. Маслов заметил это и объяснил, что так и должно быть: «Он чует спиртное, боится за вас!» Но суть была не в том, что Георгий Владимирович зашел навеселе, а в том, что я рассказал домашним, кто он такой, и мои близкие, может быть, старались, но не могли скрыть своей антипатии к заядлому колчаковцу. А бабушка Бадя, та высказалась прямо: «Поэт! Много их развелось, сбежалось кто откуда!» И старший мой брат, поглядев на меня насмешливо, однажды заметил, что Антон Сорокин, омский наш скандалист и рекламист, король писательский, в общем, прав, упрекая в своем шутовском манифесте наезжих, беглых от большевиков писателей,

что они отбивают хлеб у чернорабочих слова, местных хроникеров и репортеров.

Это замечание брата впервые пробудило мой интерес к Антону Сорокину. О существовании Антона Сорокина я, конечно, слышал, знал о его вечных распрях с редакторами, но не придавал Сорокину значения как явлению местному и обыденному, а о манифесте Сорокина вообще ничего до той поры не слыхивал. Но после этого разговора с братом я стал еще внимательней присматриваться к газетам и журналам, стараясь понять, как именно писатели и поэты отбивают хлеб у чернорабочих слова. Читая все это, я все-таки убедился, что стихи Георгия Маслова весьма выгодно отличаются от всяких газетных стишков, сверкая, как жемчужные зерна в навозной куче.

Но вот однажды, уже под осень, когда все заговорили о возможности близкого краха колчаковщины, я увидел на заборе, в паршивой военной газетке новые стихи Маслова. Эти стихи были для меня подобны удару по голове. Они ошеломили меня своим примитивизмом, безвкусной агитационностью, недостойной, как я подумал, таланта Георгия Владимировича. «Они справляют пир бесовский, в крови лаская красных дам»,— писал он про большевиков. Это меня так огорошило, что я немедля пошел к нему в гости на Каинскую.

— А! Что вы так долго не заходили, Леня? — спросил он, подымаясь со своей монашеской койки.

— Я пришел сказать вам, как ужасны ваши стихи в сегодняшней газетке!

И я изложил ему все, что думал на этот счет. Я даже прямо сказал ему, что фронт, как известно, уже на Тоболе, все знают, что разговоры о взятии Москвы — вздор и как бы ему, Георгию Маслову, не пришлось задуматься о том, чтоб его кто-нибудь спасал, а он в это время печатает безвкусные, недостойные ни акмеиста, ни пушкиниста стихи. Он мне, помню, ответил, что именно теперь было бы для него бесчестьем спрятаться в нору и замолчать.

— Но стихи-то, стихи какие скверные! — возразил я.— Вот уж действительно правда, что вы отбиваете хлеб у несчастных чернорабочих слова, газетных писак! — воскликнул я в досаде.

— А! И вы, значит, стакнулись с Антоном Сорокиным! — рассердился он.— Ну, идите, идите к вашему Антону.

— И пойду! — сказал я.— Вот возьму и пойду!

И действительно, зачем я это сделал, не знаю, но чуть ли не на следующий вечер я направился к Антону Сорокину в их родовое домовладение, вернее, в тесное скопление, кирпичных построек, где обитал обратившийся в толстовство бывший павлодарский купец Семен Сорокин со своими дочерьми и сыновьями. Помню, я в темноте тщательно обследовал парадные двери, боясь позвонить по ошибке к Семену Семеновичу Сорокину, доктору-венерологу, брату короля писательского. Наконец, найдя нужную мне парадную дверь, я позвонил. Открыла средних лет женщина, которая в ответ на мой вопрос, могу ли я видеть Антона Сорокина, крикнула куда-то ввысь:

— Антоша, тебя спрашивает какой-то мальчик.

— Проводи его, Валек! — послышался голос со второго этажа, и я вслед за женщиной поднялся по лестнице в скупо освещенную комнату, которая показалась мне полна людьми, лохматыми и страшными. Вероятно, их было не больше, чем пять-шесть человек, но у меня, должно быть, двоилось в глазах; я почувствовал, что мое появление не вызвало восторга.

— Что вам угодно, молодой человек? — озабоченно спросил Антон Сорокин, протирая пенсне.

— Я пишу стихи и рисую,— сказал я.

— Вы принесли стихи и рисунки?

— Нет,— сказал я.— Я только хотел вас спросить, можно ли показать их вам?

— Ну что же, однажды придете и покажете! — уже веселее сказал Антон Сорокин, вроде как выпроваживая меня за дверь.

И тут я сделал промах.

— Георгий Маслов сказал мне: «Идите к Антону Сорокину...» — начал я, намереваясь высказаться и насчет поэзии, и относительно чернорабочих слова, и вообще обо всем, что меня волновало и о чем я спорил с Масловым. Но мне не удалось этого сделать — все, кто был в комнате, вдруг зашумели, зашевелились и уставились на меня.

— Ах, вас подослал Георгий Маслов! Я не имею никакого дела с Георгием Масловым! — закричал Антон Сорокин.— Итак, что вам угодно?

— Меня никто не подсылал! — закричал я.— Маслов сказал «идите к Антону Сорокину» в том смысле, чтоб, наоборот, я к вам не шел, а вы не хотите со мной разговаривать! Ну ладно, ладно, я уйду!

И, рассерженный, я покинул Антона Сорокина — на всякого мудреца довольно простоты. Только позже, несколько повзрослев, я понял, сколь опрометчиво было врываться с речами о Маслове к оппозиционеру колчаковского режима Антону Сорокину в осенний вечер 1919 года. Это было с моей стороны самое настоящее глупейшее мальчишество, но, смею думать, что и со стороны Сорокина было все-таки непростительно так и не понять, с кем он имеет дело. Впоследствии я не однажды упрекал его в неумении распознавать людей.

Но это было позже, а тогда я, чуть не плача с досады, шел по мокрым и скользким омским деревянным тротуарам. Настроение было самое скверное. Но зато в ту же ночь я написал одно из своих, как мне кажется, лучших, кстати до сих пор не опубликованных, стихотворений. Вот оно:

Горело лицо от пощечин,
Чужая победа пришла
Холодной и мутной весной.
Сказала: Ты мой дружочек!
Грустна и невесела,
Сказала: Пойдем со мной!
И всем молодым и старым
Казался ненастоящим
Болезненный жар моих щек.
А жизнь была тротуаром,
В Грядущее уходящим
Из-под нетвердых ног.

А вскоре началась и эвакуация колчаковцев. Впрочем, кое-кто думал еще, что Омск удержится, не будет сдан. И нам, гимназистам, еще приходившим по инерции на вечерние занятия уже не в дом «Саламандры», а в коридоры здания правительственных учреждений, было объявлено, что мы должны быть готовы к рытью окопов за Иртышом, на предмет обороны Омска, после чего мы окончательно разбежались.

И вот однажды, когда по улицам уже тянулись обозы, когда уже никто из нас ничего толком не знал, в вечерний час раздался стук в парадную дверь. Вышел на этот стук я.

— Кто там?

— Леня, откройте!

Передо мной на крыльце стоял Маслов.

— Леня! Я за вами. Бежим на восток вместе! — сказал он скороговоркой. На нем было долгополое пальто и

зимняя, но не меховая, а ватная, с опущенными ушами шапка.

— Нет, я не побегу! И не подумаю! — ответил я.

— Тогда прощайте! Конечно, вы правы! Но помните: культура гибнет! — воскликнул он и торопливо сошел с крыльца.

...Была уже ранняя весна 1920 года, и наш гимназический директор Шиффальда все еще пытался учить меня математике в Единой трудовой школе. Но мне было уже не до этого, я все чаще и чаще манкировал уроками и все яростней и яростней сочинял стихи и рисовал картины одна дичее другой, чем все больше и больше раздражал свою бабушку Бадю. Как она правильно догадалась, я сделался отъявленным футуристом, причем как-то сразу войдя в контакт с другими такими же, невесть откуда взявшимися в эту зиму, молодцами. Как-то само собой наладились и отношения с Антоном Сорокиным, который после того, как я бурно объяснился с ним и высказал всю свою на него обиду, сразу же выдал мне удостоверение в гениальности. О причине нашей ссоры — о Маслове — мы даже и не вспоминали, пока однажды я не получил письмо из Красноярска, письмо, в котором один масловский приятель, друг его юности, прапорщик из журналистов или журналист из прапорщиков и, конечно, в душе поэт, убежавший вместе с Масловым, сообщил мне, что Георгий Владимирович, добравшись до Красноярска, умер там от сыпного тифа. А перед смертью вспомнил обо мне и продиктовал мой адрес...

Россия, верная мечте

Все меньше остается ровесников века и вообще тех, кто помнит дни крушения старого мира. Конечно, мне в семнадцатом было лишь двенадцать, и, может быть, уже не столь ценны воспоминания мальчишки, превратившегося за три года гражданской войны в подростка, но может быть, как раз эта, почти детская, свежесть восприятия и оживит повесть о далеком прошлом...

Для того чтобы представить, вернее, показать читателю это нагляднее, скажу, что я до сих пор могу писать по старой орфографии и, уж конечно, не испытываю никакой трудности, читая книги дореволюционного издания.

А вот племянница моя Ирина, студентка, говорит, что старая орфография мешает ей читать классиков. А мне же в свое время, наоборот, было трудно читать Пушкина, Лермонтова и Кольцова в новых изданиях. И все это при том, что я, как и все порядочные люди, не ретрограды, радовался, что наконец сбылась мечта поколений о реформе, упрощающей правописание.

Мне было как-то не по себе расстаться с некоторыми старыми очертаниями и сочетаниями букв, то есть мне было просто жаль, что *пышные мѣховыя* шубы превращаются просто в пышные меховые шубы, и *мѣдь* как бы тускнеет, сделавшись медью, и уж не столь ярко пылает ставшая простою свечою *свѣча*. Словом, перейдя своевременно на новую орфографию, употребляя ее в школе, в письмах и вообще в обиходе и отстаивая в спорах с критиканами-стариками несомненные ее достоинства, я не только не забывал правила орфографии старой и умение ими пользоваться, но порой даже и думал, мыслил по этой старой орфографии, то есть, например, думал о мире на земле как о мире через *и* простое, и о мiре в смысле мироздание, Вселенная, Космос думал, как о мире через *и* с точкой (*и* десятиричное). Долгое время мне было както непривычно читать сочинения Достоевского вместо *Достоевскаго*. Однако, с другой стороны, мне всегда казалось смешным фофановское «Все спокойно во мраке, только лают собаки лишь одне в стороне», но я воспринимал и это лишь как неудачный вариант гениального пушкинского «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной: напоминают мне оне другую жизнь и берег дальний» и, уж во всяком случае, стихи Тютчева «Не верь, не верь поэту, дева...» я мысленно видел через ять и только через ять, так же как и «Двенадцать» Блока.

Я спрашиваю себя: что же меня с орфографией новой — нет, не то чтобы примирило, это не то слово, ведь я, как сказано, никогда и не враждовал с ней — что же меня приохотило к новой орфографии, что заставило принять ее упрощенный мир, ее эстетику, ее высшее право на иную форму выражения наших чувств?

Все это произошло при виде одной-единственной странички, печатной странички омской газеты «Рабочий путь», на которой в конце 1920 года печаталось мое стихотворение «Цирк». Первое мое попавшее в печать стихотворение, кончавшееся строчкой: «Там с девяти в стеклянной клетке щебечет птица Ундервуд», где, как мне показа-

лось, и сочетание слов «в стеклянной клетке», и слово «Ундервуд» без твердого знака были в данном контексте уже немыслимы в старой и прямо-таки требовали новой орфографии. «Это — факт!» — подумал я в мальчишеском восторге, и мне вдруг стало ясно, что, например, Маяковский не мог бы печатать по правилам старой орфографии свои новые, советские стихи, тем более что Маяковский еще и до революции нарушал старое правописание, отрицая твердые знаки и порой знаки препинания и печатая вместо «идешь» — «идеш». И тут я вспомнил о собственных попытках в подражание старшим писать в таком духе. Но все это я вспомнил, так сказать, кстати, постфактум, главным же было то, что раз мои стихи — ура! — напечатаны, и напечатаны по новой орфографии, то все это прекрасно, а значит, и она, эта орфография,— прекрасна, раз так прекрасно выглядят напечатанные по ее правилам мои стихи.

В свете этих рассуждений читатели поймут сами, с каким восторгом в 1922 году я встретил появление журнала «Искусство» № 2. Номер второй, и последний, в котором меня напечатали, но которым и прекратило свое существование это прелестное малотиражное издание, вышедшее на берегах Иртыша в городе Омске. Теперь этот журнал стал чуть ли не такой же библиографической редкостью, как екатерининских времен тобольский журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». И мне приходится лишь по памяти поведать читателям, как живо и красочно, на мой взгляд, оформили этот журнал «Искусство» художники омского промышленного техникума имени Врубеля. Тут будет уместно сказать, что способность выглядеть скромно, но так же эффектно, хотя и без иллюстраций, как «Искусство», унаследовали и преемники этого омского журнала — новониколаевские «Сибирские огни», прямо пылавшие алыми литерами своего названия на обложках былых номеров.

Но Омску и Новониколаевску (как тогда еще назывался Новосибирск), видать, посчастливилось на бумагу и краски. Внешность столичного ровесника упомянутых сибирских журналов — московского временника Лито Наркомпроса «Художественное слово» была много бледней и суровей. Желтая, почти оберточная бумага, серая печать... Трудно передать сейчас, с каким любопытством,

с каким интересом взялись мы в снежном Омске, в холодном нетопленном читальном зале за эти сирые и тощие, похожие на голодающих поволжцев издания in folio.

Ведь это был первый центральный советский литературно-художественный журнал, который мы видели. Ведь в нашем «Искусстве», как бы дорого моему сердцу оно ни было, все же участвовали только мы сами. Редакционную коллегию возглавлял, конечно, поэт, недавний студент, а затем местный партийный работник Александр Павлович Оленич-Гнененко, сын старого переселенческого деятеля Павла Павловича Оленича-Гнененко, доморощенного поэта, писавшего стихотворные памфлеты на короля писательского — Антона Сорокина. Рядом выступал в «Искусстве» со своими «Киргизскими самокладками» тогда еще вовсе не знаменитый Всеволод Иванов. Местным газетным корректором был автор талантливого рассказа «Жень-шень» Кондратий Урманов, совсем недавно скончавшийся. Словом, и они, и старый рабочий-поэт Рябов-Бельский, и юный футурист-попович Сережа Орлов, и хмурый профессор рабфака Круссер, писавший статьи «Каин и Авель как социальные категории» и «Художник рабов» (о Достоевском),— все это были свои, обыденные, хорошо знакомые товарищи. И конечно, наибольшим почтением среди нас, таких зеленых, как я, Коля Калмыков и Н. Семенов, пользовался поэт-ученый, искатель метеоритов Петр Людовикович Драверт, а самым, пожалуй, известным был Георгий Вяткин, поэт, вышедший из среды прииртышского казачества и еще до войны и во время войны выступавший в кое-каких столичных журналах. Вот кто были сотрудники нашего журнала «Искусство».

Другое дело — временник Лито Наркомпроса «Художественное слово»! Один перечень сотрудников чего стоил: «Пролетарские поэты — В. Александровский, М. Герасимов, В. Князев, Пимен Карпов, М. Кириллов, С. Обрадович; символисты — К. Бальмонт, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб и другие; неоакмеисты — Адалис, П. Антокольский; футуристы — И. Аксенов, К. Большаков, С. Буданцев, В. Маяковский, Б. Пастернак; имажинисты — С. Есенин, А. Кусиков; неоклассики — Олег Леонидов и др.».

«Неоклассики Олег Леонидов и др.». Должно быть, мощная школа! Я не скажу, что чтение столичного органа вызвало в нас лишь чувство почтения. Зеленая юность дерзка и критична. И скажем, на пролетарских поэтов, на

Александровского, Герасимова, я по своей юношеской неосведомленности взирал вовсе не как на пролеткультовцев (я как-то по невежеству своему не интересовался Пролеткультом, хотя резолюция ЦК РКП (б) «О пролеткультах» уже появилась в «Правде» 1 декабря 1920 года), а смотрел я на этих поэтов как на авторов, которые, несмотря на революционное содержание, весьма старомодны и в них явно звучит эхо символизма. А на неоклассика Олега Леонидова за его «пламенное сердце поэта» и рифмы «смерть — твердь», «ветр — недр» и прочее — как на эпигона пушкинских эпигонов вроде какого-нибудь Ратгауза.

Но чем дольше вы вчитывались в бледный, иногда почти эфемерный шрифт текста, тем интереснее становилось читать. Богатейший отдел критики и библиографии книг своих и зарубежных! Привлекающая нас, изголодавшихся по новостям, культурная хроника! А публицистика! Хотя бы тот же самый отрывок стенографической записи речи Луначарского осенью 1920 года «Из задач наступающей зимы». Сейчас, вспоминая, перечитывая, я могу сопоставить это разве только лишь со статьями-раздумьями Блока о русской интеллигенции... А стихи! Ведь кроме вышеупомянутых стихов Герасимова и Александровского, кроме пролетарского поэта Пимена Карпова и довольно похожего на него неоклассика Олега Леонидова, там были стихи Маяковского из «150 000 000», стихи Пастернака «Елене», те стихи со словами: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе!», стихи Брюсова...

— Да! Это тебе не «Творчество»! — сказал наконец мой товарищ.— Вспомни их ТАМ и сравни ЗДЕСЬ!

Он имел в виду альманах «Творчество», вышедший в самом начале 1917 года (я теперь уточнил: альманах «Творчество», издательство «Творчество», Москва — Петроград, январь 1917) и попавший нам на глаза лишь в двадцатом году. Там, в этом альманахе, объединившем широкий круг авторов, особенно поэтов, от Блока до Дмитрия Цензора, почти все дышало мраком — талантливым ли, бездарным ли, но мраком. Не обещал там своей земной подруге ничего утешающего прекрасно-мрачный Демон Александра Блока: «Дрожа от страха и бессилья, тогда шепнешь ты: отпусти... И, распустив тихонько крылья, я улыбнусь тебе: лети. И под божественной улыбкой, уничтожаясь на лету, ты полетишь, как камень зыбкий, в зияющую пустоту». А Валерий Брюсов в стихотворении

своем, вообще-то говоря не жизнеотвергающем, не отрицающем прелести существования, с довольно презрительной мрачностью обращался к людям, измученным собственным бессилием: «Для вас, изведавших ничтожество своих надежд, сказал Сенека: — «Открытых выходов есть множество из тесной жизни человека!» А на следующей странице он вещал: «В гробу под парчой серебристой созерцал я последнее счастье».

К счастью, это счастье не стало последним,— временник Лито отдела Наркомпроса въявь показал нам, как блестяще Брюсов воскрес в «Инвективе». «Нам слышны громы: — то вековые устои рушатся в провалы, над снежной ширью былой России рассвет сияет небывалый», и, обращаясь к эстетам: «Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам, мечта была мила как дальность и только в книгах, да в лад с поэтом любили вы оригинальность?»

Сейчас, переписывая эти строки, я представляю, как, скривив губы, это может воспринять современный, возросший на новых и новых поколениях новой поэзии юный читатель, кстати сказать в большинстве своем не знающий ни старого, ни нового Брюсова, кроме как по учебнику для средней школы. Но для нас «Инвектива» Брюсова звучала почти так же значительно, как «Двенадцать» Блока, как «Мистерия-буфф» Маяковского. Словом, можно делать какие угодно поправки на время, можно говорить о чем-то лучшем и нелучшем, случайном и неслучайном, но этот временник Литературного отдела Наркомпроса, как и все, связанное с первыми годами после Великого Переворота, с течением времени не теряет, а лишь увеличивает к себе интерес. И хотелось бы надеяться, что если не к шестидесятилетию, то во всяком случае к семидесятилетию или семидесятипятилетию Октября этот журнал будет воспроизведен факсимильно, прежде чем последние, уцелевшие у букинистов экземпляры его рассыплются в писчебумажный прах.

Да будут не позабыты в неповторимом своем естестве книги, рецензированные или так или иначе упоминавшиеся на страницах этого славного журнала, будь то скромные издания «Ямбов» и «Песен судьбы» Блока, стихи Эмиля Верхарна и книга о Верхарне М. Волошина, «Все сочиненное Маяковским», чудесное первоиздание на какой-то красно-желтой, то ли оберточной, то ли курительной, бумаге, все эти и многие другие книги, вышедшие в том 1919 году, когда Колчак и Деникин двигались на

Москву. А в 1920 году, когда на смену разбитым Колчаку и Деникину объявились барон Врангель и белополяки, когда Красная конница мчалась, победоносно опрокинув и врангелевцев, и пилсудчиков,— не в эти ли дни либо недели и месяцы вышли в Москве томик Пушкина под редакцей Брюсова, и томик Некрасова под редакцией Корнея Чуковского, и ремезовский вариант народной драмы «Царь Максимильян», и была издана имажинистская «Конница бурь». И не любопытен ли критический отзыв в том же «Художественном слове» на эту «Конницу бурь»...

Критика, конечно, всегда пристрастна. И можно по-всякому относиться к имажинизму и к так называемой имажинистской «Коннице бурь», но как удивительно и поучительно читать в этой рецензии про «Пантократор» Сергея Есенина, что худшая его часть — это часть первая, и она «плоха именно от насыщения ее несвойственной поэту патетикой и восклицаниями». Это, значит, о стихах:

Славь мой стих, кто ревет и бесится,
Кто хоронит тоску в плече.
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей...

Кто же столь сурово раскритиковал «Пантократора», одно из замечательнейших есенинских творений, свидетельствующих о космически широком кругозоре поэта? Оказывается, земляк Сергея Есенина Сергей Буданцев, на год его старше, родившийся в Зарайском уезде той же Рязанской губернии, затем рязанский гимназист, московский студент-филолог, писавший стихи (как указано в автобиографии) до 1921 года, то есть как раз до неодобрительной рецензии на своего земляка и тёзку.

Возвращаясь к «Коннице бурь», я должен сказать, что лет пять назад в деревеньке близ Истры, на даче, я встретил старого доброго художника Василия Петровича Комарденкова, писавшего прекрасные картины в сказочно-русском духе. Я воздал акварелям Комарденкова дань восхищения. «А! Я написал когда-то обложку к «Коннице бурь»!» — сказал он, на что я ему ответил, что через полвека он пишет еще лучше, избавившись от некоторого кубистического примитивизма начала двадцатых годов. Тогда он подарил мне свою небольшую книгу «Дни минувшие» (М., «Советский художник», 1972) и заметил, что

надеется еще больше опубликовать воспоминаний о художественно-литературной жизни двадцатых годов. Не успев этого сделать, он умер. Будет ли что опубликовано?

Но, рассказав о Комарденкове, я, разумеется, должен рассказать и о том, кто меня с Комарденковым познакомил, а именно о Владимире Милашевском.

Как сейчас помню, на фоне заката над колхозными полями Подмосковья худощавую фигуру седого художника. Глядя однажды на дачников, на бородатых, гривастых юнцов с их мотороллерами и псами, старый художник с умной насмешливой грустью прочел вслух, как «за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки». Он слышал Блока, знал молодую Ахматову, писал Андрея Белого. Он много видел и много своих видений запечатлел. Он, Владимир Алексеевич Милашевский, был не только художником-графиком, как сказано в газетном объявлении о его смерти. Живописец, рисовальщик-акварелист, он был не только прекрасным иллюстратором сказок Пушкина, ершовского «Конька-Горбунка», произведений Гофмана, Бальзака, Диккенса, Флобера, не только полноправным гражданином мира книг, но был еще и вдохновенным путешественником во внутренние миры своих современников, то есть портретистом, оставившим нам облики людей простых, его окружавших, вроде какой-нибудь безызвестной Маруси или некоего псковского крестьянина и красивой безымянной деревенской ведьмы из деревни за рекой Шелонью, а наряду с этим и таких лиц, как Андрей Белый, Анри Барбюс, Осип Мандельштам, Николай Чуковский, Иван Евдокимов, Назым Хикмет. Словом, он трудился кистью для того, чтобы мир не позабыл ни Бабеля, ни Клюева, ни Грина, ни Гидаша, ни Азии с Европой, так чудно сочетавшихся в прекрасном лице Сейфуллиной, когда она на нас глядит любезно дерзким взором центростремительных прекрасных глаз.

Но кроме того, что Милашевский был славным портретистом, он, подобно таким мастерам кисти, как Коровин и Петров-Водкин, был воистину и мастером пера и в оставленных нам мемуарах дал яркую картину крушения старого и становления нового мира. Тут и рассказ о предреволюционной русской провинции, тут и будни Академии художеств, и Революция, и Горький, и Дом искусств с живописавшей его в «Сумасшедшем корабле» Ольгой Форш, и воспоминания о таких мастерах, как Добу-

жинский, Лев Бруни, Сомов, Ал. Бенуа, Татлин, и встречи с Шаляпиным...

Обо всем этом и о многом еще другом рассказано в талантливой, но небольшой книжке воспоминаний «Вчера, позавчера», изданной десятитысячным тиражом в Ленинграде в 1972 году и, конечно, мгновенно раскупленной и, к сожалению, прошедшей как бы бесследно, незамеченно большой прессой, так же, впрочем, как и книга Виктора Уфимцева, народного художника Узбекистана, тоже добавлявшая немало, на мой взгляд, любопытного к истории становления советского искусства и так же, как и книжки Комарденкова и Милашевского, далеко не вместившие в себя того, что могли бы сказать авторы, то есть того, что было ими написано. У Милашевского в рукописи осталось очень многое, повествующее именно о тех временах, когда наряду с петроградскими алконостовскими «Записками мечтателей», с омским «Искусством», с одесским журналом «Лава», с новониколаевскими «Сибирскими огнями» вышел московский временник Лито Наркомпроса «Художественное слово» с брюсовской «Инвективой» и еще с такими его стихами:

Эй, ветер, ветер, поведай,
Что в распрях, в тоске, в нищете
Идет к заповедным победам
Вся Россия, верна мечте,
Что прежняя сила жива в ней,
Что, уже торжествуя, она
За собой все властней, все державней
Земные ведет племена!

Это в номере втором, а в номере первом журнала Маяковский писал:

Теперь...
Мы переходим
к событьям главным,
к невероятной
к гигантской сути!

Студия стужи

1

Всему свое время — всякому желанию, всякому свершению и всякому воспоминанию. В другой книге я уже рассказал, как, приехав однажды в Москву на рассвете и

утолив свою жажду в извозчичьей чайной на задах Казанского вокзала, я по Каланчевке впервой вошел в город и достиг общежития ВХУТЭМАСа, где и нашел приют в берлоге друга моего Мамонтыча, на девятом этаже, в необитаемой холодной кухне, на неработающей плите вместо ложа.

Но я не рассказал о том, как и где я, не удовлетворенный нашим убежищем, стал искать достойной нас студии, просторной и светлой, где уместились бы мы со всеми нашими мольбертами (я тогда думал еще заниматься живописью) и миллионом полотен.

Для ясности надо сказать, что году в двадцатом, еще в Омске, однажды в очень солнечный мартовский день я увидел двух девушек, пробирающихся через навозно-плывкий Никольский проспект в районе Казачьего базара, чтоб низвергнуться в еще покрытый льдом Иртыш. Я протянул девушкам руку помощи даже не потому, что они были красавицами, требующими воплощения на полотнах, но просто потому, что убоялся, как бы девушек не сбили с ног стремительные ручьи мартовского полдня.

Одна из этих девушек была Айно Б. (Я ограничиваюсь инициалом потому, что она, став впоследствии известной художницей, почему-то не ответила мне на книгу моих стихов и письмо и, хотя я ее ничем и никогда не обидел, может быть, ей будет почему-либо неприятно, если я назову ее фамилию.) А с другой девушкой, Аллой, мы подружились.

— Приходите к нам! вот это парадное крыльцо! — указывая пальчиком на крыльцо учительской семинарии, сказала она.

Помню, я засмеялся, взглянув на этот старый приземистый коричневый дом:

— Я тут бываю!

— У кого?

— У Васильевых!

— Но мы и есть Васильевы!

— Ах вот как! — воскликнул я.— Вы кем же приходитесь бывшему директору бывшей учительской семинарии? Не двоюродная ли вы сестра Саше, его сыну? Мы с ним учились в одной гимназии!

— Я ничего не знаю, то есть вас не понимаю! — возразила она, заливаясь румянцем.— Мы пришли с Пятой ар-

мией, и нас поселили в этот дом! Мой папа — научный работник, его ваши омичи зовут Красным профессором. А вы кто?

— Я? Я — поэт! — преодолевая понятное смущение, через силу сказал я. В глубине души я-то считал, что не столько поэт, сколько художник, но постеснялся выразить это словами. Так мы и познакомились с Аллой.

Я побывал раз-другой у них в гостях на бывшей казенной квартире старика Васильева, бывшего директора бывшей учительской семинарии. Они тогда перешли в тишайшее служебное помещение 2-й женской гимназии. Или, не помню точно, в здание бывшей новой учительской семинарии в конце бывшей Варламовской улицы, ближе к ипподрому, с которого еще перед германской войной взлетал на биплане «Фарман» летчик, тоже Васильев,— вот ведь как повезло на Васильевых в этом рассказе! А на квартире новых, советских Васильевых было людно и шумно. Затем семейство Красного профессора (кажется, он был философом), прибывшего с армией Тухачевского в бывший стольный град адмирала Колчака, вернулось в Москву, и мне было сказано на прощанье:

— Ну, прочти новые стихи!

И я прочел:

Вы уедете скоро. У платформы вокзала
Будет биться метель в паровозную грудь.
Улетая, завьюжится талая муть.
Я назад возвращусь, спотыкаясь о шпалы.

(То есть пешком в город, спотыкаясь о шпалы городской ветки, соединявшей Омск-вокзал с Омском-городом.)

Рыжеокая девушка, белая Алла,
— читал я дальше,—
Не забудьте, кончая намеченный путь,
Над площадкой вагона свой стан перегнуть,
Удивляясь, как быстро Сибирь убежала...

И Алла, может быть впервой услышав про свою рыжеокость, в самом деле удивленно раскрыла глаза. А я продолжал:

И, взлетая на черную спину Урала
И, спускаясь в долину голодных смертей,
Вспоминайте о том, как простились устало
Мы с больными улыбками умных детей.

Это было сказано не совсем точно, потому что мы улыбались за живо-здорово, как самые глупые ребята, и

улыбались не чему-нибудь другому, а последним строкам этого сонета, где было сказано:

Чтобы встретиться вновь в суете карнавала
Под веселыми масками старых чертей!

И в ответ на это я услышал:

— Когда будешь в Москве, обязательно приходи к нам. Вот по этому адресу!

2

И вот, приблизительно через год приехав в Москву и оглядевшись, я пошел в гости к Алле Васильевой по указанному ею адресу: Воздвиженка, особняк Морозова. («Это известный всем особняк, каждый покажет!») И действительно, я нашел его сразу, этот дом, этот замок, дворец в мавританском стиле, то есть особняк, я тогда не знал, кому принадлежавший в прошлом, думал, что Савве Морозову, но оказалось, принадлежавший не Савве, а его двоюродному брату Арсентию, а в момент моего появления в Москве служивший жилищем рыжеокой Аллы, ее сестер и родителей. Точнее, семья профессора занимала ряд комнат в нижнем этаже этого домовладения, ставшего впоследствии Домом дружбы с народами зарубежных стран. А вообще тогда в доме шел ремонт. И, слыша визг пил или дрелей и постукивание штукатуров, я ничего не сказал Алле, но подумал, что если бы Васильевы поделились частью апартаментов с нами, то мы с Мамонтычем устроили бы здесь прекрасную студию. Однако я торопился сделать другие визиты и, посулив Васильевым еще побывать у них, живо отправился на Поварскую к Ордынскому передать поклон от отца. Они с Ордынским когда-то где-то работали вместе на каком-то строительстве, и, вспомнив об этом, отец попросил меня навестить Ордынского, зайти в нему на часок. И вот я позвонил в парадную дверь белого дома на будущей улице Воровского, и мне открыл, как выяснилось, сам Ордынский, небольшого роста, одетый в толстовку человек с гривой Надсона. «Вы поклонник Надсона?» — хотел я его спросить, но как-то не посмел, что ли. Осведомившись, кто я и зачем, Ордынский благосклонно провел меня через передний зал, совершенно пустой, если не считать очень чахлой либо искусственной пальмы в углу. Что было дальше, я помню не совсем отчетливо — с тех пор миновало почти шестьдесят лет,— но у меня осталось

такое впечатление, что мы бежали из этого пустого зала, взбежав по крутой лесенке куда-то ввысь, в угол, скорее всего — на антресоли, где отгороженная висящим ковром от пустоты зала стояла кровать, а рядом с нею столик, книжная полка, вешалка для одежды и тому подобное. Все это зыбко покачивалось под потолком, как над бездной, но Ордынский, ничуть не тревожась, спросил меня сперва о здоровье отца, а затем осведомился, куда я хочу поступить учиться. Я, впрочем не удивившись его проницательности, ответил, что действительно я приехал для продолжения образования (как и было указано в моем командировочном удостоверении или пропуске, словом, в какой-то, какой именно, я уж не помню, бумаге), но может быть, я не буду нигде ничему учиться, а буду сам по себе заниматься живописью. Ордынский с сомнением покачал головой, а я, глядя не столько на его надсоновскую гриву, сколько на вид с антресолей, на пустой зал, примерял в уме, хватило ли бы нам с Мамонтычем этого зала на студию. И, размышляя, с какого конца приступить к разговору о возможности сдачи нам Ордынским пустующего помещения под студию, я кивал головой в знак согласия с какими-то высказываемыми им соображениями насчет выбора мною профессии. Затем я вскочил, попрощался и, гадая, что лучше для студии — бывший морозовский особняк или вот этот ордынский зал, ринулся к себе на Мясницкую обсудить этот вопрос с Мамонтычем.

3

Теперь, оглядываясь на двадцатые годы и вообще на прошлое, я мог бы многое рассказать об этом районе Москвы, так или иначе тяготеющем к доброму старому Арбату... Я бы мог, например, припомнить, как в начале двадцатых я ходил по той же Воздвиженке, не подозревая, что почти рядом с псевдомавританским приютом рыжеокой Аллы, в доме будущего Военторга, будет жить упрямая девочка, отец которой однажды бросит в печь, в огонь ее красные сапожки, чтоб, мечтая о раннем замужестве, она не пошла в них на свидание со своим избранником. Но эта девочка, Агнесса Кун, все же уйдет к своему Анатолию Мостостроителю, то есть к Анталу Гидашу, по-венгерски, а ее отцу, яростному коминтерновцу, грозе мировой буржуазии — Бела Куну, придется смириться, считаясь с фактами. И я не думал, что в конце сороковых годов эта

Агнесса с Гидашем придут к нам в Сокольники и познакомятся с Ниночкой, чтобы между нами четырьмя возникла дружба не менее крепкая, чем Дом дружбы, глядящий с бывшей Воздвиженки на Арбатскую площадь. И я буду чуть ли не ежедневным гостем в Нащокинском переулке у Агнессы с Гидашем, когда мы станем переваливать на русскую почву алмазную гору венгерской поэзии — стихи Чоконаи-Витез, Петефи, Араня, Вёрёшмарти, Мадача, Ади.

Эта старинная квартира в доме, которого нынче, кажется, уже нет,— вот это была действительно студия мастеров-переводчиков: Пастернак, Тихонов, Заболоцкий, Николай Чуковский появлялись здесь на переломе века. Но о том, как возникла «Золотая библиотека» венгерской поэзии в переводах на русский, рассказывать не мне, участнику этой эпопеи, этого небывалого в истории европейской литературы творческого альянса русских и венгерских художников слова. А я могу только по праву вспомнить, как я рассказывал выросшей девочке из соседнего дома на Воздвиженке, превратившейся в редактора Краснову (таков был в сороковых годах псевдоним Агнессы Кун), как я рассказывал Агнессе о своих ночных приключениях в переулках Остоженки двадцать лет назад, то есть в самом начале тридцатых. Я рассказывал о промерзшем домике в Курсовом переулке, где жили безумные поэты, шагая от холода по ночам в своих студиях стужи. А я, конечно, самый разумный из них, выходил ночью с некой безумной нянькой, чтобы наломать на Остоженке заборов, чтобы натопить буржуйку, чтоб не замерз маленький ребенок, некий Володька, чуть-чуть постарше Агнессы. И Агнесса внимала этим моим рассказам как вымыслу, и, чтоб уверить ее, что это не сказка, я даже написал стихи о студии стужи:

Все застыло —
Моря, и озера, и реки, и лужи.
И торчат ледяные березки, как трещины в воздухе.
И тогда на пороге пустой кристаллической студии стужи
Возникает натурщица:
— Где же художник Мороз в дохе?
Ах ты сизая роза, ледяная заноза, собачья каюрщица!

Но Агнессе ни к чему было слушать эти сказки о студии стужи, когда-то существовавшей по соседству в Курсовом переулке, и она была, в общем, права — ей нужны были прежде всего хорошие переводы из Петефи, чтоб в

русской поэзии возникал мадьяр со спутанными волосами над окровавленным челом, почему-то казавшийся нам похожим на Гидаша. И Агнесса талантливо настраивала Исаковского на перевод стихов в духе народных песен. Маршака — на баллады, Пастернака — на эпос и лирику. И Борис Леонидович Пастернак часто, придя лишь передать завершенный перевод, застревал чуть ли не на час в дверях, рассуждая о таинствах русской и венгерской поэзии с Агнессой, одной из образованнейших и вообще высококультурнейших женщин середины двадцатого века.

4

В это время, вернее в первой половине двадцатых годов, видимо прочтя книги моих стихов и переводов, обнаружилась рыжеокая Алла из будущего (всему свое время!) Дома дружбы. Она прислала письмо о том, что прочла мой сонет о себе, о том, что от семьи их осталась чуть ли не одна она. Я ответил, что, проходя мимо их дома, я всегда вспоминаю о ней. Увы, ответа на это письмо не последовало...

Исчез Ник Мамонтов, Мамонтыч моей юности, исчез куда-то Ордынский, я уж не говорю о гордой Айно Б., посылая свои книги которой я посоветовал в посвящении графически или акварелью вспомнить «дальний край тулупов и папах, солнце в кольцах и луну в столбах, где встречались мы детьми почти».

И на мамонтовой кости,—

писал я,—

Выцарапайте колокол, свисток,
Нарисуйте Запад и Восток,
О художница далеких лет,
И над самой Балтикой цветок,
Походящий на автопортрет.

И так как ответа я, как сказано, не получил, то решил вспомнить далекое былое и нарисовать, что хочу, сам, рисуя цветными карандашами, цветными чернилами, всяко, как попало. Некоторые из этих картинок опубликовал, воспроизвел в «Дружбе народов» редактор ее — Сергей Баруздин как иллюстрации к статье обо мне Леонарда Лавлинского. В числе этих картинок были и художник Мороз в дохе, и баба-яга, и Злата Дева, и Студия Стужи.

Студия (от итальянского studio — изучение) — комната для занятий. Отсюда — мастерская художника, киностудия, радиостудия. Конечно, как видит читатель, я всегда был неутомимым искателем студий, не миновав, добавлю, ни кино-, ни радиостудий.

И напоследок едва ли будет уместно сказать следующее, но все же скажу, и да простится мне это, если что сказано не так, не корректно.

Однажды в Италии у грота Сибиллы ко мне подошла одна итальянка и на чистом русском языке спросила, что теперь в угловой комнате клуба писателей, на втором этаже.

— Секция поэтов,— ответил я.

— Это была моя детская! — сказала она. И, помолчав, добавила: — Конечно, всех этих поэтов я хотела бы попросить удалиться.

И вслед за тем, почувствовав, очевидно, что сказала неоправданную грубость, она добавила задумчиво и любезно:

— Впрочем, это не касается личностей, то есть, например, вас.

Словом,

В мире ангелов с выломанными крыльями,
Между статуй, увенчанных лаврами увядающими,
Я беседовал с русскими, обладающими
Иногда и нерусскими фамилиями.

Эти русские только порой по отцу или матери
И нерусские в силу законов супружества,
Как мне кажется, все-таки не утратили
Чувства общности, родственности, содружества.

Мной старались они быть замеченными
И печалились, когда поезд уходит, самолет отрывается,
корабль отчаливает,
Ибо раны, хотя и залеченные,
При перемене погоды побаливают.

Пучина Забвенья

На этот раз я хочу говорить о забвении. О поэтах, из чьих стихов не осталось у меня в памяти ни строки. Я говорю это вовсе не затем, чтоб охулить данных стихотворцев, а, как увидит читатель, преследую иную цель, но сперва я просто констатирую факт; я не помню ни строки из стихов, написанных этими авторами, я забыл, напри-

мер, что именно писала довольно известная в свое время и весьма шумливая иркутская поэтесса Дина Стож. Точно так же не сохранились в моей памяти стихи пришедшего вместе с Пятой армией русого, бледного, причислявшего себя к символистам поэта Судьина, чье имя и отчество, увы, забыты мной вместе с его творениями. Так же как не помню лирики некоего скромного труженика отделения Наркомпроса Грехова, добавившего к своей фамилии звучный псевдоним Эфирский и именовавшего себя поэтом классического направления. А о чем повествовали стихи рапповца Дантончика? Не помню, не знаю.

Но зато знаю другое. О чем памятуя всегда, предостерегаю себя от опрометчивых суждений о поэзии и о поэтах.

Я имею в виду не что иное, как отношение к себе со стороны Николая Викторовича Трунева, педагога, затем литератора. Он никогда не был моим учителем, преподавая словесность лишь в старших классах гимназии, до которых я не успел доучиться. Не был он никогда и моим советчиком в смысле чтения, хотя и оказался одним из первых и немногих людей, книгами из чьих личных книгохранилищ я имел счастье пользоваться. Дело было так: летом семнадцатого года мы с Колей Калмыковым узнали от знакомых старшеклассников, что словесник Трунев открыл охочим до чтения ребятам доступ к своим книгам. Надо только, чтоб кто-нибудь рекомендовал Труневу того мальчика, который желает пользоваться его книгами. И вот однажды, незадолго до Октября, нам сказали, что мы рекомендованы и можем идти к Труневу, когда захотим, и он допустит нас до книжных полок и позволит брать все, что вздумается, безо всякой расписки, даже не на честное слово, а просто чтоб, унося, не пачкать книг, не загибать страничек и по возможности быстро возвращать книги обратно.

Я помню, мы явились к Труневу в его, как мы говорили, хату за Монополкой в конце Проломной улицы у самого обрыва над Иртышом. Это была, конечно, не хата, не изба, а стародавний дощатый омский домик, казавшийся мне избушкой на курьих ножках, битком набитый всякими чудесами. Книги! Я помню, как вслед за альманахом «Стрелец» и за квадратным сборником Северянина в руках у меня очутились сперва «Дафнис и Хлоя» Лонга, затем «Мелкий бес» Сологуба. «А можно мне взять это?» — спросил я. (Я забыл сказать, что, открыв нам

дверь и выслушав, кто нас рекомендует, Трунев молча подвел нас к книжным полкам, а сам уселся, не глядя на нас, за письменный стол.) И в ответ на мой вопрос Трунев, недовольно взглянув поверх очков на книгу, ответил: «Можно!»

Он был очень некрасив, сократообразен, но при этом чернокосмат, бородат и усат и казался мне стар, хотя и был тогда молод. И возможно, даже настолько молод, что, как я догадываюсь, «Мелкого беса» выложил, быть может, и с вызовом, чтоб он лежал на виду, говоря: вот, мол, мой-то владелец не такой, каков Передонов! А каков Передонов — если не знаешь, возьми меня и прочти! И вообще во всем этом: в открытии дверей для нас, ребят, в подборе книг, в смешении их — был, конечно, свойственный 1917 году вызов вчерашнему дню, некая поперёшность только что разжалованного в своих чинах и званиях, но отнюдь еще не ниспровергнутому старому быту...

Одна журналистка, высказываясь по поводу моих «Воздушных фрегатов», опубликовала панегирик матриархально-прекраснодушной русской провинции, позволяющей детям своим ходить с опрокинутыми футуристическими собачками, намалеванными на щеках. Получается, будто либеральная и широкотерпимая русская провинция, как добрая няня,— как же поэтам без нянь, без Арин Родионовен, разве это можно! — это высокомудрая няня якобы поощряла меня на эпатаж такого рода. Все это, конечно, идеализация, идеализм, метафизика. Ничего такого она, матушка российская провинция, не поощряла, а снисходительно допустила все это лишь Революция, мужественная женщина, мальчишествовавшая по-девичьи. Но все это — и опрокинутые собачки, и символические плевки в граммофонные трубы,— все это было уже позже, а тогда, в семнадцатом, глядя на Трунева и вертя в руках «Мелкого беса», я, помню это весьма отчетливо, мысленно представлял себе другого педагога — Степанова, директора городского училища, что неподалеку от нас, рядом с учительской семинарией, наискосок, приспособленного под скетингринг цирка за пожарной каланчой. Этот Степанов, рыжий господин спортивного типа, как из популярной тогда песенки Изы Кремер «Муж леди спортсмен рыжий джентельмен», обладал волосатыми кулачищами, истинное назначение которых я понял только из бесед с его воспитанниками. Дело в том, что в 1915 году Степанов взялся подготовить меня в гимназию и я прихо-

дил к нему заниматься после окончания уроков в его училище. Со мной Степанов был безукоризненно вежлив, но помню, с первых же дней моего репетирования я был неприятно поражен обилием школьников, торчащих в угол носом в часы по окончании занятий, то есть оставленных без обеда. И от некоторых из них я и услышал рассказ о могучем применении степановских рыжих кулаков. Словом, этот Степанов был, конечно, не мерзопакостником Передоновым, но тоже фруктом. Так что российская провинция подготовляла по-разному детищ своих к будущей деятельности, и едва ли ей было дело до блоковских незнакомок и до брюсовского месяца, обнаженного при лазоревой луне, то есть до всего того, что было столь мило и дорого нам с Труневым.

Но не зашел ли я в этих полемических отступлениях слишком далеко от прокламируемой в заглавии темы — «Пучина Забвенья»? Ведь, помня о том, что речь идет о забытых поэтах, читатель может подумать, что Ник. В. Трунев тоже писал стихи. Впрочем, может быть, так и было, я не знаю, но дело и не в этом, а я хочу рассказать, как в данном случае произошло другое, как в положении непризнанного, забытого поэта оказался не кто иной, как я сам. Суть в том, что столь приятно начавшееся мое знакомство с Труневым не только не превратилось в дружбу или близость, но, наоборот, как только я стал писать стихи и в особенности их печатать, наши отношения с Труневым все более и более охлаждались. Это я говорю о двадцатых годах — о двадцать первом, двадцать втором, двадцать третьем... Посещения мои Трунева закончились, прекратились как бы сами собой, может быть, потому, что я получил, вернее — нашел доступ, и более широкий, во всякие иные книгохранилища и даже спас огромную подземную свалку книго-журнальных богатств, написав в местной газете громовую статью, о чем расскажу ниже. И вот, будучи уже автором этой и многих других статей в местной периодической печати и в журнале «Сибирские огни» и печатая также стихотворения и поэмы, я стал замечать, что Трунев при встрече со мной на улицах или в редакциях (он уже стал литераторствовать тоже) отвечает на мои приветствия более чем холодно. Сперва я подумал, что он не узнает во мне, долговязом юноше, того маленького гимназиста-второклассника, который явился к нему летом семнадцатого года за книгами. И однажды я напомнил ему об этом, причем не вызвал своими

словами особенного восторга. Затем я решил, что ему не нравятся если не мои футуристические выходки, которые уже остались в прошлом, и если не мои статьи, то мои стихи, о чем и попросил одного нашего общего знакомого выведать у Николая Викторовича. Но общий наш знакомый рассказал мне, что в ответ на его вопросы Трупев только молчаливо улыбнулся в свою лохматую бороду.

В чем же дело? Желая выяснить это, я с особым вниманием читал его статьи, которые он время от времени публиковал в «Сибирских огнях» и в местной печати. Он писал о высказываниях Чехова о литературном мастерстве, о книге Лафарга «Язык и Революция», о поэтическом языке вообще, о книге Ошарова «Большой Аргиш», а также рецензии о других современных писателях, но только не обо мне. Он явно не признавал меня. И я имею в виду даже не то, что он не писал обо мне, а просто даже то, что при встречах, когда я бывал в Омске, он смотрел вовсе как бы мимо.

«А может быть, это он просто от близорукости?» — думал я. Но однажды в тридцатых годах у меня вдруг возникла и такая догадка: может быть, он смотрит мимо, потому что когда-то, в семнадцатом году, он дал мне «Мелкого беса» Сологуба, а с течением времени Сологуб был все более и более не в чести у наших критиков и литературоведов, и, быть может, Трупеву было неприятно вспоминать...

«Но нет! Не может быть!» — сказал я себе и повторяю это с уверенностью и по сегодня. Тут не было, говорю я, никаких оглядок на что бы то ни было, никаких личных обид или неприязни, а просто ему, любителю классиков и символистов, видимо, было чуждо мое творчество, и чуждо настолько, что он попросту забыл меня, забыл обо мне.

Но нет, нет, нет! Если он и забыл обо мне, так неспроста. А видать, он, старый педагог, забыл обо мне для моей пользы, чтобы премудро одарить меня чувством забытости, чтоб я познал, что такое забвение,— чувство, с которым не шутят! Для чего он это сделал? А для того чтоб я с величайшей осторожностью, величайшим тактом говорил о всех тех, кто настолько мне далеки, что я не помню, о чем они писали, будь то скромнейший классик Грехов-Эфирский, или коллективист Лазарь Голодный, или пролетарский поэт Баженов, или причисляющий себя к символистам меланхолический блондин поэт Судьин, опустившийся в редакционное кресло «Советской Сибири»,

подобно обращенному к самому себе знаку вопроса — что же он, дескать, пишет? Может быть, все это пригодится будущему историку литературы.

Неподвижные непоседы

Вышел альманах книголюбов, в котором меня звали участвовать, но я ничего не дал, а теперь огорчаюсь. Ведь я мог бы написать хотя бы о том, чему в этой интересной книге не уделено должного и достаточного внимания,— например, о переплетах!

Удивляюсь, почему не вспомнил и не поведал раньше о том, в какой переплет иногда попадают книги. А ведь вот она, книга, одна из первых самостоятельно приобретенных мной книг, книга более чем шестидесятилетней давности, а так хорошо сохранившаяся именно потому, что я на редкость добротно переплел ее собственными руками.

И мало того, что я ее переплел! В этот предреволюционный чтец-декламатор, завершающийся девическими стихами Марины Цветаевой, я искусно вплел ее стихи, напечатанные уже по новой орфографии, и много других страниц из всяких журналов и сборников военного, революционного и послереволюционного времени. Я и сам поражаюсь тому, как ловко я вшил, вклеил, вмонтировал на добавочных страничках и на пустых местах и на местах пустых заставок стихи Ахматовой, и Эренбурга, и Давида Бурлюка, и Рюрика Ивнева, и Натана Венгрова, и Оленича-Гнененко, и даже вовсе неведомые современному читателю стихи земляков и сверстников моих Бориса Жезлова и Николая Калмыкова.

Кто меня учил переплетному делу? По существу — никто! Правда, на несколько лет раньше, еще совсем мальчишкой, я заходил иногда с отцом в переплетную мастерскую на Лагерной улице. Там я видел громоздкие допотопные станки, но, как говорится, ни разу даже не прикоснулся к ним пальцем, я знал, мне внушалось, что мастера не любят, когда досужие ребята трогают без спроса их инструмент. На этот счет существуют и другие мнения, но мне лично и самому никогда не нравилось, чтобы за мое перо хваталась чужая рука. Итак, я не учился переплетному мастерству, но однажды, в начале двадцатых, усмотрев, в каком хаотическом состоянии находятся мои

книжные накопления, и чувствуя, что новые шквалы событий могут и вовсе развеять все это, я взялся за краткое руководство по переплетному волшебству. И, дилетантски испортив для начала несколько ничтожных брошюрок, однажды приступил к настоящему делу. Острый сапожный нож, липкий столярный клей, лобзик для надреза, игла с суровой ниткой для сшивки всего воедино и, наконец, кирпич вместо пресса — вот и все, что мне понадобилось. Так сделал я, не робкий ученик, а вдумчивый поэт и переводчик, добытчик и упорный переплетчик по ветру разметающихся книг. И, завершив эту, словно по волшебству удавшуюся, затею, я больше не возвратился к вдохновенному труду переплетчика. Страсть к переплетному ремеслу так же внезапно угасла, как и неожиданно вспыхнула. Но сейчас, взяв в руки эту блестяще переплетенную в картон и ситец и, к счастью, уцелевшую книгу, я с удовлетворением читаю ничуть даже не выцветшую на оборотной странице обложки четкую надпись: «Сия книга собственноручно переплетна Леонидом Мартыновым в 20-х годах XX века. Уразумейте, потомки! Где она будет храниться? А?»

И в самом деле — где хранятся, куда деваются книги, эти неподвижные непоседы, эти сорвавшиеся со средневековых библиотечных цепей фолианты и фолиантики, гномики и гигантики, лирики и романтики, этики и эстетики, политики и экономики? На какие пакетики и фунтики или даже попросту на «козьи ножки» употребляются порой эти книжно-бумажные крылья теми, кто не сумел возноситься на них до небес! Но, возвращаясь к презренной прозе, я спрашиваю прежде всего самого себя: где, например, книги из домашней библиотеки гимназического учителя словесности Николая Викторовича Трунева?

Надеюсь, что они оказались в надежных руках, а не пошли на вес и даже не попали к милейшему букинисту-библиофилу Чернакову, работавшему в книжном магазине Сибкрайиздата, а личные свои книжные богатства хранившему, как я слышал, в избушке или даже, кажется, в баньке села Красноярка, откуда он был родом. К нему, к этому рыжему и дюжему, как самый настоящий чалдон, книголюбу, попадало немало добрых книг. Не ведаю, что сталось с книжными накоплениями самого Чернакова. Хотелось бы надеяться, что они не пошли на растопку. А вот о книгах, которые попали не в печь, но на печь. Вот один из этих томиков, стоящий у меня на полке. Это очень потрепанный энциклопедический словарь Павленкова. Его

надо бы давно переплести, если не собственноручно (ибо этому я разучился), так в переплетной Литфонда. Порядочно истрепался он, достаточно трепанный еще и тогда, когда я нашел его на печи в Сибири полвека назад.

Да, на русской печи, на кухне. Это книга из книг былых наших соседей. Он — артист, она — художница, Таня. Они разошлись-разъехались: он, кажется, в захолустный тогда Тайшет, она — в Одессу. А книги, то ли как лишний багаж, то ли как имущество неделимое, оставили, деликатно свалив на печь в общей домашней кухне... И так как туда, на эту печку, другие обитатели дома свалили сушить дрова и так как вместе с этими дровами, на их растопку, пошли помаленьку и книги, мне стало жаль этих книг. «А что, если спасти хоть одну, другую?» — подумал я. И однажды, сунув руку в древесно-бумажный хлам, я извлек оттуда нечто приятно-кубообразное, довольно увесистое, несмотря на незначительную свою величину. Это и был старый энциклопедический словарь Павленкова, которым я и доныне пользуюсь. А возвращаясь к вопросу о днях былых и странном местонахождении книг, я вижу уже не кухонную печь, а такую картину: дневной свет не проник бы через пыльные оконные стеклышки, если бы они не были разбиты и уличный ветер не шевелил бы страницы газет и журналов, заполняющих этот мрачный подвал. Горы книг. Чтоб не преувеличивать, сказав, что в этих книжных горах человек мог утонуть по горло, скажу, не преуменьшая: люди могли утонуть по грудь в этих грудах!

Я — в архиве! Вернее — на подземном, подвальном подбиблиотечном складе книг, свезенных туда из всяческих дореволюционных общественных и частных расформированных книгохранилищ и сваленных здесь в уповании разобраться когда-нибудь, в лучшие времена, что тут полезно, что вредно, и — забытых! И долго не вспомнили бы, если бы на базарах не стали продаваться на вес, для обертки товара, всякие старорежимные журналы и газеты, в которых черт знает что можно прочесть. Откуда поползла, полезла, назло Советской власти, эта вредная литература? И вот распространители ее пойманы. Это — мальчишки, они признались, что добывают бумажный хлам через разбитые стекла библиотечного подвала.

Так однажды я и очутился в этом заброшенном подземелье, битком набитом упраздненными твердыми знаками, ижицами, фитами и ятями. Действительно, тут попадались и недостойные внимания раскрепощенного человечества

изъеденные мышами шедевры епархиальных типографий. Но я обнаружил и труды прославленных корифеев отечественной и мировой литературы, оскверненные штемпелями старорежимных учебных заведений и ведомств. Я извлек из небытия не какие-нибудь непереплетенные словари Павленкова, а тяжелые, хотя и разрозненные, тома энциклопедии Граната и Брокгауза и Ефрона. Протирая глаза от источаемой газетными страницами пыли, я ворошил трепаные подшивки Акмолинских, Тобольских и всяких прочих областных и губернских ведомостей и разрисованные художницей-плесенью обложки всевозможных «Русских богатств», «Лукоморий» и «Современных миров», лежащих навалом на бетонном полу того чистилища, которое именовалось библиотечным подвалом.

Так однажды и шкафы-колоссы
Потрясает жизни ярый гнев —
Видите солдаты и матросы:
Рушатся витрины, зазвенев!

Такие стихи, весьма невразумительные, сочинил я под впечатлением этого подвала, через разбитые окна которого я видел мелькание ног человеческих на Думской улице (я забыл, как она тогда называлась). Я почти мгновенно сочинил эти стихи, но написал и напечатал в газете «Рабочий путь» совсем иное — а именно гневную статью под названием «Гниет». Было это, видимо, году в двадцать третьем, статья возымела почти мгновенное действие, соответствующие инстанции сообщили, что меры приняты...

Надо полагать, теперь все в порядке! Надо надеяться, что книги как переплетенные, так и непереплетенные, и в какие бы житейские переплеты они ни попадали раньше, нашли теперь наконец своих настоящих хозяев.

Путь к этому порой бывает очень долог, иногда проходят целые столетия, когда книги прячутся если не в подвале, то на чердаке, покуда его стропила не затрещат под напором какого-нибудь бульдозера,— о таких находках и до сих пор нередко читаем в газетах. Иногда та или иная книга прячется совсем под другим переплетом, а порой оказывается вплетенной в толщу других одноразмерных, но не единоценных книг. Бывает разное. Я, например, до сих пор не могу найти, то есть вновь приобрести, похищенную у меня когда-то и кем-то книгу Мстиславского «Крыша мира», которая, несмотря на свою художественность и общественно-историческую ценность, до сих пор почему-то не переиздается. Так же как и прекрасный роман Клода

Фаррера «Фома-ягненок». Словом, книги имеют способность прятаться, скрываться с глаз.

Но с другой стороны, бывает и наоборот.

В 1940 году я выпустил книгу «Поэмы», в которой, кстати сказать, наряду со всем прочим кое-что упоминается и о судьбе книг. Тираж «Поэм» был невелик, и в 1964 году, когда встал вопрос об издании моего двухтомника, я обнаружил, что у меня нет ни одного экземпляра моих «Поэм». И я ринулся по букинистам, но не нашел «Поэм» нигде: ни на Арбате, ни на Сретенке, ни в проезде Художественного театра. Конечно, я повсюду сделал заказ, но букинисты сказали, что надеяться трудно. И какова же была моя радость, когда чуть ли не на другой день товаровед одной из букинистических лавок вручил мне чистенький, будто новенький экземпляр «Поэм».

— Обратите внимание, с вашей дарственной надписью! — сказал он.

Я раскрыл книгу. Действительно, она была когда-то подарена мною А. Ромму, к этому времени давно уж покинувшему сей грешный мир.

Балхашская экспедиция

Давно уж хотел рассказать подробно о том, как я был матросом, вернее, юнгой Балхашской экспедиции, да как-то не получалось, не было подходящего случая. Но вот вчера вечером, то есть более чем через полвека после того, как я уволился из этой экспедиции, откомандированный для продолжения образования, я, будто бы нечаянно обернувшись и взглянув через правое плечо за окно, увидел, что молодой месяц глядит на меня с холодной высоты столь же иронически, как глядел на меня когда-то сквозь полог повозки долговязый мичман Камилов, один из моих начальников по Балхашской экспедиции Уводстроя Комгосоора РСФСР.

Так настал наконец момент более или менее подробно вспомнить и рассказать об этой экспедиции.

Мне только что исполнилось шестнадцать лет, когда ко мне пришел Генка Патрикеев, брат Тамары. Через Тамару мы с Генкой в свое время и познакомились. Началось с того, что года за три или четыре раньше я проходил однажды мимо дома возле Казачьего базара и увидел в окне этого дома девочку столь приятную, что непроизволь-

но раскланялся с ней. Но она скорчила рожицу и, не ответив на поклон, отпрянула от окна. Оскорбленный, я, выяснив у соседских мальчишек, кто она такая, решил отправить ей вразумляющее письмо. Не придумав ничего лучшего, я написал кратко: «Memento mori!» И в общем, не удивился, когда несколько дней спустя при моем приближении к этому дому из него выбежал длинноногий гимназист чуть меня постарше и крикнул грозно:

— Я тебя знаю! Это ты написал Тамаре «мементо мори!»

— Ну и что же? — спросил я.

— Как ты смел написать такую глупость моей сестре? — воскликнул Генка.— Но раз ты честно признаешься, я тебя не трону, а то бы вздул. Пойми, что это пахнет клеветой!

— Почему клеветой? — возразил я.— Это значит, что все мы — смертны. Какая же это клевета? Это не клевета!

— Нет, клевета, нет, клевета! — воскликнул Генка и запел басом: «Претерпев все униженья, погибает в общем мненьи пораженный клеветой!»

Так и познакомился, а после и подружился с Генкой — певцом оперных арий, пловцом и любителем парусного спорта. Он околачивался в яхт-клубе, ходил с вице-командором этого клуба на его яхте «Шалунья», и парусные навыки Геннадия, как мне кажется, и толкнули его на решение присоединиться к Балхашской экспедиции.

— Ты, конечно, знаешь мадам Голуб? — спросил Генка.

— Разумеется.

Мадам Голуб была супругой, вернее — вдовой того самого присяжного поверенного Голуба, который когда-то, встретив нас с отцом в фойе кинотеатра «Гигант», сообщил об убийстве Распутина и предрек близкую революцию. С детьми Голуба, Анатолием и Борисом, я был знаком и по гимназии и по дому.

— Так вот,— сказал Генка,— Голубы почему-то хорошо знакомы с теми военными моряками, которые теперь возглавляют экспедицию на Балхаш. И мадам Голуб решила отправить с ними Бориса, чтобы он не болтался зря. Но она хотела бы, чтоб с Борисом были еще знакомые ребята. Словом, я еду безусловно, подхожу по всем статьям. Но можно ехать еще и третьему, понимаешь, интеллигентному парню. И мы думаем, что это ты!

— Да! — сказал я.

Мне мгновенно представились степь, верблюды, Бал-

хаш. Я представил себя вторым Артюром Рембо, углубляющимся в дебри Африки, отряхивая с ног пыль и прах цивилизации.

Так, оторвавшись от своих книг, стихов, от общества живописцев и поэтов и дав обещание мадам Голуб присматривать за ее Борисом, я был принят в Балхашскую экспедицию. И через несколько дней, с благословения наших родителей, мы плыли на пароходе в Семипалатинск, откуда должна была выйти в путь экспедиция.

Мне не запомнилось, как мы плыли на пароходе; кажется, Генка валялся целыми днями в каюте, читая «Войну и мир», а я действительно присматривал за Борисом, который, впрочем, был довольно анемичным подростком. Плохо помню и как произошло знакомство с начальниками, но могу сказать уверенно, что глава экспедиции — инженер, бывший лейтенант флота Никита Пешков — был человеком не менее симпатичным, чем его помощник, бывший старший штурман сверхдредноута «Севастополь», астроном Николай Николаевич Степанов. Славными людьми были и бывший мичман Камилов, морской инженер Бергер, заведовавший фаунистически-ботаническими работами, член Географического общества и наш комиссар матрос-балтиец, кажется, Топчин, если я не перевираю трех последних фамилий,— за первые две ручаюсь.

Кстати, я часто вспоминаю: кто же еще был в числе наших капитанов, командиров, начальства? Мне всегда помнилось и помнится лицо этого человека, его веселость, но фамилия его и должность как-то выпадали из памяти. И вот сейчас вспомнил: это был завхоз и по фамилии — Книппер. Рыжий насмешливый Книппер. Я не знаю, был ли он моряком и находился ли в каких-либо родственных отношениях с Книппер-Чеховой и почему, если был из этих Книпперов, он оказался у черта на куличках, в Семипалатинске. Я не спрашивал его о родственниках.

Вскоре мы, зачисленные юнгами, перебрались за Иртыш, в степь, где уже стояли на особых колесных платформах доставленные по железной дороге из Северной Пальмиры три судна нашей флотилии: синий с золотой каймою катер с бывшей царской яхты «Штандарт», желтый катер коменданта Петропавловской крепости и черный, траурный, кажется, из Кронштадта. Все они были оснащены мачтами и имели по шести пар весел. Предстояло впрячь в платформы лошадей, быков или верблюдов и перевезти катера через степь на Балхаш. Вся команда

экспедиции была уже налицо, и пока что ее усиленно откармливали бараниной. Дело в том, что личный состав команды был укомплектован за счет волжан, точнее, беженцев из голодавшего в те времена Поволжья. Предполагалось, что волгари быстро освоятся с искусством парусного мореплавания по степному озеру-морю Балхашу. Словом, все было готово, но выход в путь задерживался разными организационными неполадками, неприятностями и даже несчастьями. Так, например, прямо у нас на глазах, купаясь в Иртыше, утонул прекрасный пловец Бергер, и тело его искали несколько дней и, помнится, не нашли. Потом местные власти схватили двоих наших за всякие их проделки, в том числе за шарлатанские браки с семипалатинскими вдовами: один играл роль жениха, другой — заключавшего брачную сделку нотариуса. Вслед за этим заболел наш добрый бравый комиссар, решался и так и не решился вопрос о достойной его замене, и нас наконец выпустили из Семипалатинска, объявив, что нового комиссара пошлют вдогонку.

И вот суматошно, под скрип колес, рев быков и крики казахов-погонщиков мы выкатились из-под Семипалатинска в степь, по направлению к Балхашу. У меня осталось несколько рисунков, запечатлевших быт наш в этом пути и характерные черты некоторых наших командиров и членов экипажа. Этот живой экипаж тащился по степной дороге, помогая движению громоздких колесных экипажей, на которых были установлены славные наши корабли. Были среди матросов толковые люди, были и бестолковые, вовсе неграмотные; был, например, и вовсе придурковатый, уже немолодой, так и не отъевшийся на экспедиционной баранине Аржанов, который почти сразу же погиб, попав под колеса синего катера с императорской яхты «Штандарт». Мы похоронили беднягу Аржанова у дороги, причем с Борисом Голубом случился из-за этого нервный припадок, и мне кажется, что наши начальники тут впервые пожалели, что взяли этого мальчика с собой. Генка же чувствовал себя отлично, и капитаны не могли на него нарадоваться. Что же касается меня самого, то я, оказывая посильную помощь в черной работе, больше занимался рисованием и сочинением стихов про себя, никому их не навязывая. Я вел себя спокойно, присаживался на правах интеллигентного мальчика к костру командиров, слушая вместе с другими юнгами, Генкой и Борисом, то их беседы о будущем плавании по Балхашу, то какой-нибудь веселый

вздор вроде рассказа Николая Николаевича Степанова, почему у него чугунно-сизый загар. Оказывается, старший штурман сверхдредноута «Севастополь», будучи перед германской войной в Неаполе, заметил пролетавший над этим городом немецкий «цеппелин». Для того чтобы ознакомиться с его конструкцией, ученый-астроном забежал в какую-то часовню и, выделив астрал, помчался за «цеппелином», оставив тело у алтаря. Вернувшись в часовню, он не обнаружил там своего тела, подумал, что перепутал, и стал метаться по всем часовням Неаполя, пока не догадался отыскать морг, в котором и лежало уже перенесенное туда его бренное тело. Вот от этих треволнений и получился у него чугунно-сизый цвет лица, объяснял Николай Николаевич. Конечно, он и все другие начальники были интересными, веселыми людьми, но все-таки, чем дальше мы углублялись в степь, тем больше меня забирали тоска, неудовлетворенность и даже тревога.

Теперь я представляю все это себе так: наших командиров, бывших военных моряков, загнали в степь обстоятельства, необходимость найти в новых пореволюционных условиях применение своим знаниям и опыту; матросов загнал сюда голод Поволжья; Генку — любовь к парусному спорту; Бориса — его мать, а я в этой разношерстной компании оказался неожиданно одинок. Как мне казалось, мне тут было не с кем поговорить ни о поэзии, хотя бы о том же Артюре Рембо, который соблазнил меня в эту экспедицию, ни о живописи, хотя, может быть, если бы я заговорил об этом, мне бы охотно ответили и Пешков, и Книппер, и Степанов. Но я стеснялся. И притом я заскучал без книг, без знакомых художников, без Антона Сорокина и Оленича-Гнененко. И если я, как Николай Николаевич, не выделял свой «астрал», чтобы переместиться в пространстве, то в мечтах своих я все чаще оказывался не в степи, а где-то в пределах книжной цивилизации — либо в Омске, либо даже уже в Москве, о которой так весело рассказывал Книппер.

Мое настроение еще более ухудшилось после того, как на одном из степных пикетов нашу экспедицию нагнала лихая тройка. С ней прискакал наш новый комиссар. Это был человек молодой, но угрюмый. Он был прямой противоположностью нашему доброму заболевшему комиссару-балтийцу. Все помрачнели.

Но, даже и помрачнев, наша славная экспедиция продолжала интенсивно продвигаться вперед по солончаковой

и ковыльной степи мимо невысоких, но красивых горных горбохребетных массивов, выпиравших из выпуклого степного простора, как вулканические океанские еще необитаемые острова.

И вот в это экзотично-пестрое время и решился вопрос о дальнейшем моем пребывании в экспедиции. Впрочем, дело было не в новом комиссаре, который не обращал и, вероятно, и в дальнейшем не обратил бы на меня никакого внимания. А дело было опять-таки в Артюре Рембо, или, точнее, в том, что, когда одна вахта несла службу, другая отдыхала на колесах, едучи в своих временных сухопутных кубриках, то есть крытых повозках, запряженных быками.

Я лежал в повозке с двумя рязанскими парнями. И уж не помню, по какому поводу я вздумал рассказать им не о ком-нибудь, а именно об Артюре Рембо. Едва ли они были вообще грамотными, но, видимо, мне хотелось поделиться хотя бы с ними своими мыслями и чувствами. И я начал толковать им о Рембо. Они дремотно слушали, может быть, попросту спали, подрыгивая носами от движения повозки. Но я толковал свое. И вдруг я не то чтобы заметил, но скорее ощутил, что кто-то идет рядом с повозкой, как бы прислушиваясь к моим разглагольствованиям. «Не Генка ли это, а может быть, флегматичный Борис Голуб?» — подумал я и отдернул полог. Но это были не Генка и не Борис, а в вечерней мгле я различил освещенное ясным месяцем улыбающееся лицо долговязого мичмана Камилова. И я понял все. Я понял, что он идет и наслаждается моей глупостью. Я осознал, что он смотрит на меня как на отпетого, отъявленного дурака. Толковать безграмотным рязанским парням о Рембо — вот что, мол, ты придумал! Дружески захохотав, мичман Камилов кивнул мне головой и опередил повозку, наверное, подумал я, для того, чтоб рассказать остальным капитанам о том, чему свидетелем он стал.

Стыд, охвативший меня, решил все остальное. Я выскочил из повозки и бросился искать Бориса Голуба. Я сказал ему, что вижу, как ему трудно и скучно в экспедиции, и вот мне тоже стало скучно; я знаю, что ему хочется домой, а так как я обещал его маме не бросать его в беде, то предлагаю ему такое: пусть нам дадут, когда мы приедем в Сергиополь, увольнительную для продолжения образования.

— Спасибо, спасибо! — сказал Борис.— Мне так надоело!

На следующий день мы дотащились до Сергиополя, городишка, чье название было столь же величественно, сколь неказист его облик. Наши добрые начальники, выписывая нам увольнения для продолжения образования, смотрели на меня с нежностью и сочувствием. Может быть, тут сыграл роль мичман Камилов, а может быть, просто командование было благодарно мне за то, что я избавил экспедицию от балласта, навязанного мадам Голуб: Борис надоел всем порядком. Презирал меня за отступничество только Генка.

И мы уехали, и апатичный Борис попал в объятия своей матери, а я вскоре оказался в Москве, чтоб наслаждаться обществом вхутемасовской молодежи, Щукинской галереей, Камерным театром и театром Мейерхольда. Вот зачем я распрощался с Балхашской экспедицией в Сергиополе. И мне показалось тогда, что с ней у меня все кончено.

Но оказалось не так. То есть не более чем через полтора года судьба очень насмешливо показала мне некую мимическую сцену из жизни юнг и капитанов.

Не помню уж, при каких обстоятельствах я познакомился с молодыми людьми, кажется, художниками, а может быть, просто какими-то студентами, которые, узнав, что я был в Балхашской экспедиции Комгосоора, предложили мне пойти с ними в гости, как сказали они, к одному из бывших командиров этой экспедиции, бывшему старшему штурману сверхдредноута «Севастополь» милейшему Николаю Николаевичу Степанову, живущему теперь здесь. Разумеется, я с радостью согласился.

Нечего и говорить, как я был рад увидеть Николая Николаевича. Мне хотелось сказать ему, что он, может быть, и не помнит меня, одного из подростков, юнг, которые подкидывали кизяк в костры на привалах. Я, мол, откомандировался из Сергиополя для продолжения образования, но хотелось бы знать, что было дальше с экспедицией. Правда ли, что ураган, примчавшийся на Балхаш из Джунгарских Ворот, опрокинул все суденышки, выбравшийся на берег личный состав разбежался кто куда, а он, Николай Николаевич, остался зимовать на Балхаше для астрономических наблюдений? Где он жил? В землянке? Или телескоп нацелен был в небеса прямо через дымовое отверстие юрты студеной зимой, когда звезды над ледяной поверхностью озера-моря кажутся огромными и обитаемыми, как неведомые планеты?

Вот в надежде получить какую информацию я шел с ватагой незнакомой мне молодежи к славному капитану-астропому в Замоскворечье, на Пятницкую, где он, оказывается, с некоторых пор мирно жил.

Но, увы, произошло непредвиденное.

Я забыл упомянуть, что дело происходило на пасху, когда вся Москва от фундаментов до крыш еще по старой памяти гудела от колокольного звона. И особенно мощными раскатами колокольного грома встретила нас на Пятницкой церковь Параскевы Пятницы, в честь которой улица, как известно, и получила свое наименование. И вышло так, что мы, взволнованные этим мелодично-громогласным призывом, не сговариваясь, всей компанией разом свернули с тротуара и ринулись на колокольню.

Я думаю, не мешает напомнить, что как в дореволюционное время, так и в первые годы Советской власти не только профессиональные звонари, но и все желающие без различия пола и возраста имели широкую возможность, взбираясь на любую колокольню, трезвонить во все колокола как в первый, так и во второй и в третий день пасхи. Таков был обычай, порядок, если угодно — ритуал, как любят выражаться в наше время. И мы, воспользовавшись этим обычаем, взбежали в то «светлое воскресенье» на колокольню Параскевы Пятницы и, оттеснив других любителей колокольного звона, ударили в колокола, а некоторые даже, помнится, схватившись за веревки, сделали попытку раскачиваться под большим колоколом, подобно Квазимодо из романа «Ужасный горбун, или Преступление на парижской колокольне», под каким названием когда-то как раз и выпустил в Москве перевод этой книги — «Notre-Dame de Paris» — замоскворецкий народный издатель Сытин.

Наше музыкальное бесчинство длилось не менее чем четверть часа. Чтобы более понятно стало последующее, скажу, что сперва мне показалось, будто, насытившись колокольным звоном, я перестал его слышать. Потом меня кто-то дернул за руку, и я без слов понял: пора идти прочь с колокольни.

Затем вскоре мы очутились на лестничной площадке у дверей Степанова, и я видел, как один из нашей компании бил в дверь кулаком,— я видел это, но не слышал звука. Затем я вошел и увидел Николая Николаевича, узнающего меня, улыбающегося, приветственно растопырив руки, коричневые, как у мавра. Я явственно увидел шевеление его губ, но, что он сказал, не расслышал и не

пытался понять,— мне было достаточно того, что я лицезрел бородатого астронома, стоящего посредине своей умопомрачительной комнаты, загроможденной всевозможными чудесными вещами. Тут и там лежали книги — капитальные труды и справочники по астрономии, кораблевождению, по геологии, геодезии, геохимии, географии, петрографии, петрологии и, как мне показалось, геометрии и тригонометрии. Эти книги соседствовали с морскими и сухопутными фонарями, бочонками, гарпунами и якорями, теодолитами, секстантами и с какими-то посудинами с алхимически-пестрыми, как мне показалось, жидкостями; и какие-то глобусы, похожие не то на земные шары, не то на небесные сферы, луны, иные планеты, до того удивительные, что мне сразу вспомнилось повествование Николая Николаевича о его фантастическом полете на немецком дирижабле над Альпами, и я подумал, что штурман, быть может, продолжает выделять «астрал» для каких-то, может быть уж междупланетных, скитаний.

А между тем Николай Николаевич, показав указательными пальцами себе на уши и после этого ввысь, ухмыльнулся и с поклоном развел руками как бы на прощание.

Надеюсь, я рассказал понятно о том, что произошло. По-видимому, почти всех нас, пришедших в гости к штурману, временно оглушил колокольный перезвон, нами же только что учиненный на колокольне Параскевы Пятницы. Кто-то из нас все-таки не потерял возможность объяснить Николаю Николаевичу, в чем дело, и извиниться за всех прежде, чем убраться восвояси.

А больше встретиться ни с Николаем Николаевичем, ни с другими моряками из руководства экспедиции мне не случилось.

Бывая после этого несколько раз на Балхаше, я и там не узнал ничего ни о судьбе трех катеров экспедиции, ни о судьбе ее участников. Может быть, больше знают и помнят казахстанцы и наверняка карагандинский писатель-краевед инженер Юрий Попов, который и напишет, о чем знает, надеюсь! Ему и книги в руки!

А мой скромный рассказ — не более чем смутные воспоминания шестнадцатилетнего беглого юнги забытой экспедиции Уводстроя Комгосоора, то есть Комитета государственных сооружений РСФСР, которым руководил, как я узнал позже, Михаил Лазаревич Павлович-Вельтман, востоковед, революционер, член Наркомнаца, редактор жур-

нала «Новый Восток», автор ряда интересных трудов, в том числе книги о великих железнодорожных и водных путях будущего.

Хлоя

Тех читателей, которым это женское имя покажется странным, я отсылаю не к святцам, но к творению бессмертного Лонгуса, к славной его повести о Дафнисе и Хлое.

Вешнего солнца горячего
Очарователен хмель,
И где-то призывно-вкрадчиво
Пастушья поет свирель.

Такие или очень похожие на такие стихи писала юная Хлоя. И эти стихи соответствовали ее характеру и роду деятельности. Ибо и в самом деле она была в известной степени пастушкой, правда, пастушкой не из старинной пасторали, а пастушкой вполне современной, изучающей не только зоологию, химию и физику, но и политическую экономию и диалектический материализм. И хотя до знакомства со мной эта пастушка не читала Лонгуса и не догадывалась, что она Хлоя, тем не менее и прежде, чем мы познакомились, у нее уже был свой Дафнис в лице грубоватого, застенчивого студента того же самого Зоотехнического института, в котором она училась.

Но в том же институте заканчивал свое образование или был уже аспирантом и недобрый молодец с ликом Кампанеллы и взором Торквемады, вождь местных рапповцев, которые вообще тогда заимели перевес в литературной жизни города Омска, чему немало способствовала агрессивность их вожака.

Я забыл его настоящую фамилию, и эта моя забывчивость не литературно-дипломатический прием, а чистая правда, психологический факт, ибо людям свойственно забывать те или иные прискорбные факты. Я только помню, что в «Сибирских огнях» вслед за моим очерком на животноводческую тему (по ряду вопросов, затронутых в котором, я, к слову сказать, предварительно консультировался с Хлоей), вслед за этим произведением, эффектно кончавшимся рассказом о том, как известие о смерти Маяковского дошло до сибирской глубинки,— вслед за всем этим была напечатана статья вышеназванного рапповца, в

самых черных красках рисующая деятельность профессуры того самого института, который был ему alma mater. «Пролетарское студенчество с настойчивостью, последовательностью и непримиримостью взялось за разоблачение реакционной идеологии научных работников,— говорилось в этой супернегативной статье.— Быть нейтральным — значит безнадежно пытаться уйти в сторону от жизни, а идеология студенческого молодняка формируется всюду: на лекциях, в беседах, в спорах на улицах, в общежитии, даже за разговорами в бане». Из всего этого, я думаю, читатели поймут, как воинствовал этот молодой рапповец в местной литературе. Правда, на меня, деятельного сотрудника местной прессы, он не замахивался, а скорее с завистью смотрел на мои публицистические выступления. Но не так обстояло дело с зеленой молодежью, особенно студенческой, им доставалось на орехи. И уж конечно, рапповец и его единомышленники не могли одобрительно относиться к стерильно чистой лирике мечтательной Хлои. А мне ее стихи как раз, наоборот, нравились; и я всячески старался поддержать в девушке творческую уверенность.

Мне даже казалось, как, впрочем, кажется и до сих пор, что поэзия может прекрасно уживаться с житейскою прозой. Легкий наивный узор не портит добротной ткани, ажурная резьба не унижает крепкий деревянный карниз, а уж пастушья песня ценна и тем более, если она превращается в некую самоценность, продолжающую свое существование в искусстве. Не помню, удавалось ли мне содействовать печатанью буколик Хлои в газете «Рабочий путь», но наше редакционное знакомство превратилось в знакомство домашнее.

Правда, девчонки наши в доме — черноглазая синеблузница Лелька и лилейно-нежная сослуживица мамы по губздраву Наденька Добаль — отнеслись к Хлое весьма критически. Цвет ее лица, овеянного ветрами производственной практики, показался этим сугубо городским девчонкам слишком резким: по мнению Наденьки, каким-то латунным, а по определению Лельки — попросту меднокупоросным. Неизящными им показались и наряды Хлои: явно самодельные блузки и юбочки и прямо деревенские косынки, а когда выпал снег — заячья шапка и серое пальтецо на волчьем, а по Лелькиному определению — на собачьем меху! А пимики! Прямо не пимики, а пимищи, откуда она только их и взяла! Словом — ветеринарка!

Но я плевал на девчонок: дуры!

А Хлоя, очень даже изящная, с античио правильными чертами лица, ладно, хотя и не особенно модно, причесанная, снисходительно улыбаясь девчонкам, старалась вести разговоры не с ними, а только с моей мамой. И речь шла о вещах нейтральных: о погоде, о проблемах потребления базарного молока в связи с такими эпизоотиями, как ящур, и, кроме того, еще о кулинарных вкусах ее матери.

Вскоре я познакомился с кулинарными способностями ее матери и сам. Это произошло, когда однажды, провожая Хлою с Красных Зорь на Проломную, я получил приглашение зайти на минутку и поднялся вслед за девушкой на второй этаж старого деревянного дома.

Мать Хлои, женщина простая и добрая, сразу же пригласила за стол отведать испеченных по случаю праздника творожных ватрушек и шанежек. Чай оказался брусничным. Вообще в тесноватой комнате пахло чем-то сельским, а когда Хлоя увела меня в свой девичий уголок за буфетом, я увидел там старый крестьянский сундук, покрытый овчинной шубейкой.

— Эгида! Златорунное рубище пастушье! — сказал я.

— Да, это мы привезли еще из деревни! — сказала Хлоя и даже, кажется, добавила, откуда именно, или с Алтая, или с предгорий Саян.— Там вьюги, ветрища, без таких одеяний там нельзя. Эти-то, правда, не из романовских овец, есть такая порода, она всех лучше!..

И затем разговор перешел на какие-то пустяки, а быть может, и очень серьезные вещи, я не помню, только помню, что, идя обратно, я думал не об романовских овцах, а о сундуке. Что таится в этом покрытом шубейкой сундуке?

К этому вопросу я возвращался и позже, бывая у Хлои. Но спросить не считал возможным. Может быть, там какое-нибудь барахло? А может быть,— мать Хлои напоминала мне все-таки больше всего кержачку, может быть, у этой вдовы, перебравшейся в город, чтоб обеспечить любимой дочери безмятежное учение в вузе,— может быть, у этой кержачки или не кержачки там, в сундуке, закрытом на скрипучий ключ, хранятся какие-нибудь реликвии: крестики, молитвенники, Мартын Задека, Брюсов календарь, а то и раскольничьи книги, а может быть, даже древние иконы, шушуны, душегреи. Все может быть, но тем более спрашивать неудобно, думал я тогда, во дни былые, во дни РАППа, ЛЕФа и воинствующего атеизма.

И мы беседовали с Хлоей о чем угодно — об овцеводстве, коневодстве, о поэзии современной и классической, о

профессорах и студентах, в том числе и об ее Дафнисе, который, как выяснилось, все время уговаривает ее выйти за него замуж, но она сомневается в необходимости такого поступка. Словом, мы беседовали о чем угодно, только не о том, какие сокровища таит прикрытый шубейкой сундук, источающий аромат сельских древес и сушеных трав, может быть, целебных, лекарственных.

Но, как выяснилось, лекарство хранилось не в сундуке, а в буфете, служившем перегородкой между Хлоиным закутком и всей остальной жилплощадью.

А выяснилось это так.

Однажды Хлоя встретила меня как-то озабоченно и стесненно. И как бы через силу, будто бы подчеркивая, что все это идет не от нее, а от ее матери, которой в данный момент не было дома, девушка поведала мне, что от одной их родственницы, сестры милосердия военных времен — она как вернулась с фронта, так и умерла! — вот от нее и остались у них кое-какие медикаменты.

И, подойдя к буфету, Хлоя вынула из него склянку с притертой пробкой. И еще более сумрачно объяснила, что мать, которая больше верит в травки, чем в эту фармакологию, задумала — ну, ясно, что от денежных затруднений,— это продать. И просит ее, Хлою, осуществить данную операцию. Но куда же она, Хлоя, понесет это лекарство, анестезирующее средство, ведь не на толкучку же? А нести в институтскую лабораторию, особенно сейчас, когда в институте такая склока, борьба за идеологию, всякие разоблачения, тем более неудобно: ведь обязательно же спросят, откуда взяла.

Откуда взяла!

Я, с присущей мне образностью воображения, сразу представил себе все это с полной ясностью во всех бывших и не бывших подробностях.

Вот они, лазареты и санитарные поезда, может быть, даже поезд, пылающий среди вьюжных полей отступления. И сестра милосердия,— сколько их было, таких несчастных краснокрестных сестер! — бегущая из разбитого снарядом санитарного вагона, из всего этого охваченного пожаром мира куда-то в степь, в горы, к деревенской родне! И в походной сумке — все, что удалось прихватить: кое-какие медикаменты, может быть, и очень ценные для будущей жизни, а может быть, и вовсе ненужные мирным земледельцам, которые лечатся алтайскими или саянскими целебными травками.

Так и остался нетронутым этот тусклый, как прошлогодний снег, порошок! Черт его знает, что это? Аспирин? Хинин? Или действительно алкалоид, добытый из листьев кока, которые для придания бодрости жуют перуанские пастухи! И вот это зелье, миновав ноздри белых офицеров, не успевших его разнюхать, пошло из мира андских и кордильерских пастухов-антиподов в руки сибирской пастушки Хлои, которая не пасет никаких лам.

И тут меня ударило в жар. Ламы, Анды, белые банды! В самом деле, о чем я думаю! Мечтатель, я хожу сюда, разглагольствую о литературе и искусстве, беззастенчиво ем скромные шанешки и вовсе не замечаю, что люди нуждаются, тянутся из последнего и готовы продать все лишнее, что только можно! Но действительно, кому же, не на толкучку же она понесет продавать! Да и я тоже! Мне не только трудно, но просто немыслимо было представить себя в роли продавца вообще, а в роли продавца дефицитных лекарств в особенности.

— Да может быть, это и вообще ничего не стоит, выдохлось! — будто с последней надеждой избавиться от всего этого коммерческого кошмара сказала Хлоя.

— Все может быть,— вздохнул я. И тут мне пришла мысль, что разобраться в таких делах и вообще помочь может только лишь один Херувим.

И чуть ли не сразу после этого я и направился на поиски Херувима и действительно нашел его там, где ему и надлежало пребывать, а именно в анатомичке Медицинского института.

— Здравствуй, негодяй! — сказал я.— Благодари бога, что тебе представляется искупить кое-какие из великого множества твоих грехов!

Я бил прямо в цель. Херувим этот, мой знакомый студент-медик, порядочный циник, запивоха, замотавший у меня немало ценных книг и театральный бинокль, имел довольно тесную связь не только с деятелями литературы и искусства, но и с провизорами и аптекарями.

— Помоги в добром деле, старый развратник! — сказал я, бегло очертив положение дел.— Разберись, выясни, оцени!

И на другой день Херувим вместе со мной явился к Хлое.

— Кажется, это просто хинин! — определил Херувим, понюхав. А затем, попробовав на язык содержимое склянки, и вовсе скорчил рожу: — Впрочем, ладно, я попыта-

юсь! — И, сунув склянку в портфель, удалился, сказав на прощанье: — Все будет ясно в ближайшие дни!

Но дни шли за днями, недели за неделями, а Херувим все оттягивал, ссылаясь то на подготовку к экзаменам, то на свои запутанные любовные дела. Затем я уехал в Центральный Казахстан, а вслед за этим в тарский урман, а вернувшись, услышал от припертого к стенке Херувима, что в склянке была просто-напросто английская соль, и поди, мол, докажи, что это не так. И вообще он хохотал так мерзко, что я чуть было не дал ему по морде.

Поссорившись с ним, я заявился к Хлое с намерением так или иначе возместить убыток, но это было встречено как личная обида. Какие пустяки! Может быть, и действительно там если что и было, то давно выдохлось. И что мы понимаем в фармакологии? Да, в институте это преподают и изучают, но она как-то не сильна в этом. И вообще забудем о Херувиме и поговорим о поэзии.

Но, покаянно замолчав, я все-таки про себя не переставал думать об этом, прикидывая все другие возможные и невозможные, всевозможные варианты случившегося и неслучившегося вплоть до того, что сам продаю эти проклятые медикаменты не на центральной толкучке, а где-нибудь на окраине, на бывшем Конском базаре либо, еще лучше, за Иртышом в Ново-Омске, под сенью башен куломзинского элеватора. Делаю это переодевшись, конечно, приняв чужой облик. И, развивая эти возможности, идею принять чужое обличие, я однажды во сне или наяву вообразил себя не кем иным, а самой виновницей происшествия — Хлоиной теткой, той самой сестрой милосердия, которой принадлежали завещанные семейству лекарства. И эти муки преображения помогли мне в самом неожиданном смысле, а именно — отвлекая воображение в несколько иную сторону — помогли справиться с одним давно уже задуманным сюжетом стихотворения, повествующего о другой сестре милосердия, спасающей большевика от колчаковцев, покупающей ему штатскую одежду на толкучке, где смешались воедино: «образа, портсигары, распятия, опиум, с маркою «Лопото» харбинские сигаретки и кто-то показывает из-под пальто подозрительные таблетки: — сахарину полный грамм!»

Так возникло стихотворение «Сестра».

Но это был экскурс в историю, а действительность была совершенно иной: на смену сахарину давно уже появился самый настоящий сахар, и я прекрасно помню, как даже

объелся им однажды, не имея возможности купить какие-нибудь другие съестные припасы в лавочке сельской кооперации во время поездки в Большереченский конесовхоз для писания корреспонденции, по поводу которой (как уже сказано выше) консультировался с Хлоей, перешедшей на предпоследний курс своего Зоотехнического института в те дни, когда презренный Херувим уже кончал свой институт медицинский. Но все-таки этот Херувим пробежал как черная кошка между мной и если не Хлоей, так ее доброй матерью. То есть я потерял всякую охоту встречаться с этой тихой и доброжелательной женщиной, которая, как мне казалось, не могла уж на меня не смотреть без укоризны. Словом, я перестал приходить к ним на Проломную, хотя Хлоя как ни в чем не бывало продолжала появляться у нас на улице Красных Зорь, даже когда я исчезал в журнально-газетные странствия. Она по-прежнему была внимательна к моей матери и, как мама мне затем рассказывала, по-прежнему не обращала внимания на девчонок, по-прежнему нелюбезных, тем более что взбалмошная Лелька стала видеть в ничего не подозревавшей Хлое соперницу Наденьки, и вот в каком смысле.

Наденька вдруг стала объектом нашего общедомашнего, и в том числе моего, особого внимания. Дело в том, что эта эфемерно-нежная, тихая, странная даже по отчеству и фамилии Наденька — Надежда Томовна Добаль (я так и не узнал, какой она была национальности, скорее всего, украинка...), эта Наденька неожиданно заболела. У нее обнаружилась чахотка. И, увядая, как скромное комнатное растение, девушка впала в глубочайшее уныние. И я задумал спасти упавшую духом Наденьку отнюдь не лекарствами, не порошками и другими дарами губздрава, где служила она, и даже и не лечебными алтайскими травами, которые, как я воображал, таились в сундуке на Проломной, но я решил волшебно вдохнуть в Наденьку волю и интерес к жизни. И с этой благой целью я вечерами (а Наденька заходила к нам ежедневно — мама зазывала ее обедать, чтоб подкормить), вечерами я настойчиво стал провожать Наденьку домой на Волковскую улицу. И, провожая, я обнимал ее на ходу и целовал в болезненно горящие щеки и, конечно, в губы, которые, как казалось беднякже, уж никому не могут быть любы. Наденька сперва удивлялась, затем ужаснулась, сперва отбивалась молча, затем с истерическим смехом и наконец однажды ночью на перекрестке Варламовской и Волковской улиц пошла на

решительное объяснение. Она остановилась посреди дороги и, крестясь, поклялась, что никогда и ни за кого не выйдет замуж. И сказала, чтоб я во имя всего святого убирался прочь и женился на ком угодно.

Я был потрясен этим взрывом чувств больной девушки, тем более что, вообще-то говоря, я и не собирался на ком бы то ни было жениться, будучи вольной птицей. Но разве мог бы я в этом признаться бедной Наденьке, которая, надо сказать, когда я вскоре улетел в дальний полет, действительно скончалась.

Однако прежде чем это случилось, произошло вот что.

Вышеупомянутый рапповский вожак из Зоотехнического института вдруг задумал завербовать и меня в РАПП. Но, зная, что голыми руками меня не возьмешь и что тут необходима сложная организационная подготовка, политика дальнего прицела, он решил действовать исподтишка, вовлекая меня мало-помалу в разные мероприятия. Может быть, он и в самом деле попал под чары моего не только газетного творчества, но и стихотворчества. Как бы то ни было, но он все более выражал мне свою симпатию, все настойчивей и настойчивей стал приглашать к совместным действиям.

— Хочешь, вместе пойдем в поход на какое-нибудь предприятие, производство? — все чаще предлагал он.— Мне бы очень хотелось пойти с тобой вместе! — повторял он.— Но куда бы ты хотел пойти?

— Пойдем заберемся на бывшую колокольниковскую мельницу,— вспомнив о воображаемом путешествии на куломзинскую толкучку и чтобы отвязаться от рапповца, однажды сказал я.— Обследуем ново-омский элеватор.

— Вот прекрасно! — воскликнул он.— Действительно давно пора установить контакт с мукомолами. Кстати, это поможет мне и в институтской деятельности — по самомобилизации научного персонала в деревню на работу по посевной и уборочной кампаниям!..

И настал час, когда мы вдвоем пока что, запасшись соответствующими удостоверениями, явились на заиртышские зернохранилища.

Я-то прекрасно знал, куда веду рапповца.

Еще несколько лет назад мой отец, работая в Рабкрине (в Рабоче-Крестьянской инспекции), обнаружил крупные неполадки в техническом состоянии этого заречного зернохранилищно-мукомольного хозяйства. И затем не однажды как газетчик я бывал во дни хлебозаготовок на этом

старом элеваторе, высящемся над степью как некий средневековый замок. Я знал, в какие дыры утекало зерно, и я уверенно вел своего спутника в зернопоточный мир пшеничных ароматов, столкнул его лицом к лицу с озабоченными рабочими, которым некогда было с ним разглагольствовать о пролетарской литературе.

И, вдоволь натаскав вспотевшего рапповца по всяким лесенкам и площадкам куломзинского гиганта и сообщив на ходу ряд горьких истин о состоянии обследуемого хозяйства, я как бы в утешение произнес такой стих:

Элеваторы башнями в небо
Словно замки стоят на холмах.
Мы вкусили пшеничного хлеба,
Стало тесно зерну в закромах.

— Неплохо! — сказал рапповец.

— Стало тесно зерну в закромах,— повторил я,— вот оно и сыплется зря. Надо бороться с утечкой, усовершенствовать производство!

— Вот-вот об этом и надо писать! — наставительно согласился он.— А то знаешь, как у нас пишут: «Солнца горячего волнует хмель, призывно, вкрадчиво свистит свирель!» Апрель — свирель! Идиллия!

— А что ты понимаешь в идиллиях? — Уразумев, в кого он метит, и, естественно, рассердившись, воскликнул я.— Что ты соображаешь хотя бы в том же Феокрите? Ну что ты глаза таращишь? Не читал? Что? Тебе читать некогда? То-то и есть! А между прочим, все эти идиллии Феокрита, все это воспевание радостей сельской жизни, вся эта буколика, если ты хочешь знать, порождена аграрным кризисом эллинизма. То есть вот тебе причина причин: политическая экономия! Понял? Нет? Ничего ты не понял!

— Брось! — сказал он.

— Нет! — возразил я.— Я прекрасно понимаю, на кого ты намекаешь! На одну вашу студентку, коверкая ее стихи! Я знаю, как ты преследуешь лирику. А между прочим, и пастушеская свирель, и фабричная труба — это две стороны одной и той же медали!

— Ну это ты брось! — повторил он уже угрожающе.

И спустились мы с высот элеватора, крупно поссорившись. И помнится мне, что я немедленно устремился найти Хлою и рассказать ей о том, как здорово за нее заступился. Кажется, даже преодолев смущение перед укоризнен-

ным, как мне казалось, взором ее матери, я пошел на Проломную. Но Хлоя как раз уехала на практику. А тут уехал куда-то и я. Когда по возвращении встретился с Хлоей, она, как-то равнодушно выслушав мой рассказ, улыбнулась и будто бы между прочим сказала, что в ее личной жизни перемены: она вышла замуж за Дафниса.

Но и после этого я встречался с ней не однажды, до тех пор, покуда не покинул Сибирь.

Из этих встреч наиболее отчетливо запечатлелась мне такая. Шел снег, но Иртыш еще не застыл. Была еще не полночь, но очень поздний вечер. И мы пошли по берегу. Хлоя уже не в заячьей шапке, как в прошлые годы, а в каком-то другом головном уборе и в другом пальтеце, а я, как и прежде, противник лютых зим, не признающий теплой одежды,— в кожаной куртке и автомобильном шлеме. И так как прохватывало, Хлоя предложила уйти за ветер, в укрытие, и мы уселись под кровлей лодочного сарая на опрокинутую шлюпку.

И я хорошо помню, что, глядя на громоздящиеся за Иртышом куломзинские элеваторы, я не рассказывал Хлое о невеселой судьбе рапповца, с которым из-за нее поспорил. Я не рассказывал ей о том, что после нашей размолвки он все-таки не потерял ко мне добрых чувств. И несколько еще позднее, в Новосибирске, куда он переехал окончательно, сменив научную деятельность на литературную, мы встретились с ним на улице, и он зазвал меня в гости. И я пришел к нему, и мы сидели за столом, на котором стояла чернильница, и рапповец, как-то растерянно улыбаясь, поведал мне, что пишет роман из жизни пролетарского студенчества и реакционной профессуры, и в этом романе он поставит точки над i. Потом, как я слышал, он заболел нервным расстройством.

Но обо всем этом, насколько мне помнится, я не рассказал Хлое тогда, поздно вечером на берегу Иртыша. Мы говорили не о литературе и даже не о поэзии, а совсем об ином. Хлоя рассказывала мне о своей дипломной работе и о планах своей будущей научной деятельности. И я знаю, что в этой своей научной деятельности она преуспела, уехав с Дафнисом куда-то на Алтай или, наоборот, в украинские степи. Словом, несмотря на все «козни реакционной профессуры» и на предосудительное, с точки зрения строгой критики, писанье лирических стихов, юные несмелые поиски живого слова превратились в златорунные зрелые поиски новых Аскания-Нова.

Знак бесконечности — упавшая восьмерка

1

Вчера у меня был тяжелый разговор с одним моим другом-литератором. Он ругательски ругал футуризм и футуристов, заверял, что все связанное с ними ему противно и чуждо. Утверждал, что Маяковский никогда не был футуристом. Сетовал, что в свое время причислял себя к футуристам и я, грешный.

Мне вспомнилась одна моя старая знакомая, дочь члена Государственной думы, затем министра Временного и еще каких-то эфемерных правительств, уверявшая, что в девичестве она знала одного футуриста такого-то... Я тоже знал этого парня, не писавшего ни стихов, ни картин, ни опрокинутых собачек у себя на физиономии, и спросил, почему моя знакомая считала и считает его футуристом. «А как же! Он болел венерической болезнью!» — воскликнула она.

Для внесения ясности в вопрос о футуризме и футуристах попытаюсь рассказать, не мудрствуя лукаво, то, что я сам знаю, видел, чувствовал.

Как-то я уже упоминал об Александре Вощакине, молодом крепыше, называвшем себя футуристом. Это был, несомненно, одаренный поэт времен гражданской войны. Он печатался в газетках и журнальчиках времен колчаковщины, не бежал, остался в Омске, затем выступал с нами на литературных вечерах перед советской аудиторией — на Высших военных курсах, в школе ЧОН, в театрах, клубах и т. п., а затем исчез куда-то. Его стихотворение «— Ex oriente — lux! — сказали», повествующее о том, как, «прикрыв лицо степного зверства культурной беженскою пленкой, такою хрупкою и тонкой, возникли в Омске министерства», его «Радиотелеграф» и «Обозы», я думаю, войдут в будущие антологии русской поэзии эпохи войн и революции.

Я отнюдь не утверждаю, что стихотворение «Обозы» гениально, но любопытно вот что: Вощакин, наблюдая отступление колчаковцев, написал и ухитрился напечатать в самые последние дни колчаковщины в колчаковской же газетке «Вперед»: «Медленно, медленно тянутся обозы, за возом воз, за возом воз, на гулкий вокзал, где кричат паровозы, где много тяжелых чугунных колес...»

А мой друг Коля Калмыков как бы в развитие этой темы написал, но по молодости лет нигде не напечатал: «А обозы все тянутся, тянутся! Может быть, и тот час недалек, когда в улицах узких останутся лишь следы от колес и от ног...»

И все это я завершил, подытожил своими стихами: «И лес лилов, и снег был розов, и розовая ночь была, и с отступающих обозов валились мертвые тела. За взрывом взрыв над полем боя взлетал соперником луне. И этот бой покрыл былое, и день настал в иной стране!» И напечатал эти стихи уже в советской прессе в Омске — в сборнике «Футуристы» и в журнале «Искусство».

А еще один юнец, отнюдь не называвший себя футуристом, сделал эти мои стихи достоянием большой прессы, напечатав строфы из них в центральной печати, в журнале «Красная новь», за свои, под своим именем, и был разоблачен. И я вспоминаю об этом вовсе не из мести или самохвальства: вот, мол, у меня воровали стихи и печатали их в толстых журналах, когда мне, причислявшему себя к футуристам, не было и семнадцати лет; а вспоминаю обо всем этом лишь для того, чтобы доказать, что важно не столько то, кто кем себя называет и даже считает, а важнее то, что люди делают, творят и, в частности, как один стихотворный образ порождает весьма многие и совершенно непохожие друг на дружку житейские ситуации: авторы создают стихи, а стихи — судьбу авторов!

Итак, как бы в ответ своим товарищам, описавшим скрип обозов, я совершил в своих стихах переход из Прошлого в Грядущее и, естественно, ощутил себя при этом не кем иным, как именно заправским будетлянином, футуристом! И, еще неуверенно, но тем не менее настойчиво стоя на своих ногах в новом мире, я, естественно, возымел желание общаться с самыми что ни на есть широкими левыми, революционными кругами этого нового мира.

Мне стало мало газеты «Советская Сибирь» с ее доброжелательным, но уж очень серьезным редактором Емельяном Ярославским и его сотрудниками — восторженным земляком Есенина Иваном Ерошиным и обитающими при редакции, помещавшейся на Мокром Форштадте в бывшей гостинице «Деловой Двор», молодым эфиопообразным Всеволодом Ивановым и классиколюбивым поэтом Георгием Вяткиным.

Все эти и многие другие недюжинные лица и даже сам

король писательский Антон Сорокин вдруг показались мне воплощением самой обыденной будничности. Мне же, напечатавшемуся, хоть и под чужим именем, в «Красной нови», восхотелось чего-то большего, чем высокофантасмагорическая, как я теперь понимаю, омская явь, чего-то, во всяком случае, выходящего за пределы этой повседневности. И поэтому я, мысленно обитающий уже в Петрограде, если не в самой Москве, жадный до новых имен и лиц, с радостью принял предложение Антона Сорокина пойти в гости к оказавшейся проездом в Омске московской, как сказал Сорокин, поэтессе-футуристке Нибу Хабиас.

2

Антон Семенович Сорокин устроил гостью по соседству у знакомых, в доме — угол Лермонтовской и Лагерной, на втором этаже. Подымаясь в сумерках по лестнице, Сорокин успел поведать мне, что настоящая фамилия футуристки — русская, поэтесса — внучка одного из туркестанских генералов старого времени, хотя, впрочем, он не уверен, что это правда: может быть, футуристка все навоображала! Но теперь она возвращается в Москву из Иркутска, где царила на «Барке».

Я смутно представлял себе этот «Барк» или «Барку», словом, это иркутское литературное объединение, так называемую «Барку поэтов» — иркутян плюс кое-каких приезжих, в том числе подавшегося в Иркутск из Омска томича Игоря Славнина, а также авторшу «Сибирских триолетов», знатную поэтессу, по-видимому южнославянского происхождения, графиню Нину Михайловну Подгоричани-Петрович, и в числе прочих эту самую Нибу Хабиас. И, войдя в отведенные ей апартаменты, небольшую комнатку, набитую какой-то буфетно-гардеробной рухлядью, и увидев Нибу возлежащей на обыкновенном омском диване, я с искренним изумлением подумал о том, как эта экзотически ярко одетая, с пестрой повязкой на голове, похожая на марокканского пирата женщина решилась променять иркутскую, ангаро-байкальскую «Барку» на перспективу возвращения к обыденной человеческой жизни. Я пишу не беллетристику, а как все было на самом деле, то есть как я представлял себе положение вещей, но, не будучи сторонником наставительно-пресной лефовской «литературы факта», я так и представил себе положение

вещей: ей, Нибу Хабиас, с багром бы в руках, не с пером, а с абордажными крючьями! Но как бы в ответ на мой изумленный взор Нибу, взглянув на меня с задумчивым сожалением, произнесла низким глухим голосом:

Я тебе низко, до плиточки кланяюсь.

И дальше что-то в том смысле, что она стелется перед кем-то, если не передо мною, как платок, а на сердце у нее лежит камень.

Король писательский раздраженно сверкнул пенсне — он любил в футуризме бурлюковскую дерзость и апломб и, видимо, был раздосадован, что его рекомендация Нибу оказалась неточной. Но мне контраст между внешней кровожадностью Нибу и внутренним ее смиреньем не показался неприятным. «Мне нравится!» — сказал я, однако настолько негромко и нерешительно, что Хабиас, возможно, даже и не расслышала. Так ли это было, но, как бы то ни было, это раздражило поэтессу, и она уже запальчивым тоном произнесла приблизительно следующее:

Плазмой упитан зад хлюпкой юбчонки,
Рожи хохочут и ржут колпаки!

Может быть, она сказала не «плазмой», а как-то поиному и, быть может, произнесла другой последний глагол.

— Прелестно! — воскликнул король писательский.— Запишите это, пожалуйста, мне на память, я вставлю это в какой-нибудь свой рассказ!

Но футуристка, как будто бы не расслышав, пропела тенором, переходящим на баритон: «Да, да, до свидания!»

Уже на улице я сказал королю, что гостья могла бы быть и оригинальней.

— Вы хотите сказать, что она не Хлебников, не Крученых и даже не Елена Гуро! — возразил Сорокин.— Но она, во всяком случае, даровитей дореволюционной иркутской графоманки Дины Стож, жены издателя Стожа! Так что же вы хотите?

По правде сказать, я и сам не знал, чего бы я хотел. Пожалуй, я досадовал, что не расспросил Хабиас про иркутскую и соседнюю забайкальскую литературную жизнь, сливающуюся воедино с еще более далеким и загадочным литературным Дальним Востоком. Например, я бы мог ее спросить: знала ли она Пруссака? Едва ли, конечно! Но книжку его, конечно, должна была знать...

3

Есть авторы, которых знают и любят лишь за какую-нибудь одну из их книжек; есть авторы, прославившиеся лишь одним своим стихотворением. А что касается Владимира Пруссака, так этот юный поэт покорил меня, юного тогда читателя, даже просто только названием своей книги, названием простым, и трагическим, и глубоко соответствующим содержанию, смыслу, духу этого сборника стихов: «Деревянный крест».

«Деревянный крест», книга стихов, ставшая действительно крестом над могилой Владимира Пруссака, вышла в Иркутске в 1917 году, а в следующем году он, Пруссак, умер в Петрограде двадцати лет от роду... Я твердо уверен, что кем-нибудь и когда-нибудь будет достойно воссоздана в литературе короткая, но фантастически богатая событиями жизнь этого одаренного юноши. А что знаю я? Очень мало. Судя по имеющимся у меня сведениям (та же самая книга В. Трушкина «Литературная Сибирь в первые годы революции»), он родился в Петербурге в 1898 году. Гимназистом организовал какой-то революционный кружок, был привлечен к суду и сослан в Сибирь. В. Круковский в некрологе писал: «Он попал в Сибирь по известному делу витмаровцев, этому избиению младенцев царским правительством».

Более подробных данных я не имею. В «Краткой литературной энциклопедии» имя этого юноши даже и не упоминается. А ведь ссыльный Владимир Пруссак с шестнадцати лет сотрудничал в иркутских журналах, семнадцати лет ухитрился выпустить в Петербурге книгу «Цветы на свалке» (1915 г.), восемнадцати лет стал одним из организаторов иркутских литературных сил, сделался одним из редакторов альманаха «Иркутские вечера». В манифесте-предисловии к этому альманаху я слышу его голос, как бы его рукой написано: «В стране непробужденных просторов и злых морозных туманов, где искусство живет вчерашним днем, мы, немногие, случайно спаянные вместе временем и местом, дерзаем вступать на путь действенного и гласного творчества».

4

Я думаю, что Сергей Третьяков, автор замечательной книги стихов, попавшей мне в руки, назвал ее «Железной паузой» именно в ответ на «Деревянный крест» Владими-

ра Пруссака. А если бы и не так, то должен был бы сделать именно так, потому что книга имела на это полное основание. Однако я почти не сомневаюсь, что Третьяков видел, знал книжку Пруссака. И прежде чем попасть из Москвы во Владивосток, Третьяков не только увидел, но и по-своему живо описал Сибирь Деревянного креста, края зауральские, тюменские и те пространства, где «дышали туши тундр в ожерельях из клювы», где на месте будущих нефтепромыслов и газодобычи была лишь «качка кочек, и что ни холм, то болячка» и какой-то «туяс масла меновующая тоболячка».

Это я цитирую по памяти отрывок из стихов Третьякова, кажется, из его «Путевок», цитирую, вероятно, несколько неточно (желающие да проверят меня, найдя книги Сергея Третьякова, ставшие библиографической редкостью), но в данном случае мне важно напомнить забывчивому литературно-писательско-читательскому миру о существовании Сергея Третьякова — и не только публициста, прозаика, драматурга, но и поэта, и главным образом поэта с очень, увы, трагической литературной и личной судьбой.

Он, видевший наяву «сибирское небо лаптем», видел, пусть еще в мечтах, «тугой приводной ремень Енисея» и Ангару, которая, «холодна, быстра, хрусталю сестра», вытекает для будущих великих дел из еще дикого, первобытно прекрасного, но уже задымленного паровозным и пароходным дымом Байкала. Словом, он, Сергей Третьяков, весь будетлянин, доподлинный футурист, мыслящий категориями Грядущего, имел в своем хладно-пламенном, сказал бы я, воображении всю будущую духовную и материальную мощь той страны Деревянного креста, под которым покоилась, как писал Владимир Пруссак, «зловещая тайга в объятиях морозного тумана».

Затем Сергей Третьяков в полушубке и каком-то треухе (как пишет Н. Асеев в своей статье «Октябрь на Дальнем».— «Новый ЛЕФ», 1927, № 8-9) оказался наконец во Владивостоке, где и выпустил в 1919 году на редкость большеформатную, почти квадратную книгу с обложкой сизой, как в зимний день поверхность сумрачного Великого, или Тихого, океана.

Впрочем:

Мы чаю не допили,
Оставили тартинки —
На легком «оппеле»

На пляж, на пляж!
Блестели в синеве пески,
В воде паутинки.
Гитары вдребезги!
Мир наш, мир наш!

Картина не столь мрачная, если б не знать, что происходило кругом, если б не понимать, какую сложную миссию выполнял московский футурист Сергей Третьяков в годы революции на Дальнем Востоке. Как и большинство читателей, я узнал эти подробности позже из упомянутых выше воспоминаний Николая Николаевича Асеева «Октябрь на Дальнем». Но, читая и впервые, и без всякого знания подробностей эти стихи Третьякова, я все-таки почувствовал и, быть может, помимо понимания представил себе главное: тихоокеанский пляж с видом на рейд, где стоят японские броненосцы или американские, что ли — словом, военные корабли незваных гостей, и великолепно догадался, кто эти молодые франты, готовые, впрочем, разбить гитары вдребезги! Это уж, несомненно свои, вооруженные мещанскими семиструнными атрибутами только для виду, для прикрытия своей революционной сущности. И я, читавший предреволюционные издания русских футуристов, явственно видел среди этих молодых людей вот этого худощавого, чутко внимающего тому, как «сирены неистово взывают с испугом к пространству чистому на мильоны верст»,— это он, соратник Маяковского, Сергей Третьяков, уже не в полушубке и в каком-то треухе, а под видом жуира — для конспирации — очутившийся зачем-то на пляже, он как будто бы беззаботно восклицает:

Пейзажи взморских сумерек
Заходили кругом.
Мы все без нумера,
Нас только горсть!

Но он-то знает: нас не только горсть! И если мир еще и не наш, то он будет наш, он будет наш! И ясно, что мы без нумера, ведь под нумерами только узники!

Вот как я воспринял «Железную паузу». Прошло почти шестьдесят лет, но мне отчетливо видится эта третьяковская Москва: багровые, умные стены Кремля, на который он смотрел откуда-то с угла Моховой и Никитской, а затем путь Третьякова через Сибирь на Дальний Восток, Владивосток с его Светланкой, злачными местами, портом...

Что произошло с Третьяковым? Я знаю его прозу, его драматургию, его агитки, но я бы сказал так: это большой

лирический поэт, который поверил своим товарищам, лефовским теоретикам, что поэтом-лириком быть стыдно и не нужно; что не надо ничего, кроме «литературы факта», а что касается поэзии, то нужны только хорошо рифмованные политические агитки. И Третьяков поверил этому и, оставаясь художником слова, стал уверять, что он таковым не является. И ему в свою очередь поверили. Вот почему в 1923 году про «Железную паузу», одну из лучших, на мой взгляд, книг молодой советской поэзии, друзья и единомышленники Третьякова написали, что эта книга «характеризует период ученичества» Третьякова. В ней-де «не реализуется продвижка автора к словесному конструктивизму, то есть к сознательно применяемому и утилитарно оправданному экономнейшему и выразительнейшему речепользованию» («ЛЕФ», 1923, № 2). Впрочем, со стороны лефовцев вся эта напыщенная тирада неудивительна. Но удивительно, что в «Краткой литературной энциклопедии» мы тоже читаем: «...как поэт Третьяков культивировал стих-лозунг, всецело подчиненный задачам агитации» («КЛЭ», т. 7, стр. 613). Таким Третьяков и остается, поставленный на энциклопедическую полочку,— он, взволнованный лирик, действительно пламенный агитатор за Советскую власть, но при этом написавший ряд взволнованных лирических пьес не только о любви, жизни и смерти, но, скажем, вот такую, как эта,— о сердце:

Сердце изношено, как синие брюки
Человека, который весь день таскал кирпичи,
И четко шатается гнев сухорукий,
По пустому сердцу от угла к печи.

Сердце, как лес, в котором порубка:
Топоры по мякоти раз-раз, раз-раз.
Сердце изношено, как синяя юбка
Девушка с синяками у синих глаз.

Кстати: хорошее лирическое произведение может быть хорошей агиткой и хорошая агитка — хорошим литературно-художественным произведением. И наоборот: плохие агитки и плохие художественные произведения — ни к чему!

5

Я уже не раз с достаточной ясностью писал о моем отношении к футуризму и причастности к нему, к футуризму, к которому во дни моей юности, как, впрочем, и ныне,

некоторые читательские круги относятся, в общем, как к чему-то скандальному, часто — неприличному, в лучшем случае, непонятному. В наше время вообще слово «футуризм» как-то не в ходу, и люди, ведущие серьезный разговор о проникновении умственным взором в Будущее, охотнее употребляют понятие «футурология». Так вот: не столько о футуризме, сколько вообще о стремлении оказаться в пределах Грядущего я и хочу рассказать напоследок.

Был белый день, белый-белый зимний день, кажется, в конце 1922 года, а может быть, в конце следующего, на Центральном базаре в Омске. Мороз посеребрил тусклые переплеты и обложки книг, книжищ и книжонок на развале у рыночного букиниста, старого, седого Вайсберга, до того замерзшего, что я тут же переименовал его, назвав вместо товарища Вайсберга товарищем Айсбергом, что он от мороза даже и не заметил, как будто так и должно было быть. И тут я среди тускло посеребренных морозом его богатств и заметил совершенно белое, под цвет всему происходящему, миниатюрное сокровище. Оно было до того маленьким и тоненьким, что само впорхнуло в мои руки и раскрылось как раз там, где я мог прочесть строки, запомнившиеся мне на всю жизнь:

Братья с далеких планет,
Граждане Звездной республики,
Вы ведь не скажете «нет»,
Вы ведь Земли не забудете!

Там было еще много насчет полетов в иные миры, всего, конечно, я не запомнил, а запомнил лишь эти строки. И я вспоминаю, как, купив у букиниста эту книжечку, как будто называвшуюся «Звездный манифест», я спросил, откуда она у него взялась.

— Продал какой-то молодой человек, судя по плохой, не по сезону одежде, может быть, даже и сам автор.

Вскоре, приехав в Новониколаевск, как тогда еще именовался Новосибирск, я спросил у Вивиана Итина, не заходил ли в редакцию «Сибирских огней» некто, бредящий иными мирами. «Его стихи перекликаются с есенинским «Пантократором» и твоей «Страной Гонгури»,— сказал я Вивиану.— Откуда он шел, если это был он, куда исчез, обронив книжечку на айсбергском развале?»

Вивиан пожал плечами. Быть может, он, автор первой советской фантастической повести («Аэлита» Алексея Толстого появилась позднее), предчувствовал и годы собствен-

вого забвения, забвения своих повествований не только о полетах на иные планеты, в иные миры, но и о полетах осоавиахимовцев над Сибирью и о своих плаваньях в Арктику, не говоря уж о забвенье своей единственной книжки стихов «Солнце сердца».

«Но,— отметил, между прочим, в одной из своих книг Вивиан,— мысль не умирает. Рукопись может сгореть, книга исчезнуть, а мысли, выраженные в ней, не умирают». Это я говорю прежде всего насчет произведений самого Вивиана Итина. То же можно в какой-то степени сказать и об этом инопланетолюбивом поэте начала двадцатых годов Александре Ярославском. Книгу его у меня давно зачитали, утащили, как водится, книголюбы, я даже сомневался, что правильно запомнил его имя, но нет, однажды в одном из библиографических указателей нашел сведения о нем. Оказывается, немало книг, вернее, брошюр по четырнадцати — шестнадцати страниц, выдал он в свет: «Плевок в бесконечность», изд. Д. В. С. Профсоюзов, Владивосток, 1917 и этот «Звездный манифест», изд. газеты «Дальневосточный Пролетарий», Владивосток, 1918; «Окровавленные тротуары», изд. Бюро Печати ДВР (очевидно, Чита), 1921; «На штурм вселенной», изд. Комитета поэзии биокосмистов-иммортелистов, Петроград, 1922 г. ...

Предвижу восклицания: «Ах уж этот Мартынов! К чему ворошить старые библиографические справочники, напоминать забытые имена, да к тому же зачастую и сомнительные, непроверенные!.. Начав со скандальной Нибу Хабиас, завершать рассказ описанием шествия из Владивостока в Петроград некоего поэта-бродяги, пославшего плевок в бесконечность с окровавленных тротуаров буферной литературной Читы?!»

В оправданье не стану говорить ничего.

Воспоминанья молодости! Вспоминая дни молодости, годы начала новой эры, я стремлюсь честно повествовать о том, чему был свидетелем или тем более участником и к чему все это привело. А что касается, в частности, упомянутого напоследок биокосмиста-иммортелиста, бродячего предвозвестника нашего космонавтического века, то вспоминаются опять-таки друга моего Вивиана Итина стихи о катастрофе аэроплана одного из первых авиаторов, о том, как на земле валялся изломанный штурвал и исковерканных частей немая горка:

И почему-то в памяти вставал
Знак бесконечности — упавшая восьмерка!

Самозванство

Телефонный звонок. Бодрый голос:

— Здравствуйте, Леонид Николаевич! Вы меня не забыли? Я тот, с которым вы пили коньяк на теплоходе «Грузия» прошлой осенью.

— Что вы! Вы, вероятно, путаете. Ни прошлой, ни позапрошлой осенью, и вообще ни разу в жизни я не путешествовал на теплоходе «Грузия».

— А! Вы, значит, не хотите продолжить знакомство!

— Да нет же! Вас ввел в заблуждение какой-нибудь самозванец!

Я слышал не об одном таком самозванце. Один кому-то рассказывал, как он с Ленькой Мартыновым играл в карты, другой — как Леонид Николаевич расхваливал его стихи. Самозванцы бывают всякие. И, думая о всевозможных самозванцах, начиная от лженерона и лжедмитриев и кончая собственными двойниками, я спрашиваю себя: совершенно ли чужда эта пагубная страсть мне самому?

Да, кажется, чужда, если даже она, эта страсть, и столь безобидна, как у одной моей знакомой поэтессы, которая рыдала однажды, вообразив себя дочерью царя или Распутина на том основании, что к ней-де относятся как к какой-то социально чуждой особе и не потому ли не признают, не печатают, гонят.

Итак, роль самозванца мне совершенно несвойственна, но тем не менее и меня в близкую к самозванству ситуацию все-таки ставила жизнь.

Это случилось где-то на границе РСФСР и Украины, давно, так давно, что совершенно вылетело из памяти название той станции, где наш поезд застрял на целых два часа из-за выпадения из графика. Я чуть ли не впервые ехал этим путем из Москвы на Черное море, все было кругом незнакомо. Станционный буфет почему-то не работал, рынка на привокзальной площади не обнаружилось, и мой сосед по вагону третьего класса, в котором мы ехали, человек мне неизвестный, но славный, сказал:

— Пойдем-ка в город, городок невелик, авось сразу найдем какую-нибудь столовку!

И мы, поднявшись по виадуку, спустились с него на противоположной стороне станции и оказались на улице этого местечка. Углубившись в него, мы вдруг услышали музыку, пение и поняли, что этот гвалт доносится из дома без вывески, окруженного целой толпой веселящихся лю-

дей обоего пола. Протолкавшись, мы очутились лицом к лицу с каким-то разгоряченным, веселым человеком, стоящим на крыльце.

— А, гости дорогие, входите, пожалуйста! — крикнул он нам. И мы, им подтолкнутые, как-то сами собой очутились внутри дома и поняли, что там справляется свадьба.

Жених при галстуке и улыбающаяся, белозубая, румяная невеста в чем-то вроде фаты как раз в этот момент целовались под возгласы «горько!». Веселый человек, пригласивший нас к пиршественному столу, освободил для нас два места и уселся рядом.

— Угощайтесь! — возгласил он. И, обращаясь ко мне непосредственно, спросил: — Ну как Онуфрий Иванович? Жив-здоров? Что же он не притащился, старый греховодник? — И, не дожидаясь ответа, выкрикнул: — Да ты пей, пей!

Мы с моим спутником не заставили себя упрашивать. Мы ели какие-то кулебяки, чего-то пили, а кругом становилось все веселее и веселее. Музыканты наигрывали гопак.

Но вдруг среди пирующих возникло замешательство, послышались взаимоупреки.

— Как же это можно? — воскликнул кто-то.

— Да ведь за всеми не усмотришь,— прозвучал в ответ женский голос.

И вообще многие переглядывались, качали головами и пожимали плечами, как мне показалось, поглядывая с неодобрением даже и на нас. И я подумал, что, может быть, именно о нас, нахально вторгшихся на чужое торжество, и идет речь. Но, как выяснилось, дело было не в нас. Это я понял из явственно прозвучавших слов о том, что забыли шубу.

— Шубу забыли, шубу! — воскликнул внятно и наш пригласитель.— Вот ведь как люди старинные обычаи забывают вмиг!

И тогда из соседних внутренних покоев дома какие-то люди вытащили бархатную шубу и, предварительно вытолкав жениха с невестой за порог, бросили ее, эту шубу, на порог вверх лисьим мехом.

— Где зерно? Нет зерна? Есть пшено? Давайте хоть его! — восклицали женщины и мужчины.

И тут появился, видимо откуда-то с кухни, человек с чем-то зажатым в горсти, и это, зажатое в горсти, оказалось зерном или какой-то крупой, которую он бросил, рас-

сыпав, на шубу. И после этого жених с невестой торжественно вошли обратно в пиршественный зал, попирая стопами шубу, лежавшую на пороге.

— Однако нам пора,— прошептал мне мой вагонный спутник.— Поезд уйдет! Опоздаем!

— Пора-то пора, но посмотрите, что в дверях, какая толкучка,— заметил я.

— А давай в окно! Никто и не заметит!

И мы, действительно не привлекши к себе ничьего внимания, вышли на улицу через открытое окно, кстати до того низкое, что через подоконник было можно просто перешагнуть.

— Знаете, это получилось здорово, но я как-то неловко себя чувствую,— сказал я спутнику.

— А что?

— А то, что мы были как самозванцы.

— Как самозванцы?! Мы не сами назвались, а нас позвали — и мы вошли. Мы не незваные! — ответил он.— Да и на свадьбах такой обычай, хорошо, что не забыли его, как шубу!

И через четверть часа мы уже тряслись дальше к Черному морю, как будто бы и вообще ничего не случилось.

Но вот что произошло, случилось, стряслось — не знаю уж, как сказать,— двумя-тремя годами позже в Омске.

Я шел по этому городу в одежде, напоминающей морскую форму,— белые штаны и тельняшка под белым кителем. Так я, газетный репортер, одевался, чтоб, как мне казалось, успешнее контактироваться с моряками Убекосибири и Комсеверпути. Итак, я шел по улице, насколько помнится, по Садовой, и вот у крыльца мрачного двухэтажного дома опять-таки я заметил толпу, но это была не веселая свадебная толпа, а толпа встревоженная и смятенная. Дело в том, что с верхнего этажа дома доносились вопли и стоны.

— Что такое? — спросил я.

— Там, товарищ моряк, убивают! — ответили мне.— Вмешайтесь, пожалуйста, товарищ моряк! Муж жену убивает! Спасите!

Делать было нечего. Эти бедные, бледные обыватели, отбегавшие от крыльца при каждом новом вопле, молили меня слезно. Отказаться было нельзя.

— За мной! — воскликнул я и ринулся вверх по деревянной скрипучей лестнице.

Дверь, из-за которой слышались стоны и вопли, не поддалась. Тогда я налег и сорвал эту ветхую дверь, оказавшись в убогой комнате с большой неряшливой печью. Возле печи на ревущей женщине в шубе, закинутой на голову, сидел безмолвный мужчина, колотя ее белым изящным березовым поленом по ляжкам.

— Прекратить! — закричал я. И, обернувшись к тем, кого я звал за собой, хотел крикнуть им: «Берите его!» — но увидел, что за моей спиной никого нет, они не решились войти, и я нахожусь один на один с истязателем женщины.

А истязатель тем временем, встав и угрожая вышеописанным березовым поленом, пошатываясь, направился ко мне. Но вовсе не это потрясло меня, молодого, сильного. Ввергло меня в ужас и смятение другое: женщина, на защиту которой я явился, оправила юбку, встала на ноги и, взяв прислоненный к печи ухват, тоже двинулась навстречу мне, угрожающе оскалив чудесные белые зубы, которые дико напомнили мне что-то известное уже раньше. Мне показалось, что я когда-то все это видел, только там все было наоборот: тут ненависть, там — любовь. Там поцелуи, здесь — проклятия. И тут мне показалось: эта растрепанная, лежавшая около печи женщина одета в очень потрепанную, заношенную, облысевшую на локтях бархатную шубейку, которую я тоже видывал где-то раньше. Я подумал: не та ли это самая брошенная на пол шуба, на которую сыпали зерно и через которую перешагивала белозубая невеста на той свадьбе, куда мы явились самозванцами где-то на пути к Черному морю?

Как могла оказаться в Сибири эта женщина? Был ли мужем бивший ее поленом человек, то есть тем женихом, которого я видел на свадьбе? Да и вообще, так ли все это было или мне пригрезилось из-за совпадения блеска чудесных зубов у той женщины и у этой? Это все были смутные догадки, а ясно я видел лишь одно: теперь, объединившись, он и она шли на меня вместе. И тут я совершенно отчетливо сообразил, что против таких двух дружных противников я, увы, не могу устоять.

Повернувшись к ним спиной, я с горечью на душе отступил за порог злополучной комнаты. Мне кажется, что я даже не сбежал с лестницы, а, как школьник, съехал на перилах и очутился в толпе.

— Ну, что? Что там, товарищ моряк? — послышались голоса.

— Разберутся сами, — ответил я, поспешно удаляясь и

на ходу размышляя о том, к чему может привести самозванство, то есть это ношение чужой, почти военно-морской одежды, столь обнадеживившей мирных обитателей, в то время как я только обыкновенный литератор, не способный выдержать вероломства обыденной жизни в образе этой проклятой бабы с ухватом, вступившейся за своего истязателя с березовым поленом в руках.

Про меня иногда пишут, что я философ, мыслитель, чуть ли не учитель жизни. Так напечатали, например, однажды в молодежном журнале «Смена». Я не одобряю таких писаний. Я отмахиваюсь от этого. «Бросьте толкать меня на такое самозванство!» — говорю я. Мне кажется, что во всех таких провозглашениях больше политики, чем правды. И те, кто поддается на такие провозглашения, чаще всего ставят себя в положение вольных или невольных самозванцев, которые, в сущности, суть лишь игрушки судьбы. А я — это я и никто больше, чем лирический поэт Леонид Мартынов, обладающий лишь своими собственными, отнюдь не философическими предками и лишь своей большой или малой неповторимостью.

Вечные следы

Открытие Турксиба

В числе моих прочих журналистских заслуг нередко упоминается, что я описал строительство Турксиба — железной дороги, соединяющей Сибирь с Туркестаном. Действительно, я обрисовал на страницах газет и журналов наиболее важные этапы строительства, включая и беспорядки в Семипалатинске, возникшие из-за неумения обеспечить жильем и работой завербованных на строительство землекопов. Помню, я дерзко сказал редактору «Советской Сибири», честнейшему И. Шацкому, что его газете слабо затронуть такую тему и разоблачить бездарное турксибское руководство, но, задетый за живое, Шацкий, стукнув кулаком по столу, крикнул мне: «Отправляйтесь немедленно и пишите!» И я отправился и написал подвал «Взволнованный город». С тех пор я не раз бывал на постройке, ходил с изыскательными партиями, ездил на рабочем поезде, своими глазами видел с платформы, груженной лесом, как паровоз шел и вдруг покосился, накренился и начал тонуть в солонцах. Затем видел, как возникали новые станции, и наконец, когда пришло время, поехал на торжественное открытие дороги — смычку северного отряда пути с южным.

О торжестве открытия Турксиба было немало написано. Я не хочу повторять сказанного всеми другими и мной о том, какое это было славное торжество. Тысячи всадников съехались со всех концов степи к пункту, в котором должна была произойти торжественная церемония смычки. Смутно помню огромные деревянные помосты для праздничного пира. Последние рельсы были уложены на последние шпалы, грянула музыка, раздались речи ораторов с трибун. И вот в это-то время я, молодой журналист в потертой тужурке, очутился в необычайно пестрой компании знакомых и незнакомых мне людей. Я знал, что почтенный гривастый и бородатый старец, указывая на которого каза-

хи почтительно говорили: «Карл Маркс»,— старый большевик Вегман из Новосибирска. И я почти мгновенно понял, что человек, которого я принял поначалу за интеллигентного казаха, не казах, а японец Сэн Катаяма. Женщина с платочком на голове, как русская баба, оказалась американской журналисткой. Тут были еще и другие знакомые и незнакомые мне люди, но мое внимание привлек главным образом человек в светлом облачении, стоящий поодаль в дверях классного вагона поезда, пришедшего из Алма-Аты. Голова этого человека была повязана на манер чалмы полотенцем. Глаза этого человека, полные благожелательным любопытством, были устремлены поверх наших голов вдаль.

— Пойдемте и уведем его в купе,— сказал мне откуда-то вывернувшийся знакомый писатель.

— Почему? — спросил я.

— Ему нехорошо стоять так. С полотенцем на голове.

— Почему нехорошо? — сказал я.— Нет, не пойду, пусть стоит, если хочет.

В предложении моего знакомого увести человека прочь я почувствовал какое-то недоброжелательство, деленное на подхалимство. Вроде того, что он и жалеет и осуждает человека, решившегося стоять с полотенцем на голове, глядя поверх голов всяких выдающихся личностей. Но ведь и у американки на голове был бабий платочек. А на мне самом — весьма потрепанная кожаная куртка, так что некоторые принимали меня не за журналиста, а за дорожного мастера.

— Нет, нет, пойдемте, смотрите, как он смотрит. Может быть, он пьян,— сказал мой знакомец, как-то двусмысленно усмехаясь.

— А может быть, и трезв,— возразил я.— Да кто он такой?

— Но это же Пильняк, Борис Пильняк, разве вы не знаете! — воскликнул мой собрат по перу и бросился к подножке вагона, чтоб вступить в разговор с Пильняком. Я повернулся и пошел на телеграф. Мне захотелось дать необычайный и блестящий отчет об открытии Турксиба, в котором бы наряду с описанием сей грандиозной процедуры торжеств было бы упомянуто, что некоторые казахи почтительно подчеркивали похожесть старого политкаторжанина Вениамина Вегмана на Карла Маркса, американской журналистки на русскую бабу, Сэн Катаяму принимали за казаха, композитора Виссариона Шебали-

на — за японца. Эти подробности должны бы были, по моему мнению, подчеркнуть интернациональный характер происходящих событий, однако, когда я вспомнил о том, что мой собрат по перу почему-то хотел принять своего собрата по перу Пильняка за пьяного, моя веселость пропала, как будто бы в ложку меда неожиданно попала бочка дегтя. Он надеялся, подумал я, что Пильняк будет пьян и безобразен и при рассказах об этом может сослаться на меня как на свидетеля. Вот о чем догадался я, идя в телеграфную будку. И от этой моей догадки отчет, как мне кажется, получился не столь праздничный и яркий, каким мог бы стать.

Все это вспомнилось мне сегодня, через много-много лет... Давно нет в живых старого большевика Вегмана с его серебряным горлом под марксовской бородой (настоящее он перерезал при попытке самоубийства еще на царской каторге). Умерли Сэн Катаяма и Виссарион Шебалин. Не стало и Бориса Пильняка. Твердо знаю, что из вышеописанных живы только я и мой собрат по перу, следивший, как бы другой его собрат по перу не нарушил торжественного благочиния своим полотенцем вокруг головы. И я думаю, если мой собрат по перу пишет нечто вроде мемуаров, расскажет ли он все то, что описано сейчас мной, и так ли расскажет. А может быть, не так, а совершенно наоборот: никакого Пильняка. Дело хозяйское: каждый пишет, как помнит.

Мне нравится творчество Пильняка. В конце сороковых — в начале пятидесятых мне удалось собрать по букинистам почти все томики его собраний сочинений, что было в те времена нелегко. Во второй половине пятидесятых и в шестидесятых годах я внимательно следил за постепенным, обратным становлением Пильняка, вынырнувшего из искусственного забвения. Словом, Пильняк остался Пильняком, несмотря на всю сложность проделанных им житейских и загробных превращений. А его притворно доброжелательный собрат по перу, тот, который был шокирован полотенцем, как был, так и остался пиктошкой. Впрочем, может быть, и он напоследок переродится в своих мемуарах, брызнув блеском покаянных воспоминаний, в том числе и о степной станции, над которой пыль, поднятая тысячами кочевников, съехавшихся на торжества открытия Турксиба, застилала небеса, и эти небеса были багряны, как перед грозой или перед моментом затмения солнца.

Племянник мужика

Как-то я прочел в «Правде», что под Омском среди знаменитого соснового бора возведен Чернолучинский кардиологический санаторий. А раз так, то я обязательно должен наконец рассказать об Евлампии Минине, который сам происходил из тех мест и еще полвека назад утверждал, что чернолучинский хвойный воздух целебен не только для легких и сердца, но и для души и разума, если, вообще говоря, можно отделять одно от другого.

Я прекрасно представлял себе прелесть лесов. Ведь почти рядом с Чернолучьем, в котором родился Евлампий, находилась Красноярка, в одной из чьих избушек были сосредоточены личные книжные богатства рыжего и дюжего, как истый чалдон, книжника Николая Чернакова, заведующего букинистическим отделом омского магазина Сибкрайиздата. Эти же края были, как я слышал, родиной поэта Георгия Вяткина, казака чуть ли не захламинского.

Таким образом, не было ничего удивительного, что из северных этих лесов вышел и Евлампий Минин, просвещенный книжник, беллетрист и поэт.

Он был деревенским мальчиком. За отличные успехи в начальной школе его приняли в Омскую учительскую семинарию. Однако мировая война сделала Евлампия не учителем, а прапорщиком. Он воевал, затем почему-то (я не спрашивал его почему) пытался покончить жизнь самоубийством, но выжил и почувствовал острую жажду творчества. Словом, когда я познакомился с ним в омской артели поэтов, он был директором небольшого, кажется дрожжевого, завода и поэтом, а затем, поддержанный в своих литературных начинаниях Зазубриным и Басовым, перешел на работу в Сибкрайиздат, став директором книжного магазина, чтоб на досуге писать производственный роман.

Об этом романе, одном из первых произведений такого рода в Сибири на местном материале, недавно, в связи с 50-летием «Сибирских огней», появилось несколько упоминаний в печати. Думаю, что будущие историки литературы не однажды еще возвратятся к данному труду Евлампия Минина, к этому упорному труду, который создавался автором, как любят выражаться ныне, в свободное от работы время, преимущественно ночами, когда, он, директор книжного магазина, как бы возвращал-

ся к должности директора дрожжевого завода, чтобы опять-таки вновь перевоплотиться в личность вымышленную, в героя своего романа, вернее даже, разъять, разделить себя на целый ряд действующих в этом романе лиц. Ведь в самом деле, рабочая сила для таких заводиков, вроде того, которым руководил Евлампий, вербовалась главным образом из среды того крестьянства, из которого и сам он вышел. Помнится, Евлампий Андреевич, будучи старше нас, юнцов поэтов и художников, почти вдвое, не особенно много толковал на сложные темы современности, верней, ее будничной действительности с еще не стертыми следами голода и разрухи, на темы бедной обыденности с ее пьянством, бесхозяйственностью, грязью, болезнями. Он, грубо говоря, не трепался об этом. Но, задумчивый переустроитель этого старого быта, он писал! Писал упорно и честно этот роман из рабочей жизни, эту прозу, которая мне, пусть еще очень молодому, по газетчику, внушала естественное почтение, хотя все-таки — о, легкомыслие юности! — вызывала во мне гораздо меньший восторг, чем его лирика, его стихи.

Я оценил его стихи вроде, например, таких:

Хохочет слепая буря,
Усталых сбивая с ног,
И села горят, дежуря
На перекрестках дорог.

Но все-таки больше всего я ценил его вот за какую одну-единственную строку:

Смотреть на женщин, белых куропаток!

Так однажды написал — вернее, закончил — одно из стихотворений Евлампий Минин, вызвав этим во мне восторг и радостное волнение.

Нет, он отнюдь не был женоненавистником, он был счастливо женат на смуглой миловидной учительнице, они имели двух детей, сына и дочку, и я думаю, что его милая жена была не в претензии на него за такое его ироническое отношение к женщинам... Впрочем, ее я об этом не спрашивал, но его спросил прямо: действительно ли женщины в массе своей кажутся ему подобными всего-навсего стае белых куропаток и не в пику ли Анне Ахматовой с ее «Белой стаей» он, дерзкий мужик, написал эти строки, и вообще не поза ли это?

Помню, он улыбнулся, но ничего не ответил, и я почувствовал в этом молчании вопрос: а что ты понимаешь

в женщинах? Но этот возглас так и остался немым, потому что, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Евлампий уважал меня, юнца, как поэта.

Зато к поэтессам, писательницам и вообще представительницам интеллигенции как бы в подтверждение своего тезиса о сходстве женщин с белыми куропатками он относился в лучшем случае насмешливо. Я догадывался: они донимали его как властителя и распределителя книжных богатств: «Евлампий Андреевич, если у вас нет, то выпишите из центра такие-то и такие-то книги!»; или на собраниях: «Евлампий Андреевич, что вы думаете о моих триолетах?» — «Ничего не думаю, извините, я задумался, когда вы читали, и не расслышал!» — «Ах, понимаю! Ну тогда прочтите свои стихи!» — «О, я пишу преимущественно прозу!» — «Ну тогда приходите в гости и почитайте!» — «Спасибо, но мне некогда, я пишу производственный роман!» —так отвечал он, этот выходец из сибирских урманов, визионер, видевший белых женоликих куропаток меж сугробов снежных северных улиц города Омска.

Он не ходил в гости и особенно в литературные салоны, и их хозяйки мстили ему, как умели. Одни говорили, что он побаивается своей жены, что она его не пускает. Другие говорили, что он побаивается не жены, а своего мужицкого имени Евлампий, идущего то ли от лампы, то ли от лампады, во всяком случае — от прихоти деревенского священника, хотя ему, Евлампию, стесняться и нечего, потому что неблагозвучие имени компенсируется звучностью фамилии: Минин! Как же — Минин и Пожарский! Но Евлампий Минин не трепетал перед злословием и не поддавался ни на какую лесть.

И лишь одна из юных писательниц, умная, воспитанная, выдержанная, прелестная дева, умело владея своими чарами и будучи тонким психологом, все-таки переборола мининское упрямство. «Хорошо! — сказал он ей.— Благодарю вас, я приду!» И раскланялся при этом не как семинарист, не как учитель, но как офицер, которым он и был в дни мировой войны и до тех пор, покуда сам не пустил себе пулю в грудь, не попав в сердце, но повредив легкое, почему и состоял на учете в туберкулезном диспансере.

Я все-таки допускал возможность, что он надует, обманет, чтоб потом самому и посмеяться: вот, мол, ждали важного гостя, а он испугался! Приглашение было приурочено к какому-то празднику, то ли революционному, то

ли церковному, то ли, как уж и тогда говорили, народному, что-то вроде масленицы, а может быть, и не к ней, потому что я не помню блинов в связи с тем, что случилось позже. А помню лишь, что я назвался зайти за ним, напросился, чтоб вместе отправиться в гости, но он, как мне показалось, с негодованием отверг это мое предложение:

— И не думай! Приду сам, только, пожалуйста, предупреди там, что приду несколько позднее — может быть, и на час.

Его, конечно, там ждали, ждали без нетерпения, но с любопытством, не столько даже сама юная писательница, сколько ее отец, почтенный инженер: как-никак среди мальчишек и девчонок должен был появиться взрослый человек, автор производственного романа. Производственный роман, может быть, да и весьма вероятно, впервые написанный в этом городе на местном материале.

И когда наконец в передней зазвонил электрический звонок, или, может быть, я путаю, колокольчик, или просто раздался стук в парадную дверь и сестренки писательницы стайкой выпорхнули встречать гостя, в эту минуту за чайным столом воцарилось сосредоточенное молчание.

Но когда веселые девичьи голоса, донесшиеся из передней, вдруг замолкли, а затем сменились на озадаченный полушепот, стало ясно, что случилось что-то непредвиденное и приводящее в замешательство.

И тут на пороге в столовой появился Евлампий Андреевич, тщательно выбритый, причесанный на косой пробор, подтянутый, а рядом с ним, или точнее сказать, чуть-чуть им подталкиваемый вперед, бородатый, подстриженный под скобку, облаченный в ситцевую, высовывающуюся из-под кургузого пиджачка рубаху навыпуск и обутый в валенки человек.

— Позвольте вам всем представить, мой дядя! — провозгласил Евлампий Андреевич отстраненно и невозмутимо.

— Очень рады! — сказал хозяин дома, поднимаясь из-за стола.— Проходите! Пожалуйста! К столу!

— Мой дядя самых честных правил, черполучинский мужик, хлебопашец! — с вежливейшей улыбкой сказал Евлампий.

— Очень, очень рады, будьте как дома! — повторил отец юной писательницы и, обращаясь к дяде Евлампия,

осведомился: — Скажите, пожалуйста, какие нынче виды на урожай зерновых?

Я не припомню, что ответил дядя Евлампия, несмотря на деланную улыбку, весьма сердитым взором глядевший на своего племянника. По всему было видно, что дядя заманен племянником сюда хитростью и прекрасно представляет себе всю неожиданность своего появления в этой необычной для себя компании, в этой квартире, чьи стены, потолки и углы дышали книжной ученостью.

Впрочем, все это я за него, вероятно, додумал теперь, а тогда, судя по тому, как он быстро осушил чашку чая и поставил ее вверх донцем на блюдце в знак окончания чаепития, он, этот почтенный и, несомненно, умный крестьянин, видимо, хотел лишь одного — как можно скорее завершить гостевание.

А между тем Евлампий как ни в чем не бывало углубился в беседу с хозяином дома, почтенным инженером, который с несколько ироническим, но неподдельным интересом давал Евлампию какие-то технические объяснения (видимо, нужные для производственного романа, а может быть, и не необходимые для него вовсе) и помогал Евлампию даже вычертить какой-то чертежик.

Так они беседовали весьма увлеченно, в то время как девочки поили дядю Евлампия Андреевича чаем с вареньем столь гостеприимно, что он не успевал повторять «покорно благодарствуйте» или еще что-то в этом роде...

— На кой черт ты все это затеял? — спросил я Евлампия на другой день.

— Просто потому, что хотел показать дяде, как живут добрые люди в городе, а им — какие есть деревенские жители,— задумчиво ответил Евлампий.— Для смычки города с деревней! А то ведь как порой понимается у нас эта смычка? Видел ты, в краевой печати написали: шрифт какой-то умник изобрел, по фамилии, кажется, Горбунок, что ли, резчик штемпелей, литеры из серпов и молотов в виде славянской вязи, так что не разберешь, что и напечатано!

— Это, конечно, ты прав! — сказал я.— Ты вправе показать сельского дядю без славянской вязи и каким есть по новой орфографии! Но все-таки я тебе скажу, что можно было обставить все и поэффектнее.

— Например?

— Ну, например, подкатил бы с ним на коне, сбруя в лентах, на дуге колокольчики,— и кнутовищем в окно: «Эй вы, белые куропатки, мой дядя приехал из Чернолучья, собирайтесь, вот он сейчас вас прокатит на коне своем добром!»

— На коне, говоришь? — переспросил Евлампий.— А может быть, или ты не допускаешь такой возможности, си безлошадный? Понял? Это мы с тобой садимся на своих пегасов и скачем, куда хошь!

Вот именно так, по-простонародному, но с отчетливостью дотошного фольклориста и подчеркнуто ясно он и вымолвил «куда хошь» и улыбнулся сурово.

Так он и улыбается до сих пор со страниц журнала «Сибирь» № 7-8 за 1925 год, этот писатель Евлампий Минин, большой философ, вносивший в свои суждения и поступки немало парадоксальности. Ведь даже когда он умер, гораздо позже, чем предрекали врачи, то эти последние выяснили, что прожить больше срока помог ему шрам от самоубийственной пули, который долго не поддавался глодавшей его чахотке и давал возможность Евлампию жить и дышать. Но все-таки в конце концов Евлампий Андреевич умер от туберкулеза, не дождавшись, когда в его родном Чернолучье возникнет сердечно-легочный санаторий, а посреди Омска ударит фонтан подземных минеральных вод типа «Ессентуки-17», которым он, Евлампий Минин, крестьянский сын, офицер, поэт и прозаик, предпочитал все-таки более крепкие, истинно русские напитки.

Бывший прапорщик

Когда мне случается быть в тихом переулке, между Кропоткинской и бывшим Гагаринским, я вспоминаю о Боже.

С Божем, то есть с Борисом Жеребцовым, я познакомился еще в Сибири, даже не знаю когда. Во всяком случае, это было в двадцатых годах. Борис укрылся под псевдонимом Бож скорее всего потому, что тогда среди газетчиков были в моде такие короткие, похожие на собачьи клички псевдонимы, а может быть, и потому, что все же несколько стеснялся своего доброго христианского имени, запятнанного, как ему казалось, званием прапорщика в первой мировой войне. Если это так, то я думаю, что стес-

нительность его была напрасной: мы прекрасно понимали, что Борис никакой не бывший прапорщик из иркутских студентов, а самый настоящий театральный критик. Но какая-то пришибленность не пришибленность, но некое сознание собственной неполноценности все же не покидало Божа. Из новосибирской краевой газеты «Советская Сибирь» он откочевал в омский окружной «Рабочий путь», где, по собственному выражению, «кое-что пописывал», а вечерами валялся в своей частнонаемной комнатушке на Войсковой улице в домике, заросшем не столько бузиной, сколько пылью с ее сучьев и листьев. Бывая в Омске, я нередко заходил вечерами на огонек к Божу. Он жил, вообще говоря, один, но иногда я заставал у него его жену, милую женщину, как мне кажется, дочь какого-то бывшего издателя. Бож, обладая, как сказано выше, нервическим характером, обитал от жены отдельно. Во всяком случае, помню, что она была тихой, сдержанной и заботливой. Она мягко смеялась над нашими пререканиями. Бож обычно издевался над тем, что я пишу, говоря, что все это напрасно и признания в наши дни добиться трудно, а я ругал его, называя упадочником, человеком, не верящим ни в чужие, ни в свои силы.

Впрочем, мы жили мирно, и Бож даже мечтал меня женить на своей кузине.

В тридцатых Бож, словно бы что-то почувствовав своим длинным носом, сорвался и укатил сюда, в Москву, чтоб заняться театроведением и писать исследование о старом сибирском театре. Так он и оказался в тихом переулке. Я не знаю, с какими организациями Бож был связан по роду своей деятельности. Знаю только, что хозяйка его угла в тихом переулке и жалела, и порицала своего беспутного и беспомощного в житейских делах квартиранта. Но Бож не подавал надежд на исправление, жил кое-как, питался кое-чем и все писал и писал свой труд о сибирском театре былых веков. Что именно он написал, об этом следует знать сибирским искусствоведам, а я хочу просто рассказать, чем это кончилось.

Я тот раз явился в Москву не с пустыми руками. Мне уже удалось напечатать в «Сибирских огнях» поэму об Увенькае, а в рукописях были и другие поэмы. Было много стихов. Не было только пристанища, то есть обстановка позволяла ночевать у тех или иных друзей и знакомых не более одной ночи. И вот в очередную жертву я должен был наметить Божа.

В его окошке горел свет.

— А! — сказал Бож, открывая дверь.— Жив, курилка! Ну, проходи, проходи, у меня гости!

— Погоди,— сказал я,— сначала договоримся. У меня сегодня есть где ночевать, а завтра могу я прийти к тебе?

— Ты можешь и сегодня.

— Нет, сегодня я договорился, меня уже ждут, а вот завтра можно к тебе?

— Ну хорошо, хорошо! — ответил он.— Но проходи, у меня гости.— И он втолкнул меня в комнатушку.

Там за столом сидели двое.

— Это поэт! — закричал Бож, указывая на меня.— Он сейчас прочтет нам свои стихи.

— Пожалуйста! — сказал я.— Я прочту поэму.

— Поэму? — закричал Бож.

— Да, поэму. Об Увенькае.

И я немедля начал читать поэму. Оба молчаливых гостя слушали меня, как мне показалось, весьма внимательно. Мне показалось даже, что одного из присутствующих я увлек,— так широко раскрылись его глаза, глядящие на меня в упор. Но затем этот человек покачнулся и упал со стула на пол.

— Готов! — воскликнул Бож.— Это он от скуки. Разве можно читать такую длинную вещь? Длинно, скучно и никуда не годится!

— Он упал не от скуки, он просто пьян! — ответил я.— Ну, хорошо, я пойду. Значит, до завтрашнего вечера!

— Пожалуйста, будь любезен,— сказал Бож.— Вот завтра и поговорим, я тебе объясню все, как надо писать!

И я ушел, раздумывая о том, что, может быть, Бож все-таки прав. Задумчивый, я пришел к знакомым, переночевал у них, так же задумчиво попрощался с ними наутро и в том же состоянии задумчивости проблуждал по городу весь следующий день, делая свои нехитрые дела. В сумерках я пришел снова в тихий переулок. В окне у Божа не горел свет. Еще не вернулся, подумал я и отправился шляться по бульварам. Вернулся и снова увидел, что света нет. Опять вышел к Кропоткинскому метро и, взглянув на часы, увидел, что двенадцатый час. Тогда я решительно возвратился в переулок. И тут, прежде чем убедиться, что света нет ни в окне Божа, ни в окне его хозяйки, я почувствовал, как что-то черное промелькнуло у моих ног.

Это была черная кошка.

Я постучал в окно, позвонил в дверь. Никто не откликнулся. И я понял — Божа нет дома, черная кошка пробежала неспроста.

Что делать? Не барабаня больше ни в дверь, ни в окно, поскорее убраться отсюда. Куда идти? Час уже поздний.

И я подался на вокзалы. Деньги у меня были. Сесть в первый попавшийся поезд, уехать куда-нибудь, чтоб ехать до утра, потом с обратным поездом обратно, так сообразил я, входя в Октябрьский вокзал, откуда навстречу мне появилась уборщица с двумя пустыми ведрами.

Я позабыл подробности всего этого происшествия, помню только одно: стенное расписание возвестило мне, что через десять минут отправляется ленинградский поезд, и я, подойдя к соответствующей кассе, убедился, что билеты все проданы.

— Нет же билетов! — сказала мне кассирша и захлопнула окошечко.

Опечаленный, я направился к выходу. Но тут в дверях навстречу мне шла уборщица теперь уже с двумя полными ведрами воды. И я вспомнил примету: пустые ведра — неудача, полные — удача.

Пропустив уборщицу, я пошел вслед за ней обратно к билетным кассам. И о чудо! Окошечко кассы открылось, и кассирша слабеньким голоском выкрикнула:

— Есть место на ленинградский поезд. Плацкартное!

Через несколько минут я уже лежал на верхней полке, а еще через несколько минут заснул.

Проснулся перед Калинином. Тут я сойду, решил я, посмотрю город, музей, а там видно, что будет.

А сойдя на калининский перрон, я то ли услышал радио, то ли еще что, но в ту же минуту как-то узнал, что идет продажа билетов на Москву. И минут через десять я уже мчался обратно, любуясь утренними пейзажами.

Вечером все же решился приблизиться к тихому переулку. Я еще раздумывал, идти или не идти. Но из-за угла у аптеки вдруг показался Бож.

— Негодяй,— сказал я,— как тебе не стыдно! Из-за тебя я съездил в Калинин и обратно!

— Дурак,— ответил он мне.— Разве ты не догадался, что я был пьян. Я был дома. Надо было стучать как следует. А хозяйки дома не было, она ушла в гости.

— Так расскажи, почему тебе не понравилась моя поэма. Тебе ничего мое не нравится, декадент! — сказал я.

— Почему ты думаешь, что мне не нравится твоя по-

эма? Мне не нравится, что она длинна. Разве в наше время можно писать так длинно? Надо писать поэмы максимум в двенадцать строк!

В этом был резон, вообще говоря. Но мы не сумели закончить разговора на эту тему, заговорив о чем-то другом.

После этого мне года три не случалось увидеться с Божем, а в начале Великой Отечественной войны бывший прапорщик, ринувшись в ополчение, погиб смертью храбрых, обороняя Москву.

Рабкор Барсуков

Еще к вопросу об осознании исторического прошлого, как любят выражаться в наши дни публицисты.

...Он так и подписывался под своими заметками и статейками в омской газете «Рабочий путь»: рабкор Барсуков.

И по смыслу и стилю своих корреспонденций, либо сугубо технических, либо разоблачительных — «Призвать к порядку», «Где охрана труда?» и т. п.,— и по внешнему виду, и по одежде, по кургузому пиджаку и кепке с пуговкой он был рабкором, этот рабкор Барсуков. И на меня, поэта, он смотрел более чем снисходительно.

— Что ты трешься в отделе рабочей жизни? — сказал он мне однажды.— Что ты понимаешь в производстве? Иди отбивай хлеб у хроникеров!.. Возьми архивы либо ударяй по театру!..

Но в отдел рабочей жизни меня упрямо толкал редактор Лебедев, партийный работник, человек взглядов широких, мечтавший напитать меня, футуриста, истинно пролетарским, индустриальным духом.

— Коли ты писатель, заглядывай в гущу жизни — на заводы и фабрики,— говорил он.— Иди в отдел рабочей жизни, скажи, что я поручил тебе побывать на производстве!..

И я не желал огорчать редактора, ибо этот высоченный дядя, сущий гренадер, лейб-гвардеец, несший некогда караул при особе самого Николая II, страдал туберкулезом и от раздражения болезненно розовел и начинал покашливать. Я всегда выполнял его просьбы, хотя, как сотрудник внештатный, имел полное право его и не слушаться.

Так мало-помалу привык ко мне и рабкор Барсуков. Мы, кажется, иногда вместе бывали — или встречались — и на фабриках и на заводах. И не помню, шли ли мы на завод или просто так, по улице, но помню ясно, как он вдруг, увидев какое-то ему не понравившееся лицо, воскликнул:

— Ты посмотри, сколь мерзопакостно-богопротивна сия еретическая харя!

Услышав такое восклицание, я даже остановился, как бы заново и совершенно в ином свете увидев своего собеседника.

— Ты что уставился? — спросил он меня.

— Уж больно хорошо ты выразился! — ответил я.

— А почему бы мне так и не выразиться? — возразил он, усмехнувшись.

С того раза мы как-то стали беседовать чаще и чаще. Он не поражал меня больше такими выражениями, как тогда. Но вскоре как бы вскользь, между обычными, обыденными словами вдруг вставил цитату из моих стихов и, кстати, для сравнения еще из чьих-то. Но когда я, для того чтобы поддать жару, произнес еще какие-то стихи, он вдруг замкнулся, как бы ушел в скорлупу, перешел на иронию. И я понял, что он, искренне мне симпатизируя, все же не хочет ни блистать своими познаниями, ни особенно сближаться со мной...

Много времени, почти полвека, прошло с тех пор. Давно уже умер славный редактор Лебедев, искренне желавший мне добра и выручавший меня, а потом и нас с Ниночкой из многих неприятностей, мелких и крупных, говоря свое веское партийное слово, когда это требовалось. Давно канули в небытие и еще многие редакторы, рабкоры и собкоры.

А что сталось с Барсуковым? Что бы он сказал, прочтя эти строки и проверив в памяти, так или не так я описал наши с ним встречи? Не знаю. Не знаю даже, как он жил, был женат ли он или холост. Но для меня несомненно, что у него был свой, далекий от моего, круг знакомств и привязанностей, я не ведаю, какой именно. Повторяю: я ничего не знаю о его жизни большего, чем сказано выше, и могу добавить только, что в редакции газеты он был естественно близок к сотрудникам-коммунистам, имевшим очень мало общего со мной, грешным. У них были свои интересы, эти товарищи чаще всего замолкали, когда среди них нахально появлялся я, беспартийный поэт-подро-

сток, да еще футурист. Все они реагировали на меня несколько нервически, но именно по-разному. Так, например, секретарь редакции Суханов, человек желчный, вообще считал, что мне нечего делать в редакции. Румяненький и пухленький даже в своей заскорузлой кожаной куртке, Вася Том обличал меня в мелкобуржуазности. Аскетически бледный Нугис, человек, в сущности, очень, вероятно, хороший, самозабвенно занимавшийся обращением в коммунистическую веру латышских батраков и бедняков из соседних с городом деревень, просто спокойно смотрел мимо меня своими голубыми глазами. Словом, по-настоящему тепло относились ко мне только редактор Лебедев, репортерка Лина Матус да и рабкор Барсуков, который, как ни пытался спрятать от меня это свое хорошее отношение, скрыть его все же не мог и, как мне кажется, находил какое-то удовлетворение или разнообразие в отрывочных, я бы сказал — скрыто-поэтических, разговорах со мной.

Возможно, что все это покажется моей фантазией, гипертрофированными воспоминаниями. Но с другой стороны, мне отчетливо помнится, что не кто другой, а именно рабкор Барсуков весьма саркастически усмехался, глядя на молодых вапповцев, рабфаковцев, которые много — и громко и нравоучительно — толковали о том, какой должна быть пролетарская литература, а сами, кроме малосвязных и зачастую просто малограмотных статеек на эту тему, ничего не писали.

— А почему ты сам не пишешь чего-нибудь капитального? — спросил я его однажды.

— А почему ты знаешь, что я не пишу? — усмехнулся он.

Но мне вспоминается, как через несколько дней мы снова идем с ним и я его спрашиваю опять же:

— А почему ты сам не пишешь? — А он усмехается, и я снова спрашиваю: — А что ты читаешь?

А он отвечает:

— А ничего! Мысль изреченная есть ложь!

— Ах ты, значит, читаешь Тютчева?!

А он усмехается:

— А почему бы мне не читать Тютчева?

«Так, может быть, об этом он и пишет!» — догадываюсь я.

Может быть, я ошибаюсь, путаю, идеализирую рабкора Барсукова, приписываю ему те эмоции, которых у него

вовсе и не было! Проверить это теперь мне трудно, я давно потерял из виду не только самого Барсукова, но и тех, кто мог бы о нем знать. Кто остался жить? Твердо знаю, что до последних лет была жива и здорова только Лина Матус — после многих лет она дала о себе знать, что живет близ Перми, той самой Перми, в которой оказался напоследок и один из позднейших редакторов омской газеты — Борис Никандрович Назаровский. Назаровский — человек мудрый, высокоинтеллигентный, знаток Великой французской революции и марксизма, не терял времени даром: он выпустил в Перми книжку о Гайдаре и другую — о рабочем движении в Приуралье, а потом принялся за третью, и я думаю, очень интересную, книгу — о медведе в зоологическом, историческом и фольклорном плане. А вот Лина Матус могла бы написать интересную книгу воспоминаний, в которой, вероятно, нашлось бы место и для рабкора Барсукова. Она-то знает, наверное, хоть кое-что о его судьбе. А я смутно припоминаю лишь одно: кажется, мне кто-то говорил, что Барсуков уехал из Сибири работать на Сахалин. Может быть, он жив до сих пор и, если не с Сахалина либо Камчатки, то откуда-нибудь из другого места следит и за эволюциями моей творческой жизни. И я уверен, что он при всей своей стыдливой и скрытной любви к русской литературе вообще и к древнерусской в частности конечно же не стал бы рядиться ни под плакатного пролетария, ни под златорогого бирюча славянофильства.

Князь Звенигородский

Нет-нет да и слышу опять о Звенигороде. Что за чудесные места, какие замечательные памятники старины! Рублевские фрески! И представьте, столько грибов под Звенигородом, столько ягод!

А я ведь знал и князя Звенигородского! Старого князя Андрея!

Я познакомился с ним в ресторане клуба писателей осенью 1944 года. Бывший князь Андрей был бледен, хил, ходил прихрамывая — видимо, у него был полиомиелит, и князь еще с детства не расставался с палочкой. И я помню, что в дурную погоду, опасаясь, как бы он не упал, поскользнувшись, и не рассыпался вдребезги, как хрупкий фарфоровый сосудик, я при выходе из клуба брал

под руку и подсаживал в трамвай или автобус этого хилого князя, тщедушного отпрыска одной из древнейших фамилий моей отчизны.

В канун 1945 года я был, слава богу, не мальчик, а почти сорокалетний, видавший виды литератор и, в общем, представлял себе, что подсаживаю в трамвай не кого-нибудь, а Рюриковича чистой воды. Правда, я тогда не приобрел еще у букиниста «Российскую родословную книгу», из которой впоследствии узнал, что род князей Звенигородских ведет начало от самого́ «Святого Благоверного Князя Михаила Всеволодовича Черниговского», что был «замучен по повелению Батыя, в орде, за отказ поклониться кумирам Монгольским». Потомкам этого князя открылась довольно широкая дорога. Так, один из потомков этого князя, князь Ростислав Михайлович, стал сперва князем Новгорода Великого, а затем Баном Мачвы и Баном Бознанским, женившись на Анне, дочери короля венгерского Белы; а другие потомки через род князей Одоевских и Новосильских стали родоначальниками фамилии князей Звенигородских. Но в ту пору, в конце сороковых, после войны, я еще не знал этого и не интересовался такими генеалогическими подробностями, равно как и тем, почему, почувствовав ко мне симпатию, старческим тонким своим голоском так приветливо заговорил со мной бывший князь, гораздо раньше, чем я стал его подсаживать в трамваи и автобусы. Теперь я догадываюсь, что это было не просто ради моих прекрасных глаз, а потому, что князь Андрей, вероятно, прочел в библиотеке клуба мою книжечку, в которой было стихотворение о гербах подмосковных городов, обретших в годы войны свою новую славу. Впрочем, ни об этой книжке, ни о гербах, ни о родословных, ни, в частности, о Звенигороде никаких разговоров не заходило и тогда, когда я, бывало, будто бы по случаю того, что мне надо в ту же сторону, ехал с князем Андреем в трамвае, виляющем по Замоскворечью, в направлении к Даниловскому универмагу, близ которого князь Андрей жил в новом доме.

Да, у бывшего князя Андрея была новая комната в новом доме, как далеко не у каждого некнязя, верней, не бывшего некнязя в Москве тех лет. Я, конечно, не спрашивал старика, как он заполучил себе это жилище, однако из отрывочных разговоров смутно выяснилось, что тут сыграло роль прошлое: во-первых, очень глубокое, ведь князья Звенигородские, как-никак чистокровные Рюриковичи

пятнадцатого колена, всегда с презрением относились к выскочкам Романовым, заскочившим на российский престол. Кроме этой давнишней наследственной неприязни, князь Андрей имел не только некоторое отношение к литературе («Пописывал, знаете, еще с юности»,— сказал он скромно), отчего он и был членом Литфонда СССР, но и к политике, то есть был знаком и оказывал содействие некоторым революционерам, большевикам в старое время. И новая Россия ответила ему, старому князю, тем же самым — добром за добро, вниманием за внимание. Вот почему в числе всего прочего у него, старика, оказалось и скромное, но приличное обиталище в новой Москве, близ радиовещательной башни Шаболовки.

А я? Я жил тогда на другом конце города, почти в лесу, где, как шутя я рассказывал князю, бегают волки.

И помню, как однажды в сумерках, проводив Андрея Владимировича до дверей, верней, до подъезда его дома, я протянул старику руку на прощанье.

А ветер выл. И над Замоскворечьем летел колючий, могучий снежище.

И князь Андрей сказал:

— Леонид Николаевич! Не надо ехать вам сейчас на другой конец города, почти в лес. Там сейчас бегают волки и медведи. Прошу вас, поднимитесь к нам, мы с супругой будем очень рады!

А может быть, я путаю и он сказал мне эти слова не по собственному почину, а просто в ответ на мое хмурое заявление, что что-то домой мне ехать сегодня не хочется.

Словом, так или иначе, но он ответил мне то, что ответил, и я оказался в гостях у князя с княгиней.

Бывшая княгиня (к величайшему моему сожалению, я запамятовал, как ее звали) оказалась милой, доброй, нет, не дамой, а именно женщиной, совершенно потерявшей какой-либо пошлый аристократизм, а может быть даже, скорее всего, никогда его и не имевшей. Эта милая женщина напоила нас чаем, и, пока мы с князем беседовали о Добролюбове — не шестидесятнике-критике, а о девятидесятнике, мало известном широкой публике русском поэте-символисте,— и о других представителях так называемой школы декадентов, она приготовила мне постель, в которую я вскоре и улегся, пожелав хозяевам спокойной ночи.

Наутро, выпив чаю и получив в подарок от князя Андрея томик Бальмонта — это я помню точно: томик с трогательной дарственной надписью на нем от князя цел у

меня и до сих пор,— я покинул гостеприимных хозяев, обещав в самое ближайшее время обязательно прийти к ним в гости снова.

Но, увы, я не исполнил этого своего обещания. И страшно признаться, что это так: с тех пор я вообще не виделся с князем Андреем. То есть встречались несколько раз в ресторане, выходили вместе из клуба и шли до угла на площадь Восстания, а оттуда — на Герцена, где обменивались прощальными приветствиями, помахивая друг другу руками в перчатках или без них, смотря по сезону. А разговоров уже не возникало никаких. Даже наоборот: я помню, как я опускал глаза, чтоб не видеть, как князь Андрей, глядя на меня задумчивым взором своих выцветших голубых глаз, сомнительно пожевывает бледными, розоватыми, как и его щеки, губами. Но через некоторое время прекратились и эти наши молчаливые встречи-прощания, завершавшиеся столь мимически.

Почему прекратились?

Дело в том, что однажды у меня в руках оказалась его книга. Нет, не тот томик Бальмонта, который он подарил мне, а его книга, его маленькая, в шестнадцать страничек, книжечка, отпечатанная в 1906 году в Москве, «в типографии об-ства р. п. книг, арендованной В. И. Вороновым, Моховая, дом князя Гагарина».

Давно уж не стало на Моховой того старого ряда домов, в числе которых был дом князя Гагарина, ни, само собой, типографии, в которой была отпечатана эта книжечка князя Андрея под названием «Delirium tremens», что, как известно, означает заболевание, развивающееся при злоупотреблении спиртными напитками: белая горячка. Давно нет и следа того печатного станка, но до сих пор у меня замирает дух при воспоминании о том, как я был груб, неучтив, несправедлив по отношению к князю Андрею.

Стих — кровавое дно,
Где безумствует жрица,—

прочел я сперва эпиграф. А затем стихи, например, такие, как «Пан»:

Страсти мне не утешенье.
Я в любви, как пума, смел;
Я звериное хотенье женских тел.

Вспоминая все это теперь, я, конечно, понимаю, почему мне тогда не захотелось больше разговаривать на литера-

турные темы с деликатнейшим и милейшим князем Андреем. Говорить — значит в той или иной степени упоминать и об его книге. Вот этого-то я и хотел избежать!

Но не понимаю другого: почему я тогда не дочитал книжечки до конца, почему я не прочел тогда внимательно последнее стихотворенье: «Ignis sanat» — «Огнем излечивается»?

Во мне проснулись красные пожары.
Люблю я гул и взрыв подземных сил.
В них все постигну бешеные чары.
Пришел я опрокинуть власть могил.

Так оно начиналось, это стихотворение, кончающееся:

Воскреснем все от жгучих исступлений,—
Низвергнув старый, в новый вступим мир.
Уж близок час всемирных воскресений.
Зову я всех на предстоящий пир.

Конечно, если бы я прочел всю книжку целиком и до конца, я бы мог сказать несколько теплых слов князю — например, то, что он в 1906 году как бы предслышал некоторые интонации блоковских «Скифов», написанных, как известно, на двенадцать лет позже:

Последний раз опомнись, старый мир,
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира.

Впрочем, князь, и весьма справедливо, принял бы это за насмешку.

Словом, когда я иду по улице Герцена от площади Восстания, я вспоминаю о князе Андрее, маленьком, тщедушном человеке с палочкой в руках. Но на Моховой, у Манежа, где была типография В. И. Воронова в доме князя Гагарина, я будто вижу через Кремлевскую стену некую усыпальницу в Успенском соборе, где был погребен и покоился многие столетия Благоверный Князь Михаил Всеволодович Черниговский, породивший многих разных потомков, в том числе и исчезнувших ныне с нашего горизонта князей Звенигородских.

Всеволод Иванов

Мои воспоминания о Всеволоде Иванове чрезвычайно разрозненны и, я бы сказал, сумбурны.

А вспоминается так.

Я держу в руках только что вышедший первый номер журнала «Искусство» — восхитительный омский журнал, украшенный прекрасными рисунками: недаром он издан в тесном содружестве с деятелями Художественно-промышленного техникума имени Врубеля! И я читаю — мне семнадцатый год! — с удовлетворением читаю в этом журнале не только свои стихи, но и замечательные поэтические примитивы под названием «Киргизские самокладки»: «Той», «Башмачки» и еще одну. Кто написал это? Я знаю. Мне сказали. Да я и сам видел несколькими годами раньше этого поэта, который тогда почему-то под псевдонимом Тараканов вступил в единоборство с самим Давидом Бурлюком. Это было, когда отец российского футуризма проездом в Америку устроил попутно диспут в Омске. Как же! Бурлюк, со свойственным ему апломбом, провозгласил тогда: «Вот еще один таракан на бревне моего внимания!» Но этот Всеволод Тараканов разделал Бурлюка под орех. Он припер Бурлюка к стенке, доказав как дважды два, что Давид Давидович не столько футурист, сколько пассеист, эстет, доитель изнуренных жаб, падких на цирковые трюки. И тогда, еще совсем мальчишка, я был восхищен этой схваткой, где Давид с Голиафом поменялись ролями. И вот теперь я читаю стихи этого бурлюкобойца и восхищаюсь, и мне очень хочется познакомиться с ним. Я уже однажды писал, как познакомился с ним.

— Познакомиться со Всеволодом Ивановым? Конечно, можно! — говорит мне король писательский Антон Сорокин.— Пойдемте!

И я уже не помню: было ли это после того, как я увидел Всеволода Вячеславовича, читавшего свою повесть — кажется, «Фарфоровая избушка», в общежитии сотрудников «Советской Сибири» на Мокринском форштадте в бывшей гостинице «Деловой двор», или это было еще до того литературного вечера, но я помню Антона Сорокина, произносящего:

— Пойдемте, пойдемте. Это недалеко, по соседству.

И мы идем по Лермонтовской, и действительно поблизости от дома короля писательского, дома, построенного, как Сорокин объяснил, на доходы от литературного труда и поэтому не национализированного Советской властью, я вижу домик не домик, избушку не избушку, во всяком случае, не фарфоровую, а деревянную — словом, нечто вроде павильончика, в дверь которого мы и стучимся. И нам от-

крывает коренастый, толстогубый, в рубашке-апаш обитатель этого строеньица.

И вот мы внутри обиталища. Белая — видимо, беленая — комнатка своей белизной как бы компенсирует свою максимальную безмебельность и нефешенебельность. На легоньком столике и на подоконнике — белые листы бумаги. И Всеволод Иванов в белой рубашке-апаш вручает мне то, что я хочу получить: белую тоненькую книжку «Рогульки». Это очень хорошая книжка рассказов, которые понравятся мне отнюдь не меньше, чем стихи Иванова. Но будущий маститый прозаик останется навсегда в моей памяти и как автор многих, многих неповторимо прекрасных стихов. Я уже писал, что на всю жизнь мне запомнились, например, строки, прочитанные мною впервые в тексте одного из рассказов Антона Сорокина: «На улице пыль, да ветер, да плач колокольного звона. Никто почти не заметил, как пронесли икону, две старушки, перекрестясь, оправили полушалки, город Ламанчский князь смотрит смущенно и жалко». Я, прочтя, сразу сказал Сорокину: «Это Всеволод Иванов!» — «А почему бы и нет?» — ответил Антон.

Я уверен, что и многие другие стихотворные вкрапления в тексты Антона Сорокина принадлежат Иванову. Например, начало вот этого сорокинского манифеста: «Мы, шут Бенецо в газетном колпаке, кривляемся на подмостках мысли человеческой. Лицо наше размалевано, и одеяние в тусклых блестках. Перед вами наши владенья! Мы пришли лицезреть виденья!»

Это так похоже на написанную более чем через четверть века прозаическую фразу Иванова: «на кафедру вечности вышел человек в короне». Я прочитал это в записных книжках Иванова: вот почему я думаю, что и начало манифеста — это наверняка Всеволод Иванов в блеске своего, тогда еще совсем молодого, таланта, дарящий строки старшему своему собрату. Правда, позднее они охладели друг к другу. Мне кажется, что это охлаждение началось еще с периода сорокинских заборных выставок,— я уже писал о том, как однажды Всеволод Иванов с явной иронией взирал на скандальное уличное скопление, предвкушая, как Антона Семеновича начнут забирать в милицию. Но Антон Семенович все-таки перехитрил рассудительного Всеволода Вячеславовича, и когда конная милиция действительно появилась и начальник всадников грозно вопросил: «А кто тут король писательский Антон Со-

рокин?» — то последний с нескрываемым злорадством указал на ухмыляющегося в толпе Всеволода Вячеславовича: «Вот он, этот кучерявый!» Уже и во всем этом было нечто, предвещающее будущий разрыв, который и произошел после отбытия Иванова по вызову Горького в Петроград. Тут уж Антон Семенович рассердился не на шутку: почему Всеволод не содействует печатанью его, сорокинских, произведений в столичных журналах! «Он мой ученик и должен немедленно добиться издания полного собрания моих сочинений!» — сердился Сорокин и писал ругательные письма Иванову, и жалобы на Иванова, и пасквили на него. «Эти ваши выходки нелепы!» — сперва смеялся, а потом и сердился я. «А вы ничего не понимаете,— ответил он мне.— Он так же должен печатать и вас!»

Я не предъявлял Иванову таких требований и вообще мало думал об этом. Впрочем, однажды, еще раньше, я послал Всеволоду Вячеславовичу какие-то свои стихи, а он вежливо и разумно ответил, что ему лично эти мои стихи нравятся, но вот беда: редакторы такого мнения не разделяют. «Привет, работайте, чертеняка, и не пьянствуйте, не безобразничайте!» — было написано в конце этого письма. И я не особенно огорчился — вообще, насколько мне помнится, я никогда не рассчитывал на протекцию, и мне до сих пор кажется странным, как могут поэты добиваться разных путевок, рекомендаций и «антоно-сорокинских» удостоверений в гениальности от собратьев своих по перу. «Надо, чтоб редактор и думать не посмел не напечатать!» — так полагал я. Но как-то раз, явившись в Москву, куда уже перебрался из Ленинграда и Всеволод Вячеславович, я решил — вовсе не для проталкивания стихов, а просто так — зайти к нему в гости, в его обиталище, но мне сказали, что Всеволода Иванова нет дома. Обо всем этом я рассказываю в «Воздушных фрегатах».

Я не искал встреч со Всеволодом Вячеславовичем позже, когда он печатал в «Красной нови» стихи мои и новеллы, я не сталкивался с ним лицом к лицу — печатает, и ладно! Но всегда и всюду я не упускал случая высказать свое глубокое уважение к творчеству Всеволода Иванова. Его книги, несмотря на отсутствие личных контактов с их автором, все больше волновали меня. Не скажу, что все его видения были вполне согласны с моими. Приняв его поначалу как прекрасного поэта и высоко оценив затем как прозаика, я некоторые его произведения все-таки одно время не мог читать спокойно и, так сказать, согласно.

Суть в том, что он, по свойствам своей натуры и по велению своей души, зачастую изображал и мужчин и женщин, и горожан и крестьян, и европейцев и азиатов не совсем такими, какими я, по свойствам своей натуры и по побуждениям своей души, хотел бы их видеть. И не то чтобы он живописал неверно, нет, я понимал, что он не лжет и не ошибается: они, эти люди, разумеется, и были и есть такие, какими он их показывает, но блистательная вивисекция психологического нутра этих моих современников и особенно современниц — всех этих Фиоз и Олимпиад — зачастую казалась мне слишком уж беспощадной. Я тогда хотя и сталкивался с жестокой правдой жизни, все-таки хотел бы видеть людей красивее, романтичнее, чем он выдавал их напоказ мне. В этой жестокой, хотя и безусловной, ивановской правде было что-то еще непонятное, еще до времени не необходимое мне, юнцу. В его видениях было что-то от Достоевского и от собственного всеволодивановского наставника Максима Горького, который, как я догадываюсь, и сам был нелюбителем Достоевского именно потому, что в нем самом, в Горьком, бушевала та же самая стихия жестокого и неутешительного правдолюбия. Правильны ли эти мои выводы, я до сих пор точно не знаю и сам, но, во всяком случае, я далеко не сразу привык купаться в горячей, жгучей и не всегда приятно благоухавшей стихии чувств ивановских героев, в этом амбре назёма, крови, овчин и пота. И может быть, лишь по мере того, как я сам становился все менее романтичен и юношески нежнодумен, а он, Всеволод Иванов — песнопевец революции и живописец эксцессов гражданской войны — становился все более любомудрым и, так сказать, интеллектуальным, а окружавшее нас бытие если не становилось, то казалось все более и более упорядоченным, я окончательно свыкся с вселенной Всеволода Вячеславовича Иванова, столь непохожего на скучновато-благопристойную, несмотря на весь свой книжный вакхизм, вселенную Вячеслава Ивановича Иванова, или на эстетский мирок Георгия Иванова, или на идеалистическую эсеровскую черноземность Иванова-Разумника. Называя все эти фамилии, я занимаюсь не игрой в имена, а говорю о том, к чему меня подготовляла предреволюционная действительность. И, ставя все эти имена на свои места, я с удовлетворением убеждаюсь, что таким образом создается довольно ясный фон для характеристики Всеволода Иванова —

характеристики весьма положительной, что и требовалось доказать.

Это я и доказывал так или иначе всем и каждому, увы, кроме самого Всеволода Иванова, с которым я все-таки в конце концов стал уже во второй половине века время от времени сталкиваться на всяческих житейских перепутьях. Помню, например, нашу послевоенную встречу в прохладных коридорах ГИХЛа. Тут уж никакая тень Антона Сорокина не встала между нами, хотя в полумгле и поблескивали мантии всевозможных королей и королят писательских. «Здравствуйте, Всеволод Вячеславович, давно мы не виделись!» — «Здравствуйте, Леонид, рад видеть вас живым и здоровым, не мальчиком, а зрелым мужем!» И вспоминается другая еще встреча, разговор в начале шестидесятых на каком-то совещании в Доме литераторов. «А вы, Мартынов, помните поэта такого-то?» — «Я помню, но не знал его лично, я был еще совсем зеленым подростком, когда он погиб».— «А знаете ли вы, что он оказался не колчаковцем вовсе, а нашим!» — «Вот как? Да, действительно, ведь он был талантлив, а гений и злодейство — две вещи несовместные!» — «Да, да, он был нашим! У меня есть такие сведения!» Какие сведения, я так и не узнал, разговор этот был незадолго до смерти Всеволода Иванова... Конечно, у нас было бы о чем поговорить: о глубоком и не столь глубоком прошлом, о жизни и, главное, о его, всеволод-ивановском, творчестве, которое, я повторяю, всегда меня волновало и наталкивало порой на самые, казалось бы, неожиданные мысли. Я очень жалею, например, что не нашел случая рассказать Всеволоду Вячеславовичу о том, что образ одного буйного и непримиримого комиссара из «Голубых песков», образ решительного и энергичного комиссара, каких мне и самому доводилось встречать в двадцатые годы, помог мне понять натуру замечательного деятеля искусства наших времен — Всеволода Мейерхольда. Всеволода Эмильевича Мейерхольда, славного фантаста, ходившего с пистолетом у пояса и ждавшего со дня на день наступления Мировой Революции! Спросить бы: «А вам, Всеволод Вячеславович, не приходило на ум, что один из ваших героев, комиссар двадцатых годов, чем-то похож на Мейерхольда и наоборот?!!» Что бы сказал на это Всеволод Иванов, драматург, автор знаменитого «Бронепоезда», отдававший, впрочем, свои симпатии не театру Мейерхольда, а МХАТу? Думал ли сам он о том, о чем я говорю? Вероятно, нет. Так же как, вероят-

но, он, Иванов, творя свою историко-фантастическую повесть о Сизифе, сыне Эола, и думать не думал о том, кого мы, читатели, будем прозревать в том или ином из персонажей этого произведения, кто из нас кому покажется македонским воином, кто — Сизифом, кто — тем человеком долин, во благо которого прощенный Зевсом Сизиф решил не бросать своего сизифова труда. И не однажды, перечитывая эту блестящую новеллу, я представлял себе очень реально ту гору, на которой происходили все эти фантастические события. Прообразом этой горы, я думаю, конечно, явился Карадаг, та самая гора поблизости коктебельского Дома писателей, вершина которой фигурирует в одном из последних романов Иванова — «Вулкан».

Этот потухший, а может быть, и неоднократно оживавший вулкан Карадаг, как я слышал от геологов, не однажды в силу стихийных причин погружался в соленые воды, уходил с головой в море и снова возникал над его поверхностью, и мне кажется, что в этом обстоятельстве есть нечто сходное и с судьбой Всеволода Иванова, пережившего целый ряд уходов, как бы в небытие, и последующих возвышений. Его творчество если и погружалось в полузабытье, то лишь затем, чтоб снова возникнуть на горизонте читательском горой, подобной старому доброму Карадагу. И во всяком случае, я уверен, что люди грядущего века взглянут на наши времена как бы с высот именно такого потухшего — навсегда ли? — вулкана, полного самоцветами и старыми тайнами «Тайного тайных»!

Об Асееве

Художник приходит в мир для того, чтоб, увидев этот мир заново во всей его неповторимости, поделиться увиденным с великим множеством людей, людей разных судеб, уровней, настроений. Это вовсе не значит, что художник потакает всем вкусам, нет, иногда он говорит не только в голос с вами, а спорит, обличает, убеждает, но делает это так, что об этом не позабудешь. И в чем-то да намечаются в конце концов точки соприкосновения между подлинным художником и человечеством, которое не меньше, чем в хлебе насущном, нуждается и в пище духовной.

После вышесказанного, казалось, я должен бы прежде всего процитировать стихи Николая Николаевича «Еще за деньги люди держатся», но тем не менее я процитирую

не эти стихи, а другие, много более ранние, те самые, которыми он как бы заявил мне о своем существовании, как бы протянул мне руку, чтоб я ощутил не только пясть, но и запястье, не только рукопожатье, но и биение пульса, не только у него, но и у себя,— словом, темп времени.

Это было в двадцатых годах, насколько я помню, еще в первой их половине. Я позволю себе быть точным, то есть вспоминать об этом именно так, как это вспоминается, вспоминать без подробностей, но от этого-то и особенно ясно.

Это был какой-то журнал, я забыл, как он назывался, но тем более отчетливо мне вспоминаются ритм и смысл того, что я прочитал.

Речь шла о кино, потому что на экране

Кончалась и вновь начиналась сначала
Не лента, а жизнь сама.

И конечно, суть была именно в ней, не в ленте, а в жизни. Мне показалось, что это касается как будто всего на свете:

и если механик движенье утроит
в разгаре сплошных погонь,
от тренья нагреется целлулоид,
и все зацелует огонь!

Это был тот ритм, в котором жил и я. Это были стихи, попавшие в точку. Это и была первая точка соприкосновения между Асеевым и мной. Так начался контакт, знакомство и все то, что дало сейчас повод для воспоминаний.

Нет сомнения — он жил именно в этом темпе. Я не знаю человека более экспансивного, более горячо откликавшегося на все вокруг, будь то события поэтические или политические, будь то вопросы, касающиеся этики или энергетики, образа мыслей новых живописцев или древних летописцев. Он ревниво умел различать новое в старом и старое в новом и находить тем или иным явлениям свое место во времени. Он не мог жить без общения все с новыми и новыми людьми и был одним из самых неутомимейших творцов и искателей живого слова.

Я помню, как он с терпеливой нетерпеливостью заставлял читать новые стихи своих гостей-поэтов, у которых не было в данный момент ничего нового, с их точки зрения достойного прочтения. Молчанье поэтов казалось Асееву чудовищным. И помню, как один поэт пришел с подарком — с новой книгой своих стихов — и больной Асеев тут

же прочел ее вслух, всю целиком — шестьдесят стихотворений. Прочел ее нетерпеливо, как-то даже деловито, не для присутствующих, а явно для себя. В наше время порядочно утомленных голов такая вещь редкость, во всяком случае, я больше не встречал человека с таким любопытством к творчеству своих современников. И сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о том, что сам я еще ни разу не поступал так, когда кто-нибудь дарил мне свои или не свои книги. Обычно скажешь «спасибо» и отложишь с полным сознаньем своей правоты, чтобы прочесть внимательно, но позже, на досуге. А он прочел книгу тут же за столом, за тем самым обеденным столом, за которым сиживали у него самые разнообразные люди: рядом с Оксаной и ее милыми сестрами я помню там и Пастернака, и Петникова, и физика Ландау, и словотворца Крученых, и всякую молодую поросль, жадно внимающую рассказу Асеева о тех, чьи тени присутствовали там почти зримо — о Маяковском и Хлебникове, Василии Каменском, Бурлюке, и о тех, чьи незримые тени, казалось, приобретали плоть и кровь — о Кирше Данилове и Даниилe Заточнике и о неведомом авторе «Слова о полку Игореве».

Словом, Николай Николаевич Асеев жил в кругу самых разнообразных интересов современности и прошлого, как недавнего, так и глубочайшего. Он жил любопытствуя, жил жадно и реагировал на все в полную мощность. Было бы пошлым сказать, что он *легко* раздражался, нет, раздражался он, человек тяжелобольной, не легко, а тяжело, и, глядя на него, я постоянно думал о том, как реальна опасность того, что действительно «все зацелует огонь».

В таком именно состоянии, нет, не состоянии, а именно в движении был он сам. Он так жил. Вся его деятельность свидетельствует об этом. Состояние спора, состояние полемики было естественным для него состоянием:

Кончалась и вновь начиналась сначала
Не лента, а жизнь сама.

Конечно, все это — о самом себе. Ведь не одной, а по крайней мере двум эпохам принадлежит он. Сколько раз как будто кончалась и вновь начиналась сначала жизнь, ее творческие этапы и обновления. Когда он писал лучше всего? Конечно — с самого начала, и потом в середине, и потом в самом конце жизни. Тут я не буду ничего цитировать — каждый пусть по собственному разумению выберет строки из ранних, зрелых и поздних стихов Асеева.

И каждому найдется, и притом самое разное, в каждом отдельном случае. И будут спорить, как он и сам часто спорил с другими: «Нет, не это хорошо, а вот это!» И этот спор, вечный спор читателей, вечный спор критиков, будет свидетельствовать о широчайшем диапазоне его творчества. Такой поэт для всех — и для высокограмотных, и для полуграмотных, малограмотных, которые, может быть, даже и не знают и имени Асеева, и в глаза не видели его книг, но слышали и запомнили его стихи, ставшие народною песней: «Никто пути пройденного у нас не отберет...»

Впрочем, кое в чем сойдутся если не все, то большинство: те или иные стихи будут вноситься в хрестоматии, как вносятся уже и ныне.

Но напоследок заглянем не в хрестоматии, а в ту самую, пожалуй и самую раннюю, маленькую книжку Асеева, которая стала теперь библиографической редкостью:

«Вот захлопнется книга, и душа моя уйдет дремать на книжную полку»,— писал он в 1913 году в послесловии к этой юношеской своей книге «Ночная флейта». Как всякий подлинный поэт, он писал, конечно, чистую правду. Правду для тех времен. Но к счастью, в дальнейшем все сложилось не так. Действительно, было время, когда его юношеская душа как бы и уходила дремать на книжную полку, когда его неповторимость еще только смутно выглядывала из-за частокола слов, тех слов, которые он очень скоро начал опрокидывать, ставить на дыбы, перерождать, зарождать, возрождать, превратившись из юноши в зрелого мужа, современника, соучастника, соратника Великой Революции.

Его душа не ушла дремать на книжную полку.

Певец полета

Широким читательским кругам более всего известны прозаические произведения Николая Чуковского — его рассказы, повести, его роман «Балтийское небо» — роман об обороне Ленинграда, участником которой был и сам автор, а если сказать точнее — роман о летающих людях, о героических авиаторах Великой Отечественной войны, прямых предшественниках завоевателей космоса.

Однако ни в коем случае нельзя назвать Николая Корнеевича только беллетристом. Его вдохновенно-лирическая

проза есть проза поэта. В отличие от прозаиков, как правило не способных писать хорошие стихи, поэты умеют писать прозу. Прекрасную прозу писали и Пушкин, и Лермонтов, и Гюго, и Эдгар По. Что же касается Николая Чуковского, то он и начинал свою литературную деятельность как поэт, и всю жизнь продолжал писать и переводить стихи. Поэтическое наследство Николая Чуковского ждет еще своего опубликования, а сейчас речь пойдет только о переводах.

Переводить зачастую бывает труднее, чем писать собственные произведения. На переводы уходит много драгоценного времени и сил, но поэты с маниакальным упорством делают и продолжают их делать.

Ведь переводить — это не профессия, не ремесло, а потребность. Потребность переводить творения своих иноземных, иноязычных собратьев по перу присуща очень многим художникам слова. Одни переводят современников, другие — предтеч, третьи — и предтеч, и современников. Одни переводят много, другие — мало, но самое главное, как мне кажется,— переводить только то, что считаешь невозможным не переводить. И часто именно этой невозможностью не перевести преодолевается кажущаяся невозможность перевести, преодолеваются все сложности, все сопротивление словесного материала, как бы протестующего против дерзкой попытки повторить неповторимое. Ведь неповторимость — это основное качество произведения настоящего искусства. И при всей любви к тому, чьи произведения переводишь, при всей общности мировоззрения, характера, идеалов повторить неповторимое — это более чем тяжкий труд. В отличие от толмача поэт-переводчик может отлично перевести только то, что ему предельно созвучно, только то, что ему действительно по душе.

И вот когда я читаю Шиллера в переводе Николая Чуковского, то прежде всего представляю себе Николая Корнеевича в самом любимом его состоянии — летящим высоко над землею. Николай Корнеевич много путешествовал, и, куда бы он ни направлялся — в Крым ли, в Узбекистан ли, в Калькутту, или в Рим, или в Будапешт, он предпочитал пользоваться самолетом. «Предпочитаю летать»,— говаривал он. Немудрено, что и у Иоганна Фридриха Шиллера, самого старого из переведенных им поэтов, Николай Чуковский нашел то, что говорится о полете, о полете в самом высоком и широком смысле этого понимания:

...Ярко горя, лечу,
Смело правлю вперед,
Весь прикреплен к лучу.
Мглистее дыма
Небо несется мимо.

Так автор «Балтийского неба» перевел «Необъятность Вселенной» Шиллера, стихи, перекликающиеся с мечтами и реальностью нашей космической эры.

Глядь, навстречу мне странник
из тьмы спешит.
«Эй, что ищешь ты здесь?» — громко он
мне кричит.
Дерзновенно
Берег ищу я вселенной.

Шиллер умер в 1805 году. В том же году умер и другой мечтатель о будущем — венгерец Михай Чоконаи-Витез, мечтавший в видениях странных увидеть с неба родные чудные края, представлявший в своих видениях двадцатый век и время, когда

В зеленые чертоги
И свинопас придет, и землекоп убогий,
И праздник радостный, услады даровые
Для них устроит мир и все его стихии.

Переводя Михая Чоконаи-Витеза, Николай Чуковский, естественно, не мог не перевести и блестящего его преемника Шандора Петефи. Из Петефи он перевел немало. И среди этих переводов, наряду с прелестными стихами Петефи о его предтече Чоконаи-Витезе, мы видим такие близкие Н. Чуковскому по духу стихи о небесах, о тучах:

Плывут по дороге небесной
Мои дорогие друзья,
Меня они знают, известна
Им каждая дума моя.

Облик Петефи и переводы из Петефи хорошо известны читателям. Но гораздо менее известны переводы Николая Чуковского из Эдгара По, антипода и современника Петефи, умершего в один с ним год, в 1849-м. Эдгар По не был революционером и воином, как Петефи, но несомненно, что этот мрачно-пламенный фантаст, провидец вулканизма Антарктиды, был замечательным поэтом своего времени. Стихи Эдгара По переводились на русский язык многими. «Ворон» его существует в переводах и Бальмонта, и Брюсова, и Олепича-Гнененко, и Зенкевича, но труднейшую для перевода вещь — «Улялюм», как нам кажется, по-на-

стоящему удалось перевести только Николаю Корнеевичу. Только ему, певцу полета, посчастливилось так хорошо передать спор поэта с его Психеей, его душой, печальной Психеей, волочащей крылья по пыльным камням:

Я ответил: — Нас манит сияние,
Все твои опасения — бред!
Все твои колебания — бред!
Надежду и Очарованье
Пророчит нам радостный свет.
. . . .
Нас избавит от горя и бед
В темном небе сияющий свет!

Вообще если вдуматься в переводы Николая Чуковского, то становится ясно, что тема земли и неба, устремление в будущее, ощущение человека как гражданина космоса проходит в какой-то мере красной нитью через все его творчество.

В поэтическом кругозоре Николая Корнеевича Чуковского поэты как бы идут друг за другом, говорят друг с другом, друг о друге — Петефи о Чоконаи, Аттила Йожеф о Дьюле Юхасе.

Наряду с переводами из венгерской поэзии Николай Корнеевич оставил нам целый ряд переводов произведений близких его горячему и доброму сердцу представителей прекрасной поэзии польской. Тут и Мария Конопницкая, и Юлиан Тувим, и Адам Важик, и Мечислав Яструн, и многие-многие другие, чья поэзия пронизана той же близкой и дорогой для Николая Корнеевича идеей, которую можно выразить и словами всем известного поэта Броневского:

Мы завладели навеки огромным
шаром земным — за градусом градус,—
руки построят на нем бездомным
дом, где, как хлеб, разделим радость.

Конечно, тут сказано далеко не все, что хотелось бы сказать о переводах, оставленных нам Николаем Корнеевичем. Но ясно одно: как есть неповторимость в каждом настоящем художественном произведении, так есть своя неповторимость и в данном неслучайном, закономерном, логическом, эстетическом, эмоциональном сочетании этих переводов из мировой поэзии, сделанных замечательным художником слова, певцом неба и земли.

Вечные следы

О Сергее Маркове пишут теперь все чаще и чаще — и любители поэзии, и ценители художественной прозы, и знатоки истории и этнографии. И все отчетливей и отчетливей возникает образ этого авторитетнейшего, высокоталантливого, высокоэрудированного интеллигента, взыскательного художника слова, мудрого книжника. И все это верно. Но особенно понравилось мне высказывание одной журналистки, сотрудницы молодежной газеты: мол, казалось, что Сергей Марков и человек физически очень мощный. Словом, это было высказывание в том смысле, что, кроме таланта, вдохновения и т. п., надо обладать и незаурядными физическими силами, чтобы справиться с той поистине гигантской работой, которую проделал Сергей Николаевич.

И в этой связи, и поскольку речь идет о восприятии молодым поколением трудов моего сверстника и товарища, я не могу не вспомнить и свою первую встречу с ним, более полувека тому назад. Я тоже, судя по его стихам, думал увидеть перед собой если не Геркулеса, то по крайней мере крепыша — охотника на кабанов, а то и на джульбарсов. А предстал передо мной юнец, бледный и даже хрупкий, разве только стремительностью движений напоминающий всадника, прискакавшего с горячим ветром из казахстанских степей.

Мы встретились под сводами чертога муз, то есть в здании Омского городского театра, того храма Мельпомены, левый притвор которого был превращен в книжный магазин и находящийся на задах последнего корреспондентский пункт областной газеты «Советская Сибирь». И познакомил нас с ним именно представитель этой газеты — старый (на наш взгляд) поэт Георгий Вяткин. Ему очень нравились стихи Сергея про белого гуся. И, будучи человеком многоопытным и скупым на оценки, Георгий Андреевич не стал бы бросаться словами, зря сказав, что юный сотрудник «Советской Сибири» Сережа Марков обещает стать первоклассным писателем. И когда Сережа, обменявшись со мной рукопожатием, выбежал в зал магазина посмотреть книжные новинки, доходившие до Омска чуть пораньше, чем до Новосибирска, Георгий Андреевич добавил, что сей юнец не только лирик, но и сатирик, большой острослов. «Опасайтесь его языка!» И привел ряд

фактов... Про милую Нину Александровну Василевскую, печатающую стихи под псевдонимом Нина Изонги, Сергей сказал: «Где Сибогни не разогни, там всюду встретится Изонги!» Про Вивиана Итина, написавшего прекрасные стихи об авиаторах: «Авиан Пиитин!»

— Большой насмешник! Меня, Георгия Вяткина, он произвел в Георгия Святкина, и я на него не сержусь,— сказал Георгий Андреевич.— Однако опасайтесь его языка! — Но тут возвратился Сережа и попросил меня показать ему омские достопримечательности, начиная с короля писательского Антона Сорокина. Выйдя из-под свода театра, я сказал, что короля мы сейчас не застанем дома, он в эти часы счетоводствует за своей конторкой в Управлении железных дорог, а мы сперва можем зайти в краевой музей, где есть недурные чучела птиц и зверей, или наискосок от музея в экзотический подвальчик «Золотой рог».

— Сначала, пожалуй, в подвальчик! — сказал Сережа.

Но когда мы спускались с горы на улицу Ленина, бывший Любинский проспект, Сергей, заглянув в первый переулок справа и увидев бетонные кариатиды над сумрачным фронтоном здания бывшего страхового общества «Саламандра», остановился как вкопанный.

— Что это? — воскликнул он.

— Это? Это бывший Гасфордовский переулок! — ответил я.

— Гасфордовский?

И тут, несмотря на свою молодость, смешливость, он выдал мне как бы целую повесть и о пресловутом западносибирском степном генерал-губернаторе Гасфорде, порядочном самодуре, проектировщике синтетической христианско-магометанской религии для казахов и главным крепостном тюремщике Достоевского и Дурова, и об этих последних, и вообще о петрашевцах, и о декабристах в Сибири. А я слушал и думал, откуда и как он успел набраться всех этих сведений, известных, казалось бы, только мне, а отчасти мне и неизвестных, он, этот юнец, столь недавно приехавший из захолустного Акмолинска.

Он, сирота, похоронивший в Акмолинске отца, умершего там от тифа, и мать, через некоторое время погибшую от холеры, он, недавний сотрудник акмолинского Упродкома, затем уездной прокуратуры и репортер малюсеньких районных газет, конечно, он был прирожденным историком, притом обладающим и какой-то будто бы даже и на-

следственной памятью не только о родине отцов, северном крае,— недаром Сергей в юности писал под псевдонимом Вологодский,— но и обо всем, что касается великой родной страны. Причем это качество нисколько не мешало, а, наоборот, помогало ему, начинающему поэту и журналисту, острейшим образом чувствовать современность во всех ее бурных и диалектически сложных проявлениях. И пусть еще любители чистой лирики восхищались его стихами о белом гусе и горячем ветре, он уже, вдохновленный своими газетными буднями, написал сугубо городскую балладу о маникюрщице и дактилоскопе. А вслед за этим или наряду с этим он опубликовал и до сих пор еще не теряющие актуальности стихи о печальной судьбе казахского беглеца, переселенца в Западный Китай.

Все это было в двадцатых годах. Вспоминая о тех временах, Сергей Марков говорит в одной автобиографической заметке о том, что, как газетный работник, он находился в повседневной связи с путешественниками, геологами, этнографами, принимал участие в делах Общества по изучению Сибири. Все это, конечно, помогло ему в осуществлении его дальнейших литературных замыслов. Но я бы сказал и о чем-то, если можно так выразиться, обратном, то есть о том, как он, молодой литератор, порой помогал людям практики, людям дела — строителям, администраторам и руководителям самого высшего ранга. Так, например, его корреспонденция в «Известиях» о реке Нуре, однажды прорвавшей свои берега и оставившей без воды экономически важный Карагандинский район Казахстана,— эта газетная корреспонденция серьезно помогла Госплану СССР быстро и своевременно изловить убежавшую реку. Так молодой поэт боролся с безводьем, а порой и с беспечностью, с бездумьем, с бесхозяйственностью или, например, как мы увидим ниже, с беззаботным отношением к памятникам старины или архивам, которые могут столь сильно пригодиться впоследствии, ведь нельзя без знания прошлого строить грядущее. Все это, конечно, ценно само по себе, но я напоминаю об этом, чтоб показать читателям, на какой базе возникли будущие книги Сергея Николаевича, книги его стихов, его рассказы «Арабские часы», его роман «Юконский ворон», его повествование «Идущие к вершинам» и, наконец, эта ныне всем известная и всем так нравящаяся книга «Вечные следы».

Я не собираюсь пересказывать содержания ста двадцати глав этой книги, в которой стремительно и кратко

упомянуто по крайней мере тысяча двести людских имен, среди коих явственно выделяются образы подлинных героев повествования. О чем эта книга? Я бы сказал, что мы читаем в этой книге достоверную повесть о том, как, говоря обобщительно, просто Семеновы превращаются в Семеновых-Тян-Шанских, и почему легендарным стало имя боцмана Бегичева, вечная память о котором звучит в названии открытого им морского острова на дальнем Севере, и каков был житейский путь молодого казаха Чокана Валиханова, которого современники сравнивали с блистательным метеором, промчавшимся над нивою востоковедения. В книге Маркова мы встречаемся с водолазом, собирающим не только клады погибших кораблей, но и бесценный фольклор, с бывшим матросом ЭПРОНа Анатолием Мининым, записавшим поморские сказания о женщине-мореходе Ольге Хромчихе, которая триста лет назад водила ладью на Грумант, то есть на Шпицберген. Эта забытая героиня ставится автором в единый ряд с колумбами российскими, осваивателями Сибири и русской Америки — Аляски, с пловцами по Тихому океану, с искателями легендарного Беловодья, с путешественниками по дружественной Эфиопии и по горным кручам Центральной Азии. Читая «Вечные следы», я вижу Сергея Маркова, принимающего из рук престарелой Лхамы Норбóевны Цыбиковой, вдовы ученого, карманную записную книжку Гонбочжаба Цыбикова, маленький томик, похожий по формату на книжки малой серии «Библиотеки поэта», и читающего то, что не вошло в опубликованные отчеты этого доблестного путешественника,— например, запись о том, как, попав из златокровельной Лхасы в городок Цзэдане, Цыбиков вспоминал... «Мертвый дом» Достоевского, так заели путешественника тибетские клопы.

В этой живо подмеченной и не отринутой Сергеем Марковым подробности записной книжки Цыбикова я узнаю юношескую склонность моего друга к юмору. Но я не могу не привести и еще одну, и на этот раз вовсе не веселую, цитату из «Вечных следов».

«В Великом Устюге,— пишет Марков,— мне удалось разыскать остатки огромной библиотеки Михаила Булдакова. (В этом городе до сих пор лежат на разных складах десятки тысяч никем не разобранных бумаг и старинных книг. Никто в точности не знает, какие книги и документы входили в состав библиотеки и архива Грибанова, местного заводчика, парусными полотнами которого Российско-

американская компания торговала со странами Америки.)»

Может быть, впрочем, теперь этот архив разобран. Ведь прошли годы.

Годы идут. И, вспоминая о своей первой встрече с Сергеем, я подумал: а не напутал ли я чего-нибудь, ведь с тех времен прошло полвека. И, подумав так, позвонил по телефону Сергею.

— Ты помнишь, как мы впервые встретились в Омском театре? — спросил я.

— Что-то очень смутно припоминаю.

— Ну, как мы с тобой пошли оттуда по бульварчику, а потом с горы по каменной лестнице.

— С горы? — переспросил он.— Ах да! Я вспоминаю. Кариатиды в переулке!

— Да, в бывшем Гасфордовском.

— Да, да! Над «Саламандрой», когда мы пошли к Сорокину. И знаешь, что, Леонид, мы с тобой тогда прозевали?

— А что?

— А мы не расспросили у отца Антона Сорокина, у Семена Семеновича, что он знает о Беловодье. Он-то уж, старый павлодарец, вероятно, помнил искателей Беловодья.

— Вряд ли.

— Ну все равно мы вот что тогда еще прозевали: расспросить, знал ли Антон Сорокин, сколь неискренен был с ним король Сиамский!

— А именно?

— А вот в чем дело! Антон Сорокин говорил, что когда он перед империалистической войной разослал монархам свой антимилитаристский памфлет, то король Сиамский через своего секретаря вернул книжку: мол, не имею возможности прочесть, не зная по-русски. Но ведь не мог же он не знать по-русски, окончив Петербургский пажеский корпус! Нет, во всем этом надо разобраться!..

И я подумал, что Сергей Марков разберется и в этом!

Чудесный город Валерия Дементьева

Это было видение.

Оно привиделось мальчику, который рос вместе с цехами «Северного коммунара», слышал с реки одышливые

голоса буксиров и мастерил самокаты на шарикоподшипниках, добытых им за железнодорожными мастерскими. Что-то вроде свалки было и у Каменного моста, над Золотухой. И вот именно там, среди чертополоха и крапивы, в мерцании битого стекла и ржавого металлолома,— там-то и возникло однажды видение чудесного города, озаренное низким оранжевым солнцем.

Так, или приблизительно так, повествует о детстве своем Валерий Дементьев в новелле «Чудесный город». Этот город, стены которого, кровли, башни, террасы и некие призматические столбы — вероятно, колонны — были изваяны дождями, ветрами и солнцем в береговых обрывах над речкой,— город этот показался ему, мальчику, похожим на генуэзскую крепость, о которой однажды рассказал ему приятель, побывавший в Крыму. И я не спорю с Дементьевым: раз он увидел нечто похожее на развалины крымской генуэзской крепости, значит, это он и увидел, и в этом был свой смысл, и тут сыграл роль не только рассказ приятеля; по-моему, дело еще и в том, что крепостные насыпи над Золотухой в Вологде издревле назывались Татарскими горами, ибо были возведены при Иоанне Грозном пленными «турками», то есть ногайцами и крымчаками, о чем упоминает и сам Дементьев в другой новелле. Я согласен с ним, но хочу добавить, что в дальнейшем ему удалось рассмотреть не только мираж генуэзской крепости над Татарскими горами, но и весь чудесный город с этими историческими обрывами над Золотухой и с величественной Красной соборной горкой над рекой Вологдой, и заречной слободой Фрязиново, где некогда жили «фрязины»-иностранцы, а может быть, и генуэзцы, и со всеми окрестностями, которыми, в сущности, является весь юг русского Севера. И это видение было не сновидением, и по этому миру бродили не привидения, а живые или, во всяком случае, жившие когда-то здесь люди. Вот с чего началось творческое становление моего друга Валерия Дементьева.

Ясно помню я тень Батюшкова, эту грустную тень, мерещившуюся вологодским гимназисткам-интернаткам, которая якобы появлялась на чердаке женской гимназии. Ах, он там повесился! — гласила легенда, конечно, неверная: Батюшков скончался от тифозной горячки и был похоронен с соблюдением всех должных обрядов в Спасо-

Прилуцком монастыре, в окрестностях Вологды. Впрочем, о мрачной легенде Валерий Дементьев и не упоминает, ибо в те времена, когда эта легенда бытовала, он еще и не родился. Но тем не менее своим чутьем художника он сумел восстановить всю ту атмосферу правд и неправд, легенды и яви, которая окружила его замечательного земляка и согражданина,— сумел воспроизвести столь ясно и явственно, что грустная тень Батюшкова преображается в живого человека во плоти его и во крови. И я спрашиваю, почему Константин Батюшков, этот славный предшественник Пушкина, проникновенный лирик, поэт воинского подвига, новатор в поэзии, противник архаистов-шишковистов, тонкий иронист, впервой введший в русский литературный и общественный обиход термин славянофилы (точнее, словенофилы),— я переспрашиваю себя, почему Константин Батюшков так живо воскрес под пером Валерия Дементьева?.. Только ли потому, что они земляки-вологжане? Нет, отнюдь не только поэтому. Чем внимательнее я перечитываю это повествование о Константине Батюшкове, тем яснее становится мне, что о поэте, участнике войны 1812 года, офицере-егере Батюшкове написал не только его земляк-вологжанин, но и офицер саперных войск, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов поэт Валерий Дементьев. Они как бы встретились в рядах воинства, дважды изгнавшего врагов за пределы своей Отчизны. Вот почему таким убедительным получилось взволнованное повествование. И опять-таки я, конечно, не спорю с Валерием Дементьевым, когда он, согласно традиции, объясняет постигшую Батюшкова неизлечимую болезнь тяжелой наследственностью. Но, вчитываясь в рассказ о том, как в битве за Неманом наполеоновское ядро с громом завершило свою траекторию и что-то швырнуло Константина Батюшкова, ударило затылком о сучья и погрузило в огненно-кромешную мглу, я не могу отделаться от мысли, что именно ранение, эта травма и послужила главной причиной тех недугов, от которых поэт так и не оправился. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу не вынесут ныне никакие Гиппократы и Асклепии, но для меня к толкованиям Батюшкова, сделанным В. Г. Белинским и Л. Н. Майковым, неотъемлемо присоединяется тот живой образ Батюшкова, который столь убедительно, столь ясно сделан Валерием Дементьевым, офицером и художником слова. И вообще мрачный, но четкий при-

зматический бинокль войны очень широко раздвинул творческие горизонты Валерия Дементьева и позволил ему всмотреться в широчайшие дали, там, далеко-далеко за пределами своего чудесного города, и рассмотреть не только своих земляков — Александра Яшина, Сергея Орлова, Николая Рубцова, но и, скажем, творчество Александра Твардовского именно сквозь призму войны. Я считаю, что воинский опыт Дементьева помог ему проникновенно изобразить зауральскую военно-революционную юность Степана Щипачева и, с другой стороны, ощутить трагизм судьбы Ярослава Смелякова, исчезавшего в военном вихре карельских лесов. Во всяком случае, для меня ясно, что Валерий Дементьев отнюдь не является представителем и ревнителем некоей вологодской школы в поэзии, как это хотят изобразить иные литературоведческие теоретики-схоласты, забывающие, что к «школам» в наше время можно причислить только школьников... Другое дело сказать, что, уйдя на войну очень молодым — семнадцатилетним юношей, а вернувшись в свой чудесный город зрелым мужем, Валерий Дементьев еще с большей остротой, чем прежде, ощутил его чудесность. И, взглянув на жизнь уже не с крапивно-чертополохового, буксирно-лодочного обрыва, а превыше чем с колокольни Софийского собора, он увидел не только, скажем, цыганку Земфиру в таборе Булибаши, в которую так пылко был влюблен молодой Пушкин, не только прекрасно-бесшабашного земляка своего, поэта Василия Сиротина, автора незабываемой песни «Улица, улица, ты, брат, пьяна!», но и далекие просторы Кубенского озера с легендарным Спас-Камнем посередине, и берега Бородаевского озера, где подбирал и растирал разноцветные камни на краски для своих бессмертных творений гениальный художник Дионисий.

Но я пишу все это так, как будто бы читаю не труды известного критика-литературоведа, а поэму, причем даже прибавляя от себя то, о чем не упомянуто автором. Вправе ли я поступать так?.. Думаю, что вправе, и вот почему.

Однажды на писательском съезде Валерий Дементьев подошел ко мне и сказал, что ему с детства помнятся мои вологодские стихи о реке Золотухе, по которой петухи плывут краснобрюхи, и вообще он довольно-таки давно

задумал написать обо мне монографию. И надо бы нам поговорить.

Я сказал, что моя биография наиболее обстоятельно изложена в моих стихах, но мы можем побеседовать и я постараюсь досказать все то, что его дополнительно интересует, и думаю, что на это хватит, может быть, часа. Мы так и сделали, и он сказал: «Спасибо. До свидания!» А через год явился с черновой рукописью книги, которую принес не столько из своего рабочего кабинета, сколько из дальних странствий. Оказывается, за это время он побывал в Омске, Тобольске, Новосибирске, Томске, чтобы дополнить то, что я не мог досказать во время нашей беседы. Так, весьма для меня внезапно, возникла его книга о моем творчестве и моей жизни. И любопытно то, что из этой книги мне довелось узнать или вспомнить многое, чего не ведал или забыл о себе сам. Я нашел в ней немало сведений о моих полудетских, полузабытых, казалось бы, безнадежно затерянных стихах и газетных статьях, которые он обнаружил в старых сибирских изданиях. Я узнал о том, какими стихотворными приемами я пользовался и пользуюсь, и почему делаю это, и делаю именно так, а не иначе, и в какой обстановке писал те или иные стихи, и как, таким образом откликался на те или иные мировые события. То есть я, может быть, впервой столь ясно увидел себя, увидел так ясно и как бы со стороны. И мало того, что увидел въявь себя в соотношении с, казалось бы, забытыми товарищами своей юности, но из этих изысканий впервой узнал такую совершенно неизвестную мне подробность семейной хроники — в какой именно казачьей станице Баян-аульского округа современного Казахстана учительствовала в девичестве моя мать... И, узнав все это и многое другое, я почувствовал острую потребность рассказать, досказать то, чего не мог узнать обо мне даже и он, остроокий мой критик, и вообще никакой другой человек,— словом, о том, что могу знать о себе только я сам. Конечно, я и раньше умел рассказывать о себе; с этого все и началось, недаром сказал Дементьеву, что моя жизнь в моих стихах; наконец, я и раньше писал прозу. Но я почувствовал, что теперь пришло время рассказать о том, как я писал и пишу и стихи свои, и прозу, то есть решительно взяться за перо мемуариста, хотя в результате получились не столько мемуары, сколько более или менее сюжетные новеллы... Я говорю все это не к чему-нибудь другому, а к тому,

чтоб понять, хотя бы для самого себя, что такое критик. На этот счет существуют разноречивые мнения. В представлении одних, критик — это человек, который только и знает, что кого-нибудь желчно критикует. По мнению других, критик — это тот, кто, критикуя ему не нравящихся, авторитетно возводит если не на Олимп или не на Парнас, то, во всяком случае, в высший ранг, на пьедестал писателей, ему угодных. Но по-моему, призвание критика гораздо сложнее. Я склонен думать, что критик есть лицо, безусловно являющееся участником творческого процесса критикуемого им писателя. В том, конечно, случае, если он, этот критик, является художником и сам. Только при этом условии! Вот тогда-то и возникает то, что мы называем творческим взаимодействием и что составляет суть всякого развивающегося литературного бытия. И само собой разумеется, не прав Оскар Уайльд, заявивший, что критик — это неудавшийся художник. Нет! Настоящий критик — именно удавшийся художник в своем жанре. Впрочем, только ли в своем жанре, жанре критическом?.. Задумавшись над этим вопросом и не применяя нескромно всего нижесказанного ни к Валерию Дементьеву, ни к себе самому, я вспоминаю о выдающихся критиках-художниках. Можно назвать, например, Аполлона Григорьева, Валерия Брюсова, не говоря уже об Александре Блоке. Можно бы перечислять и далее, но ясно, что многие вполне удавшиеся писатели были и самыми настоящими и серьезными исследователями литературы. И наоборот, критик может весьма успешно выступать хотя бы в смежных историко-литературных жанрах, если сам он, конечно, родился таким критиком-художником...

Поиски абсолюта

Адам и Евдокия

1

Который уж раз сладкий голос соблазна вопрошает у меня по телефону:

— Когда же вы допишете для нашего журнала уж много лет обещанное повествование? О московской невесте Мицкевича.

И который раз голос благоразумия предостерегает:

«Брось! Не пиши об этом! Оставь это специалистам — литературоведам!»

Но я все-таки написал.

Только вот не решил, как назвать это правдивое повествование: «Адам и Ева», или «Адам и Евдокия», или «Московская невеста», или «Сгоревшие письма», или «Несгоревшие письма», или просто «Любовь»? Но с названием, пожалуй, проще, чем с самим рассказом, над которым оно должно стоять. Есть темы, с трудом поддающиеся изложению, и вопросы, на которые далеко не сразу найдешь ответы. Но может быть, я просто не обладаю такими познаниями о данном предмете, чтоб рассуждать о нем? «А пусть даже и так! — возражаю я себе.— Однако почему, не зная, скажем, причин подземного толчка, я не имею права засвидетельствовать то, что я увидел, услышал, почувствовал, ощутил в дрожи полов под ногами и потолков над головой!» То же самое относится и к падению метеоритов и, наоборот, к появлению тех или иных знамений на небесах. Неужели же я, не будучи ни астрономом, ни астрологом, не имею права изложить кратко, но внятно хотя бы даже и то, что мне примерещилось. Так почему же я в таком случае не могу рассказать о том, как, не открывая никаких новых архивных документов, а просто по шелесту книжных листов и древесной листвы и по трепету солнечных лучей на темных портретах стопятидесятилетней давности я ощутил некоторые, на мой взгляд не потерявшие интереса и доныне, обстоятельства пребывания гениального поэта Адама Мицкевича здесь, у нас в Москве!

Повторяю: это нелегкая задача! Четверть века назад написанная на эту тему для радио моя литературоведческая статья очутилась вместо эфира, как я полагаю,— в редакционной корзине, возможно, что даже и по заслугам, так как была написана сухо и невыразительно. Не получилось у меня до сих пор и законченных стихов на эту тему. И поэтому я решил, не мудрствуя лукаво и не заботясь об образности изложения, написать обо всем этом самой обыкновенной, ни на какую художественность не претендующей прозой: авось так получится всего складней!

2

Начну прямо с того юбилейного вечера в Доме союзов, где я имел честь прочесть с высокой трибуны Колонного зала свой перевод из Мицкевича — отрывок монолога Густава из «Дзядов».

В этом повествовании, как и всегда, впрочем, я рассказываю о действительных событиях. И мне до того не хочется вносить хоть какой-либо элемент беллетризации, что, вопреки фактам, я хотел бы даже умолчать о том, что мне показалось, будто тень Мицкевича отделилась от одной из колонн Колонного зала и показала мне куда-то вдаль, вверх по Тверской, за площадь Пушкина и Маяковского, и за зеленоватый мираж Белорусского вокзала, и даже еще куда-то подальше улицы Правды и стадиона «Динамо», в сторону питомицы голубых елок — Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Я не буду останавливаться на этом и лишь повторю, что, взойдя на трибуну, я прочел трагический монолог Густава. Но на следующее утро я все-таки поехал туда, куда мне показала тень или воображаемая длань Адама Мицкевича.

Должен сознаться: я с юности путал Петровский дворец с чем-то иным, отождествляя его то с исчезнувшим монастырем, то с бывшей Петровской сельскохозяйственной академией, оправданием чего может служить лишь то, что Петровский дворец, это славное творение зодчего Михаила Казакова, наложил свой архитектурный и красочный отпечаток на все кругом, на все Петровско-Разумовское... Почти ничего я не знал и о графе Разумовском, старом владетеле этих мест, рачительном сельском и домашнем хозяине, и о первом просвещенном дачевладельце рядом с Петровским дворцом — о дальнем родственнике графа Ра-

зумовского, приятеле Пушкина, Борисе Соболевском, и об одной из первых дачесъемщиц в этих местах — Татьяне Пассек, подруге и родственнице Герцена, которая в середине прошлого века обитала здесь с добрыми друзьями, членами не нашего Литфонда, а петербургского, старого, некрасовских времен Литературного фонда,— о Татьяне Пассек, которая со своими гостями собирала в окрестных лугах ягоды и варила варенья, доход от продажи коих шел на бедных московских детей, для покупки им карандашей и бумаги и оплаты зрелища медвежьих плясок и фейерверков на Ходынском поле. Татьяна Пассек, издательница популярного детского журнала «Игрушечка», обитала на одной из трех дачек в здешних, дремучих тогда, лесах. А потом дачников становилось здесь все больше и больше, и, видимо, даже в конце шестидесятых годов их не отпугнула от Петровско-Разумовского дурная слава Петровского парка. Там убили студента. В гроте. И бросили в пруд. А может быть, это темное дело, породившее роман Достоевского «Бесы», даже, наоборот, сделало рекламу этим местам, куда с середины восьмидесятых годов можно было мчаться уже на паровичке. Это был замечательный поездок, курсировавший между Бутырской заставой, Бутырским опытным хутором и Петровской земледельческой и лесной академией. Впереди паровозика скакал мальчуган-форейтор, трубивший в рожок мелодичный сигнал: «Берегись!» Во всяком случае, к началу нашего века Петровско-Разумовское стало известнейшим и любимейшим подмосковным дачным местом, раем земным близехонько от города, за рестораном «Яр» и «Черным лебедем»,— дачей миллионера Рябушинского, издателя такого красивого журнала «Золотое руно», выглядевшего под стать Петровскому дворцу, если он хорошо покрашен. И я, право, не знаю, кто бы мог лучше описать Петровско-Разумовское: историк М. Полуектов, закончивший под сенью тамошних лип свой труд о Николае I, или сын бывшего слушателя (вольнослушателя) лекций Петровской сельскохозяйственной академии, купца Якова Брюсова,— Брюсов Валерий Яковлевич, известный поэт и прозаик, обитавший ряд лет на даче в Петровско-Разумовском, и, кстати сказать, заядлый любитель лошадей, конного спорта, вероятно, не равнодушный к близлежащему ипподрому.

Я не скажу, что, выйдя на поверхность земли из недр метро, у стадиона «Динамо», я предался раздумьям о стародавних идиллических временах, когда местные дачницы

рубили в деревянных корытцах мясо для котлет, а под окнами дач кричали разносчики. Да, да, разносчики! Но, глядя на метро, на стадион, на дворец, на всех этих людей сороковых годов XX века — на школьников, студентов, солдат и офицеров, на спортсменов, на жокеев с близлежащих бегов и скачек, на домохозяек и продавщиц газированной воды, я вдруг понял, что не вижу здесь в уличной толпе, нет, даже и не самого Адама Мицкевича, который, собственно, и показал мне сюда дорогу, не вижу здесь не только самого Мицкевича, но и того разносчика, торгующего с лотка колбасой, которого когда-то повстречал здесь, около самого Петровского дворца, пан Адам!

3

Известно, что по приговору особой комиссии, состоявшей из Аракчеева, адмирала Шишкова и Новосильцева, один из виленских филоматов, молодой Мицкевич, в 1824 году был выслан в Россию.

Везомый из Вильны в Санкт-Петербург филомат увидел дикие просторы снежных равнин, где люди чужой страны, люди с лицами, подобными их стране, пустынной и дикой (я пользуюсь терминологией третьей части его «Дзядов» в переводе Вильгельма Левика), эти люди обитали в жилищах, построенных из обтесанных топорами древесных стволов. Затем пустынный мир изб кончился, и пан Адам увидел столицу, Питер с его величественным «Медным Всадником» на коне и раздутые туши лошадей, застигнутых на улицах невскими водами: ведь Мицкевич явился на другой день после наводнения в Петербург, еще не убравший с улиц жертв невских волн. На одной из площадей лежал даже занесенный туда стихией, застрявший на булыжной отмели какой-то польский корабль[1]. Повстречавшись в Петербурге с представителями власти, с вольнодумцами и с мистиками, с вчерашними либералами и завтрашними декабристами, пан Адам проделал затем фантасмагорический санно-колесный путь из Питера в Одессу, чтобы встретиться на юге с прекрасными дамами, красотами Крыма, полицейскими шпионами и опять-таки с членами тайных обществ. И там, на юге, ощутив молнии декабрьской грозы лишь как зловещие зарницы где-то на северном горизонте, пан Адам двинулся обратно, чтобы в следующем, 1826 году, будучи причисленным к штабу кан-

---

[1] См.: Яструн М. Мицкевич. «Молодая гвардия», 1963.

целярии московского генерал-губернатора, объявиться в первопрестольной.

Это было в известном смысле даже благоприятное для изгнанника время: начальный период царствования Николая I, тот период, который, как пишет историк А. Корнилов, был «якобы преобразовательным и по внешности не противным прогрессу». Только что, то есть чуть не сразу после расправы с декабристами, то есть в конце, в декабре, 1825 года, был отстранен от дел Аракчеев, вскоре закончилась карьера неприятного царю Новосильцева, после кратковременного возвышения ощутил близость падения и адмирал Шишков, то есть по ряду причин, хотя и по иным, конечно, поводам, внешним и внутренним, но рухнул авторитет всей особой комиссии, расправившейся с виленскими филоматами приблизительно так, как расправился с вольнодумными петербургскими студентами Рунич, а с казанскими студентами и профессорами Магницкий, причем Рунич был предан суду, а Магницкий выслан в Ревель. И как бы то ни было, но Николай I, начавший с жестокости, видимо, кое-где, особенно в глазах Запада, хотел показать себя отнюдь не деспотом, а кое в чем даже либеральнее либералов. Во всяком случае, юному Мицкевичу была предоставлена полная возможность наслаждаться и северной и южной русской экзотикой, жить, как хочет, не обременяя себя службой, хоть и числясь на ней, встречаться, с кем хочет... И здесь, в Москве, не говоря уже о массе других привлекательных салонных и чисто дружеских встреч, он встретился впервой и с Пушкиным. И все это, вместе взятое,— и Питер, и юг с его одесскими и крымскими впечатлениями и приключениями, и затем Москва — видимо, весьма обогатило сердце и разум молодого Мицкевича. И мне кажется, что точнее всего определил положение вещей один из первых переводчиков пана Адама, как раз переводчик его «Крымских сонетов», прозорливый слепец Иван Козлов, который, говоря позднее о покидающем Россию Мицкевиче, сказал: «Мы его взяли у вас сильным, возвращаем — могучим!»

Итак, однажды, уже в конце мая 1827 года, Мицкевич примчался в Петровско-Разумовское на дрожках и затем, отпустив возницу, пустился в пеший путь по полям и огородам. Вообще-то говоря, Мицкевич направлялся к Сергею Соболевскому, чья дача, как уже упомянуто выше, находилась на пустыре поблизости Петровского дворца. Но, явившись наконец к Соболевскому, Мицкевич рассказал о

том, как, задумав посмотреть на пустующий Петровский дворец, он заблудился в буйных зарослях петровско-разумовской зелени и, бродя по этим пространствам, до того проголодался, что, не видя в окрестностях никакой харчевни или трактира, был спасен только встречей с бродячим разносчиком колбасы. Купив у него колбасу, сказал Мицкевич, и тут же проглотив ее, он не насытился ею, а лишь почувствовал вдобавок к голоду еще ужасную, нестерпимую жажду.

4

Вот о чем весьма не туманно прошелестела мне листва аллеи между станциями метро «Динамо» и «Аэропорт».

Конечно, всю эту историю с покупкой колбасы у разносчика я знал и прежде и, вспомнив накануне в Колонном зале, забыл снова, не забыв только желание побывать там, где поэт столь поспешно позавтракал на ходу.

Нет, я ни в коем случае не хочу походить на авторов так называемых биографических романов или беллетризованных биографий, которыми изобилуют ныне книжные рынки земного шара. Всеведающие беллетристы-биографы так и норовят залезть в головы великих людей и вещать, если не их гениальными, так своими устами: «Он, имярек, думал о том-то, он чувствовал то-то и то-то, он хотел сказать так, а сказал и сделал так». Отнюдь не желая уподобляться таким вещунам-всезнайкам, я позволю себе лишь несколько логически обоснованных догадок: о чем не мог думать, о чем мог думать и о чем не мог не думать Адам Мицкевич, глядя на пустующий, кое-как покрашенный Петровский дворец. Весьма возможно, что, блуждая по пустырям Петровско-Разумовского, он не думал о владельце этих мест, старом князе Алексее Кирилловиче Разумовском, бывшем министре народного просвещения Российской империи, особо пекщемся об университетах Дерптском и Виленском, из которого, Виленского, он, Мицкевич, и был исключен. Но не мог не думать Мицкевич, глядя на Петровский дворец, о том, что по аллее, прекрасной липовой аллее, насаженной старым князем от Москвы до дворца, именно сюда, в этот дворец, ушел со своими приближенными Наполеон из огнеопасного, дымного, душного, глухо ухающего своими раскаленными колоколами Кремля во время московского пожара 1812 года. Наполеон бежал в этот прекрасный, абсолютно безопасный дворец, уютно

отделанный в стиле Людовика XVI, того самого, расправу над которым завершал он, республиканский, робеспьеровский генерал Бонапарт, будущий император Франции. Вот судьба: попасть в рококо, кружева, фижмы этих напудренных старомодных Бурбонов, уходя от искр и копоти разожженного коварным графом Растопчиным московского пожара, спасаясь от немилосердных, лютых единомышленников одноглазого фельдмаршала Кутузова.

Даже не будучи писателем биографических романов, нетрудно предположить, что именно думал, глядя на пустынный, когда-то приютивший Бонапарта дворец Адам Мицкевич, как известно почитавший Наполеона в такой степени, что в отрочестве прибавлял к своим именам Адам Бернард еще имя Наполеон; Мицкевич, так почитавший Наполеона, что когда скончался, то лицо его, по свидетельству некоторых современников, приняло поразительное сходство с лицом Наполеона! Не с посмертной маской, а с лицом самого Наполеона! Ведь Мицкевич даже Байрона почитал личностью, занявшей в области воображения такое место, какое Наполеон занимал в земной действительности!

И несомненно, думая о Наполеоне, Растопчине и Кутузове, пан Адам едва мог не думать и о Евдокии.

5

Всего скорее, что и дорогу-то ему в Петровско-Разумовское указала именно Евдокия Михайловна Бакунина. Возможно, и даже более чем вероятно, что тут не обошлось без содействия матери Евдокии Михайловны — Варвары Ивановны Бакуниной, в девичестве Голенищевой-Кутузовой, дочери адмирала И. Л. Голенищева-Кутузова. Варвара Ивановна была женщиной просвещенной и активно причастной к литературе. И поэзии! Еще девочкой она была воспета самим Гаврилой Державиным. «Как, Варюша, ты прекрасна!» — начинались стихи Державина, обращенные к ней. Выросши большой, Варвара Ивановна сама стала писательницей, написав не только повествование о двенадцатом годе, но и нечто о персидском походе своего мужа [1]. А дети ее, три ее дочери могли прибавить к слав-

[1] Муж ее, генерал Михаил Бакунин, впоследствии петербургский губернатор, сенатор, был обвинен в неправильном расходовании сумм подчиненного ему Приказа общественного призрения и, разоренный процессом, доживал с семьей в Москве частным человеком (Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915).

ной своей родословной по материнской линии еще и много блестящего и по мужской линии. У корней генеалогического древа Бакуниных, усаженных составителями родословных, восседал сам король Стефан Баторий. Этому, впрочем, не особенно верили и сами Бакунины. Достовернее считалось, что три брата — Зенислав, Батугерт и Антипатр вышли из Венгрии к Иоанну Великому в конце XV века и Зенислав, по принятии православной веры нареченный Петром, стал родоначальником Бакуниных, на чьем гербе недаром была и такая деталь: держали щит два мадьяра-копьеносца, причем у левого на левом плече была львиная шкура. И совершенно достоверно было то, что дед Михаил Иванович был петровским воином — царицынским комендантом, а сын его Василий оставил «Описание народов калмыцких». Общеизвестны родственные связи Бакуниных с Муравьевыми, Мордвиновыми, Полторацкими, а что касается до самих Бакуниных, так один из позднейших представителей этого семейства сказал коротко и ясно, что «одна отрасль Бакуниных пошла по администрации, а вторая по революции». И наконец, сама Евдокия Михайловна, на мой взгляд, имела облик, напоминающий трепет высокой звезды, отраженной в глубоком водоеме, в баснословном бассейне,— словом, в источнике сперва спокойном, а затем взбудораженном порывом ветра или, может быть, ударом грома. Словом, когда блестящее отражение величавой звезды небесной начинает вдруг двоиться и троиться, как будто бы не желая снова вернуться в свои границы, приняв первоначальные формы, так, вглядываясь в туманные первоисточники, я вижу Евдокию Михайловну вдруг уже как бы не одну, а в образе трех девушек, то есть Евдокию в окружении ее сестер. Вот ее сестра Прасковья, писательница (в мать, в Варвару Ивановну), притом еще и поэтесса, и авторша пьес, которые ставились в имении Уютном. Вот ее вторая сестра, Екатерина, во время пребывания Мицкевича в России еще просто Катя, юная спорщица и задира, от которой, по выражению Станкевича, не легко было отмолоться, а впоследствии одна из первых русских сестер милосердия, помощница хирурга Пирогова в полевых госпиталях во дни обороны Севастополя. Это она опубликовала уже в девяностых годах в журнале «Вестник Европы» интереснейшие воспоминания о Крымской кампании, о последних днях жизни адмирала Нахимова, о Пирогове, о солдатах, матросах, пленных французах — словом, о жизни во дни

той войны, которую заранее, аж за четверть века, ожидали в России провинциальные политики, как войну с Англичанкой за свиное сало[1]. Конечно, Екатерина Бакунина не была в севастопольских своих повествованиях соперницей Льву Толстому, но в безыскусных воспоминаниях живо передала, поведала свое, неповторимое[2].

И вот, наконец, перед нами сама Евдокия. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона сказано: художница, получившая в 1835 году вторую медаль Академии художеств, фрейлина, причем не указано чья. Возможно, такая же фрейлина, как Пушкин камер-юнкер,— не знаю. Но знаю, что писала портреты и оставила автопортрет, который хранился по крайней мере до 1915 года в Премухинском семейном гнезде Бакуниных... Увы, я, должно быть, не соберусь разыскивать по галереям и музейным фондам другие работы художницы, позднее ездившей в Италию и во Францию и одно время, как об этом свидетельствует сестра ее Екатерина, писавшей даже в ателье известного Делакруа!

Но вот именно к ней, Евдокии Бакуниной, как глухо сказано некоторыми завистливыми художниками-современниками, благоволил Николай I. Честно скажу: я не знаю, действительно это было так, или это только показалось им, что он благоволил к ней.

Общество поощрения художников некоторое время принимало на себя заботы по воспитанию одаренных простолюдинов братьев Чернецовых[3], и в дальнейшем они, мастера этих патриотических, по выражению Булгарина, волжских пейзажей (хотя и похожих как две капли воды на итальянские пейзажи Иванова), получили возможность выезжать для усовершенствования в живописи за границу — в Италию, Палестину и Турцию, причем средства для второго путешествия, по сообщению «Художественной газеты» за 1840 год, предоставила им одна «русская дама, ревностная и постоянная покровительница всего прекрасного, назвать имя которой, не чуждое каждому русскому сердцу, мешает газете долг скромности».

Я не знаю, о какой именно даме шла речь, но, по всей вероятности, это была одна из тех близких если не трону, то двору особ, которые проявляли себя в различных сфе-

[1] См.: Станкевич. Н. В. Переписка. М., 1914.
[2] «Вестник Европы». 1898, № 3, 4, 5, 6.
[3] О Чернецовых см.: Столпянский П. Н. Первые патриоты русского искусства. Спб., 1915.

рах общественных, по-нашему говоря, неся общественную нагрузку, кто в области призрения сирых и убогих, кто в области милосердия к неимущим, кто как. Так, в частности, после смерти президента Академии художеств герцога Максимилиана Лихтенбергского президентом академии была утверждена в 1852 году его вдова, великая княгиня Мария Николаевна, вероятно и раньше игравшая в академических делах не меньшую роль, чем ее муж. И когда думаешь обо всем этом, то ясней становится и роль Евдокии Бакуниной как художницы, одно время близкой к придворным кругам если не по своему фрейлинскому званию, то хотя бы по фрейлинам — кузинам и теткам. Ведь как-никак она со своими сестрами принадлежала к свету и, если можно так выразиться, к великосветскому ведомству великой княгини Елены Павловны, к которому принадлежала не только академическая президентша — великая княгиня Мария Николаевна, но и такие дамы-патронессы, как княгини Щербатова и Голицына, баронессы Будберг и Штернберг, воспоминаниями о которых богаты мемуары ее сестры Екатерины. А быть может, как я догадываюсь, Николай I усиливал свои искренние или неискренние знаки внимания и благоволения к художнице Евдокии потому, что она была кузиной одного из самых, с его точки зрения, неблагоразумных его подданных, она была двоюродной сестрой опаснейшего фантазера, государственного преступника, но все-таки русского аристократа, члена одной из стариннейших дворянских фамилий Михаила Бакунина. И этому самому ее кузену Мишелю император Николай мог показать, насколько он великодушен: вот, мол, я не мщу кузине за кузена! А может быть, это «благородство» диктовалось и не чем иным, как самым настоящим, но тщательно скрываемым даже от самого себя чувством страха перед буйным кузеном ее, да и перед самой Евдокией Михайловной, которая, по свидетельству современников, не могла простить дальнему родственнику своему Михаилу Модестовичу Бакунину того, что он первым выпалил из пушки по декабристам[1]. Может быть, все эти мои догадки об отношении Николая I к Бакуниной наивны и далеко не научны, но для меня не мемуары чьи бы то ни было, не энциклопедические данные (то и другое может быть субъективным), а самое яснейшее представле-

---

[1] См.: Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915.

ние об этой девушке с несколько высокомерной улыбкой суровых уст дает живое полотно в старинной раме. Автопортрет. Евдокия! Вот она, глядящая в самое себя, эта прекрасная, несколько грубоватая Евдокия Бакунина в своем романтическом головном уборе, как бы с портретов Виже Лебрена, но в шубе с пышным меховым воротником, ниспадающим на талию, в этом экзотическом зимнем наряде, делающем ее достоподлинным воплощением златоглавой первопрестольной, но отнюдь не ненавистной ко всему заграничному доброй Москвы. Такова была невеста Адама Мицкевича Евдокия.

6

Почему же их брак расстроился? Есть такие вопросы, которые с трудом поддаются решению. Одно дело — определить отношения между Мицкевичем и Пушкиным. Это просто. Другое дело — определить отношения между поэтом и девушкой. «Не верь, не верь поэту, дева!» — воскликнул Тютчев, возможно, как раз по поводу отношений между Адамом Мицкевичем и Евдокией, да простят мне литературоведы такую дерзкую, документально отнюдь не подтвержденную догадку. Но если даже и считается, что Тютчев адресовал это другой деве, то все же я утверждаю, что это можно отнести к Евдокии Михайловне, ведь неизвестно, когда написано это замечательное стихотворение, знают лишь, что никак не позже 1839 года, а кому известно: насколько раньше? Во всяком случае, в 1825 году Тютчев приезжал из-за границы в отпуск в Россию и вращался в кругах, близких к литературным, а в 1830 году в Мюнхене встретился с Тютчевым московский знакомец Мицкевича Николай Рожалин, знаток античности и переводчик гетевских «Страданий молодого Вертера», и надо полагать, что в Мюнхене Рожалин, конечно, упоминал об уехавшем в то время из России Мицкевиче, и об его московской жизни, и в том числе об его неудачном романе с Бакуниной, о которой говорили уже как о невесте поэта.

Может быть, действительно, как это утверждают некоторые историки, роман не увенчался успехом из-за различия в вопросах веры и народности. Ссылаются даже и на то, что сын и биограф Адама Мицкевича Владислав засвидетельствовал, будто отец сказал однажды, что женился бы на одной особе, если бы она не была православной.

Но скорее всего дело пе в православии, а вот в чем.

Вглядитесь в их портреты, и вы можете убедиться, как схожи между собой три женщины: графиня Путкаммер, Ева Генриетта Анквич и, наконец, та, кто стала женой Мицкевича,— дочь пианистки Марины Шимановской — Целина, с которой он познакомился в Петербурге почти сразу же после разлуки с Евдокией в 1828 году и женился на которой через шесть лет в Париже. Посмотрите на портреты этих женщин, и вы увидите, что они как сестры родные. И, взглянув на них, взгляните на портрет Евдокии Бакуниной, чтобы убедиться, как она с ними несходна. Словом,

не случайно (это ведь не тайна)
была в его известности лучах
темна, бледна, с отчаяньем в очах
Целина Шимановская, фатально
похожа на Марылю Верещак.

Не на Марию Верещак, в замужестве графиню Путкаммер, довольно рассудительную, манерную даму, с капризной гримасой читающую гетевского «Вильгельма Мейстера», охотно скачущую на своей кобыле Гурыле или покуривающую трубку а-ля Жорж Занд, не на такую Марию, а на романтическую, нежную Марылю «Дзядов» — вот на кого, по крайней мере по внешности, была похожа Целина Шимановская. Поэта влекли эти облики с ликом Марыли. Черты такой Марыли он, как мне кажется, разглядел в Еве Генриетте Анквич, в этом галицийском ангелочке, залетевшем сперва в поле зрения юного Мицкевича в Новогрудке, а затем явившемся ему, седеющему пилигриму, в Риме, но упорхнувшем там из его объятий. Зато не упорхнула барышня Целина, имевшая также сходство с Марылей, видимо от предков унаследовавшая в очах своих отблеск дымных деревенских лучин где-то между Новогрудками и Барановичами, где ночами по ноябрьским снегам двигались тени в овечьих тулупах на хаутуру, или, сказать по-иному, на Дзяды. Да что там говорить! Лучше всего взять да и заново перечитать как следует много объясняющую великолепнейшую новеллу Проспера Мериме «Локис». В этой новелле, которая несомненно навеяна автору самим Мицкевичем и не случайно была опубликована лишь через тринадцать лет после смерти Мицкевича, нет, конечно, протокольно точных портретов ни папа Адама, ни Целины, но удивительно ясно воссоздан дух этого, самого что ни на есть медвежьего, угла Европы, как назы-

вает один из биографов Мицкевича эти края просвещенной, но хиреющей шляхты и темного, лишь набирающего мощь народа. Вернее,— народов, народностей. Ведь это рубеж по крайней мере четырех вер, край преданий, примет, суеверий, темного кликушества и прекрасных сказок. Край древесных полуримскокатолических, полуславяноязыческих распятий и цельноязыческого кудесничества. Но впрочем, еще вопрос, как могла относиться к этому Евдокия, что она могла чувствовать в рассуждении всяческих кудесничеств, хаутур, вызываний духов предков, медвежьих свадеб!

7

Их молодость, молодость Евдокии и Адама, была днями течения времени как будто бы вспять. Речь идет о конце первой и начале второй четверти XIX века. Лучшее, по мнению и самого Мицкевича, его произведение «Дзяды» порождено и принадлежит именно этой эпохе, периоду как бы попятного натяжения тетивы событий, напрягаемой, чтобы пустить тяжеловесную стрелу прогресса в новый полет. Это были годы внешне полного торжества реакции, проявляющей себя везде и всюду, во всех смыслах, в том числе и как погружение умов в мистику, вернувшуюся на смену вольнодумию, антиклерикализму недавнего осьмнадцатого века. Это были дни, когда, скажем, Александр I увлекался творчеством госпожи Крюднер, а госпожа Татаринова, урожденная Буксгевден,— хлыстами, и дух мистицизма, казалось, готов был проникнуть во все отдушины не только голландских, но и русских печек. И молодой пан Адам тоже отдал дань этому общему, универсальному, можно сказать, духу времени, но, будучи прекраснодушным свободолюбцем, он отдал эту дань не аристократическому салонному мистицизму верхов, а самой что ни на есть демократической мистике низов (была и такая мистика!), то есть он отдал дань духу душных хат и полному тяжких вздохов дыханию заброшенных сельских погостов. Именно тогда, в начале двадцатых годов, он написал балладу «Романтика», где яснее ясного отождествил романтизм с демократизмом и мистицизмом и глубоко сочувственно отозвался о «Духе, которым в корчмах бредит челядь». А через год принялся за колдовскую антипанскую, простонародную вторую часть «Дзядов» с ее на-

стойчивым и грозным рефреном: «Что-то будет?! Что-то будет?!»

И бог его знает, как это было, но мне чудится, что отнюдь не демократизм Мицкевича, а именно мистическая окраска этого демократизма, этот элемент мистицизма в настроениях молодого Мицкевича как раз и не пришлись по нутру Евдокии Михайловне. Бунтарская суть была по душе ей, прекраснодушной, но мистогогическое выражение этой сущности как раз и пришлось не по сердцу ей, которая, несмотря на свое ортодоксальное православие, а может быть даже, наоборот, благодаря ему была, как мне кажется, далека от этого самого мистического духа времени, от всякого рода мистерийности и мистогогии, начиная от отечественной дремучей хлыстовщины, столь милой для полурусской мадам Татариновой, в девичестве Буксгевден, и кончая космополитическим мистицизмом александровского царствования.

Я не имею данных утверждать, но мне кажется, что Евдокия Михайловна слыла девушкой даже несколько старомодной, вот именно по причине ее непризнания вошедшего в моду мистицизма ее считали старомодной по взглядам, ее считали запоздалой просветительницей, энциклопедисткой, критиканкой, попросту вольтерьянкой. Конечно, все было не так просто. Как впоследствии, в шестидесятые годы, она читала Стасова [1], так в тридцатые годы она, видимо, читала Гегеля. Или во всяком случае, познавала его в братских и дружеских пересказах. И хотя этот, любезный питомцам Премухинского гнезда, но чрезвычайно сложный философ, властитель дум мыслящей молодежи, этот Гегель, вероятно, был ей, юной и прекрасной деве, довольно утомителен, но, с другой стороны, ее невыносимо шокировали мицкевические «дзядовские» кудесники, заклинающие злых духов смешным для ее, как-никак барского, помещичьего, русского, духа восклицанием: а кишь, а кишь!

Вот они и разошлись характерами. А характер, особенно у пана Адама, был, как известно, нелегкий...

Но дальнейшая судьба Адама Мицкевича лежит за пределами этого повествования.

А судьба Евдокии Бакуниной?

---

[1] См. письма А. Бакуниной. Рукописный отдел Пушкинского дома в Ленинграде.

8

Критически переосмыслив вышенаписанное, я задаюсь вопросом: имел ли я право писать об этом? Я не был свидетелем ни встречи Евдокии и пана Адама, ни разлуки их, и даже не перерыл до дна всю посвященную этому вопросу литературу... Вернее, ничего, разумеется, от себя не придумывая, пишу, как диктует интуиция, как подсказывает логика событий, впрочем поступая так в данном повествовании в духе самого Мицкевича, который в своей последней лекции в Коллеж де Франс говорил вполне откровенно, что ему, мол, недоставало пособий, книг и советов, и, доверившись, как говорится, случаю, он дожидался этих пособий от провидения и не остался без них. Вот так же, следуя его примеру, взялся за рассказ и я. И очень бы мне хотелось гораздо более подробно поведать о том, как жила Евдокия Михайловна в дальнейшем, после отъезда Мицкевича из России: надо думать, что тогда-то она и ушла с головой в живопись, и получила ту, о которой вспоминалось выше, медаль Академии художеств, и уехала после этого за границу еще совершенствоваться в живописи, но не как стипендиатка академии, и не на свои средства, а ей, талантливой дочери разоренного процессами отца, оказали помощь Шереметевы.

Мы знаем, что она посещала мастерскую Иванова. Там, в Риме, ее нагнало послание Кукольника, в котором тот писал: «Сообщаю Вам новость тайную, но перед Вами считаю долгом быть откровенным из уважения к Вашему Высокому Таланту и пламенной любви к искусству — я задумываю издавать чисто художественную газету» (это и есть та газета, о которой упоминалось выше в связи с братьями Чернецовыми и дамским меценатством). Нестор Кукольник просил Евдокию сделаться корреспонденткой из Рима, чтоб рассказать читателям «Художественной газеты», как живут наши художники за границей... Затем из воспоминаний сестры Евдокии, Екатерины, известно, что Евдокия Михайловна некоторое время жила в Париже, рисуя в ателье Делакруа. Встречалась ли Евдокия в Париже с Мицкевичем, не знаю, но, как известно, один из лучших портретов Мицкевича написан именно Делакруа...

Затем следуют неведомые, неясные для меня сороковые годы Евдокии Бакуниной. В 1847 году, когда над Европой уже готова была взойти звезда сорок восьмого года, в Москве скончался отставной генерал и сенатор, доживав-

ший в белокаменной как частное лицо, старик Бакунин, и можно предполагать, что Евдокия Михайловна была там на похоронах отца. А в 1854 году она была в Петербурге, где хлопотала о свидании с заключенным в Петропавловской крепости мятежным своим кузеном Мишелем, вздумавшим в сорок восьмом году в Дрездене обороняться от прусских карателей мадонной Рафаэля и затем выданным пруссаками Николаю I.

Стихи о деве есть не только у Федора Тютчева, но и у скромной сестры Евдокии Михайловны, Прасковьи, тоже есть стихи, в которых говорится: «Провидение не в светлый час щедрот своих, но в тяжкую минуту гнева дало постигнуть робкой деве святое таинство искусств», а люди «насмешкой встретили ее надежду и мечты», и потому судьба девы оказалась предрешена: «В ней сердце пламенное сдавят, отречься все ее заставят от дум святых для суеты». Но я думаю, что если все это Прасковья относила не только к себе, а и к сестре (кстати сказать, все три сестры — Прасковья, Евдокия и Екатерина — замуж не вышли), то по отношению к Евдокии Прасковья была не права. Отнюдь не об отрешении от дум святых для суеты говорит все последующее. В Москве ли матушке, как величала Евдокия Михайловна старую столицу, в Твери ли, в Торжке ли, в деревне ли — всюду Евдокия Михайловна существует отнюдь не как ординарная помещица, хотя именно так — «тверская помещица» — подписала она одно из своих писем. Письма эти при всей своей сдержанности дышат злобой дня. Если в пятьдесят четвертом году Евдокия Михайловна болела сердцем за мятежного кузена Михаила, так в 1864 году помыслы ее заняты были судьбой заключенных в ту же пору в Петропавловскую крепость тверских мировых посредников братьев Бакуниных, подписавших известный проект ограничения самодержавия. Из других писем Евдокии можно видеть ясно, что в дальнейшем она продолжала жить интересами своего времени. Видно, как она тосковала вдали от столиц без новых книг, без журналов... «Необходимы чужие мысли, когда свои душат. Грустно». Временами она возвращалась к живописи, но из ее корреспонденции ясно, что она больше и больше уходила в заботы мирские, деревенские, хлопоча по хозяйству, хлопоча и о крестьянах. В то время как сестра ее Екатерина открыла в своих сельских угодьях больницу, Евдокия в своих владеньях организовала школу для крестьянских детей, которую посещало до сорока учеников.

Словом, все в духе времени. В этом смысле хорошо и, пожалуй, точнее и короче всех других авторов сказала о Евдокии и ее сестрах в книге своей о русских женщинах лектриса Высших женских курсов госпожа Щепкина: мол жизнь не улыбнулась сестрам Бакуниным, и они, за исключением прославившейся во время Крымской войны Екатерины, как слишком ранние цветы, не достигли полного расцвета. Три сестры! И одна из них, Евдокия, глядя из окошка своего деревенского обиталища на свою школу, порой наверняка заглядывала и в шкатулку с заветными письмами.

А письма, нам неведомо какие,
О чем Адам Мицкевич вел в них речь,
До старости хранила Евдокия
И завещала: — После смерти сжечь!

Рим со стороны моря, или рассказ о Вельсо Муччи и его жене Доре

1

Вельсо Муччи был, по-моему, хорошим поэтом, хотя многие товарищи пожимали плечами, спрашивали: что ты в нем нашел? Он, мол, прекрасный человек, но просто журналист, партийный функционер, грешащий свободными стихами, и не больше! Вот, мол, у Монтале и Квазимодо — это стихи! В конце концов они, эти критики Вельсо, меня разозлили, и я сказал:

— А, все вы теперь пишете белыми стихами и переводите теми же самыми белыми стихами и классические рифмованные стихи, как будто у вас не хватает умения передать ритм и фонетику подлинника!..

И тогда начались споры, разговоры о достоинствах белого стиха и его преимуществах при переводе, об устарелости стиха рифмованного и о чем угодно, только не о поэзии Вельсо Муччи.

— А мне очень понравились его стихи под названием «Некоторое замешательство в конце августа 1955 года»,— сказал я.— Они тоже почти нерифмованные, эти стихи о том, как кончается лето. А:

В сентябре, вероятно, приедет Сибилла Алерамо,
чтоб прочесть кой-что новое
друзьям из Кинео...
Марио Тобино из Афин с Паолой
прислал храм Тезея;
Тристан Тизара — картину «Приход пироскафа
на остров Эльба».
(...И Дора,
блуждая весь август по этой земле колодцев и дыма,
воочью узрела свой облик, простой и спокойный,
в обличии ближних своих, на земле обитающих тоже.)

Дора — это жена Вельсо, очень хорошенькая молодая римлянка, именно такая, как изобразил ее в своих стихах Вельсо. Далее в этих стихах говорится о празднике газеты «Унита» и о том, что конец этого лета омрачается убийствами в Марокко и в Алжире, и вообще о том, что очень многое нужно исправить еще в этом мире.

Вельсо умер, кажется, от разрыва сердца, прилетев по делам в Лондон. Я виноват перед Дорой, что не послал ей ни телеграммы, ни письма с выражением сочувствия: узнал слишком поздно, что, конечно, не служит мне оправданием. Пусть попадутся на глаза Доре эти строки: если мой рассказ чем-нибудь и грешит против будничной действительности, то это от любви к Вельсо.

2

И вот однажды у себя дома, в Риме, Вельсо сказал нам, то есть мне и еще двум советским товарищам:

— Ну, хватит спорить, разговаривать, поехали куда-нибудь, на что-нибудь посмотрим!

Это было его любимым делом — показывать друзьям, особенно заграничным, что-нибудь интересное и важное. У него есть даже такое стихотворение (цитирую в переводе Веры Инбер):

«Поездка по Италии — это праздник. Чудесно весной ранней Увидеть Сицилию, Флоренцию, Рим. Но внезапно возникнет у вас желание На два дня заглянуть в Турин...» В рабочий Турин, где «ваш итальянский друг» (то есть подразумевается сам Вельсо) вам показать был бы рад Дом, в котором жил Тассо; правда, после бомбардировок остался один фасад. Показать вам Эразмовский университет, госпиталь, где умер Клеман Маро, старинный французский поэт. Туринку юную показать, красивей ко-

торой нет. Он хотел вас свезти в городок, где некогда жил Руссо. Но взамен того — со старыми рабочими встретиться вам помог». Этот рабочий — итальянский шахтер — с французскими шахтами одиннадцать лет был знаком. Пролетарий с ясным разумом, с ярким, образным языком... Он один из тех, кто в сорок третьем году против фашизма, против войны был первым в первом ряду. Вы слушаете его внимательно. И вас удивит едва ли, что «Независимый профсоюз», детище предпринимателей, на выборах будет провален. А «Всеобщая Конфедерация Труда», Наше детище, наша любовь, солидарность рабочих на выборах продемонстрирует вновь...

Так писал — попросту, нехитро — Вельсо Муччи, и такую Италию он показывал добрым людям: «Мы против войны... и ракетных баз,/ Против атомной вакханалии. И если бы не рабочий класс — Не ездить бы вам по Италии...»

Итак:

— Хватит сидеть дома, поедем куда-нибудь,— сказал нам Вельсо.— Куда вы хотите?

— В катакомбы! — сказал один из нас.

— В катакомбы! Что вы там забыли? — воскликнула Дора.— В такой прекрасный день — в катакомбы! Поедемте лучше к морю!

— Но ведь ты никогда не была в катакомбах! — сказал Вельсо. И, обращаясь к нам, добавил: — Она стопроцентная римлянка. Как некоторые москвички сроду не бывали в Коломенском либо на колокольне Ивана Великого, так она никогда не бывала в катакомбах!

— Ну и что же! — воскликнула Дора.— Допустим, и не бывала! — Но особенно спорить не стала, и мы поехали в катакомбы святого Себастиана...

Мы спустились вниз и повели Дору по самым темным коридорам коричневого подземного царства мертвых и вышли наконец к аккуратной белой усыпальнице будто бы, как сказал нам гид, святого Петра...

Удрученные подземными страданиями Доры — ей не хватало воздуха,— мы выбрались на поверхность, и Дора, увидев солнце небесное, воскликнула:

— А теперь к морю! К морю!

— К морю! В Остию!

И все мы подхватили:

— К морю!

— Купаться!

Но Вельсо, открывая машину, сказал, что римляне в это время года, осенью, не купаются, ибо считают, что пусть вода даже и не холодна, но от купания в эту пору случается лихорадка. Однако мы сказали, что просто надо посмотреть, почему Остия называется Остией, то есть устьем, устьем Тибра. Откуда такое сходство итальянского названия со славянским смыслом: Остия — устье? Не потому ли, что и Равенна это — равнина? Это все надо выяснить, говорили мы. И наши машины (я забыл сказать: их было две!) помчались из города за его пределы, в западном направлении, к Тирренскому морю.

Действительно, пляжи Остии оказались пусты, никаких купальщиков не обнаружилось. Море набрасывалось на берег и отбрасывалось от него с одинаковой силой и равнодушием: чего, мол, вы притащились, не знаете разве о лихорадке?

Я помню скрежещущие, как трапы, совсем по-морски, аккуратные деревянные мостки, обрамляющие желтые квадраты песка, и какие-то тускло-цветные каменные цветочки и лепестки на дне каких-то сухих, если не путаю, древнеримских остийских бассейнов. И помнится, я задержался, чтоб их рассмотреть, а итальянские товарищи говорили мне: «Останься на день, останься! Улетишь домой со следующим самолетом!» Но я отвечал: «Да нет уж, посмотрю в следующий раз!»

Я думаю, эти керамики и мозаики уцелели, не уцелел только Вельсо Муччи — его беспокойное сердце разбилось. Мне его очень жаль.

3

А тем временем подул ветер с моря, и мы поехали с этим попутным ветром обратно в Рим.

Мы мчались по хорошей, как мне показалось, следующей всем извилинам Тибра дороге. И как мне показалось (я повторяю это еще раз, чтоб не дать дотошным географам, историкам литературы и историкам вообще рассуждать о каких-нибудь, тех или иных, неточностях моего рассказа) — итак, мне показалось, что между каких-то ивановски-евангельских пиний, хорошо известных каждому посетителю Третьяковки по «Явлению Христа народу», где под каждым деревом сидит Гоголь, и на рыжем фоне хорошо известной мне по стихам Юлиуша Словацкого

Кампаньи, и где-то поблизости от воспетого Маяковским древнего римского водопровода я вдруг явственно увидел стены Древнего Рима. Увидел их, эти древние стены, как бы в ответ на глухой голос Вельсо:

— Рома!

До тех пор я смутно ощущал Рим в целом, должно быть находясь под влиянием первого впечатления, когда воспринял Рим с самолета лишь по электрическому пунктиру улиц и площадей, подлетая к городу ночью. А теперь, одновременно с глухим возгласом Вельсо, я увидел стены Рима как путешественник, нетерпеливо и в то же время неторопливо движущийся в былые времена к Вечному городу с моря.

Я приближался к Риму как бы заново, как бы из древности. Это было удивительное ощущение: я как будто почувствовал себя древним греком, иудеем, варваром или живым апостолом Петром, чью усыпальницу мне показывали перед этим в катакомбах. Но и эти катакомбы вдруг перестали для меня быть просто суммой сумрачных лабиринтов, полных темно-коричневыми костьми и черепами, а дали вдруг ощущение многонационального римского нутра, недр, а рядом с этим и напоперек тому ощущение Пантеона и всего остального — и терм Диоклетиана, и терм Каракаллы, и Тибра, еще не пересыхающего, как в наши экологические времена, и Колизея, и вокзала, и аэропорта, и редакции газеты «Унита», а в то же время и многих других редакций; и Форума, и улицы Венеции, и волчицы на Капитолийском холме... И все это как бы встало на свои места, образуя целый Рим, который был в моем сознании еще за час до этого неким скопищем разрозненных частностей. И вокруг всего этого — как мне казалось — целого вдруг, как кубические грибы, выросли новые стандартные многоэтажные дома, и с другой стороны — живописные руины и деревья Аппиевой дороги, спасенной римскими коммунистами от угрозы реконструктивной модернизации, той самой, по которой когда-то куда-то бежал, прячась от угрозы смертельных розог, Нерон.

Вот какой отклик вызвало во мне восклицание Вельсо: «Рома!»

А что же меня ждало в самом Вечном городе?

Первое, что я услышал по возвращении в него, было:

— Ну, теперь еще надо успеть сегодня в Трастевере посетить одно место. Там прекрасные кофточки, я уже купила себе. Но вы тоже должны привезти в подарок своей

супруге такую кофточку! — сказала Дора.— Ну, Вельсо, собирайся же!

Дора и Вельсо познакомились с Ниночкой еще в 1956 году на Московском фестивале.

Черты сходства

Я думаю, что не стоит подробно объяснять, как болезненно реагируют на обвинение в похожести на своих собратьев все более или менее нормальные художники пера и кисти. Благосклонно принимается только констатация похожести на самые высокие и далекие образцы — на Гомера, на Фидия, на Рафаэля, но и это умнейшими из сравниваемых принимается не столько всерьез, сколько в похвалу, в лесть. А походить просто на старших собратьев — не дай боже! Похожесть если не равняется, то приравнивается к подражательности. И намеки не только на творческую, но даже и на физическую похожесть принимаются с некоторым подозрением: нет, уж лучше, мол, походить на самого себя!

Что до меня лично, то я всегда принимал совершенно спокойно замечания о своей похожести сперва на Джека Лондона, затем на Есенина, затем на французского артиста Жана Маре и, по мнению других, еще на советского артиста Столярова, игравшего в известном фильме «Цирк» циркового артиста по фамилии Мартынов. Если Джек Лондон и был моим высоким юношеским увлечением, то я твердо знал, что Есенину не подражаю, а что касается до обоих артистов, и французского и нашего, то тут уж мне и вовсе нечего опасаться.

Так я и привык к мысли о том, что похож сам на себя, и был совершенно спокоен до тех пор, пока к нам не пришел Рафаил Такташ, сын татарского поэта Хади Такташа, чьи стихи я перевел на русский. Рафаил в признательность за это, будучи художником, решил написать мой портрет. Это было в середине пятидесятых годов, я уже не походил ни на Джека Лондона, ни тем более на молодого, в сущности, человека Сергея Есенина, но каков же был мой ужас, когда кисть Рафаила изобразила меня разительно похожим на постаревшего Достоевского. На этом морщинистом лице не хватало только усов с бородой.

— Похож ли я или не похож, но я моложе! — восклик-

нул я.— Не знаю, почему я вам кажусь стариком, Рафаил! Разве только потому, что вы сами как человек гораздо моложе воспринимаете меня старцем, которым, кстати, не был и Достоевский!

Горько усмехнувшись, Рафаил забрал портрет и выставил его на выставке в Парке культуры и отдыха имени М. Горького. И я нарочно, чтобы доказать несходство, пришел на эту выставку и стоял под портретом, убеждая Рафаила, что никто и не признает в человеке, изображенном на портрете, меня! Но Рафаил, улыбаясь так же угрюмо, как и прежде, утверждал, что портрет хорош, и после выставки куда-то его девал, но фотокопию с него подарил мне. Казалось, что тем дело и кончилось, и я как-то перестал думать о неправомерности своего сходства с Достоевским, да и вообще о проблемах сходства, и это длилось до тех пор, пока я не попал в Лувр.

А в Лувр я попал очень удачно, не в качестве посетителя-одиночки, но и не с какой-нибудь бестолковой туристской экскурсией, а нас с Борисом Слуцким любезно сопровождала по Лувру опытная искусствоведка, старая парижанка. Таким образом, я имел возможность быстро найти все, меня интересующее,— Босха, Шардена и те скульптуры, которые меня издавна влекли. Но дело не в том, скажем, что луврский Босх не оправдал моих надежд или, наоборот, я понял, что никакая репродукция не передает восхитительной надменности правой ноздри Венеры Милосской, а дело в том, что я обнаружил неожиданное сходство некоторых классических образов с лицами наших современников и добрых знакомых. Так, например, мне сразу бросилось в глаза, и мои спутники с этим согласились, что Мона Лиза разительно похожа на известную переводчицу Л. Зонину. А когда мы пришли в тот зал, где сосредоточены римляне, я понял, что один из бюстов древних римлян удивительно схож с Евгением Евтушенко. Все это несколько озадачило меня. «Выходит,— подумал я,— что при всей своей самобытности и неповторимости мы можем все-таки ужасно походить на кого-то из прошлого». И при этом мне вспомнились и замечательные реконструкции Герасимова, восстановленные им по черепам облики чрезвычайно вдумчивых, интеллигентных номадов, и особенно поразивший меня бюст некоего совершенно интеллектуального питекантропуса, пытливо, как бы стараясь постичь тайны космоса, глядящего в небеса. «Но это еще вопрос,— подумал я,— кто на кого похож. Мы на

древних или древние на нас, и не следует ли вместо того, чтобы находить в себе черты своих предков, поставить вопрос по-другому: может быть, в их обликах, созданных художниками былых времен, были выражены черты стремления стать людьми будущего? И таким образом, не мы походим на древних, а они в чем-то старались, стремились по мере своих сил быть похожими на нас, их потомков».

С таким настроением я покинул Лувр, для того чтобы отправиться в Музей современного искусства и любоваться там замечательным металлически-полым, с пустым ртом-глазом и с фантасмагорической грудной клеткой «Пророком» Пабло Гаргальо. Но все-таки ни Гаргальо, ни Мур, ни Цадкин не поразили меня так, как некая скульптура, которую я увидел несколько позже, возвратившись домой в Москву. Я говорю о памятнике Лермонтову, установленному напротив бывших Красных ворот. Я знал, что он существует, но как-то он все не попадал в поле моего зрения. И вот однажды, едучи мимо, я ощутил вдруг, что вижу возвышающегося на пьедестале одного моего знакомого молодого поэта. То есть всем своим легким обликом эта статуя напомнила мне его. И мне показалось, что я понял, почему это так: видимо, скульптор, создавая далекий для него образ Лермонтова, воспользовался как моделью обличьем более близкого и понятного для себя человека. Может быть, я не прав, но мне так показалось. И тут мне вспомнились и Цезарь, похожий на Евтушенко, и Мона Лиза, похожая на Л. Зонину, и интеллигентные неандертальцы. Может быть, скульптор, создавший этот бюст римлянина, скорее всего постфактум придал ему черты не столько Цезаря, сколько какого-нибудь писателя, стремясь выделить заслуги Цезаря как автора записок о галльской войне, о гражданской войне и реформатора календаря — словом, мыслителя и поэта. Вот откуда и похожесть Юлия на Евтушенко, эта похожесть литератора на литератора. Может быть, творец Джоконды, изображая реальную Мону Лизу, не то чтобы сознательно приукрашивал ее образ, но создавал, влагал в этот образ черты какие-то еще более высокие, если не божеские, то всечеловеческие; и таким образом, можно сомневаться в том, что Джоконда, так сказать, фотографически, зеркально похожа на Мону Лизу, но нельзя сомневаться в том, что она похожа на Л. Зонину,— это-то уж я видел своими глазами! Я не хочу сказать, что Л. Зонина прекраснее живой натуры Моны Лизы, но она въявь носит

те черты, которые художнику в Моне Лизе только грезились, а художнику всегда грезятся черты будущего, желаемого, еще небывалого въявь, либо черты какого-то героически-легендарного золотовекового прошлого, которого и не было въяве, или же, наконец, этот художник придает образам прошлого идеализированные черты той современности, которой живет.

Вот какие мысли породило во мне созерцание памятника Лермонтову близ Красных ворот и, перебрав все эти возможные варианты творческой психологии, я, естественно, вспомнил и о своем портрете, созданном Рафаилом Такташем. Что же хотел выразить Рафаил, изобразив меня похожим на Достоевского?

Вернувшись домой, я разыскал фоторепродукцию этого портрета, и мы с женой обнаружили довольно удивительный факт, а именно что этот портрет далеко уж не столь на меня не похож, как это казалось нам раньше. Вернее, он стал походить на меня гораздо больше, чем походил раньше, то есть я, став за это время много старше, перевалив за шестьдесят, стал больше походить на Достоевского той похожестью, которую и предугадал в свое время угрюмо-вдохновенный Рафаил Такташ.

— Он писал меня как бы в будущем! — воскликнул я.— И ведь, черт возьми, он не случайно приметил во мне если не личное сходство — я не монголоиден, но некий интерес к Достоевскому, который все рос с течением последнего десятилетия именно к Достоевскому у меня, да и не только у меня, конечно. Не уловил ли Такташ, таким образом, дух времени?

— Ты, как всегда, фантазируешь,— возразила мне жена.

— Нет, нет! — сказал я.— Не может быть. Но может быть, в этом портрете Такташ выразил не столько даже мой, сколько свой повышающийся интерес к Достоевскому. Вспомни, портрет писан во дни пырьевской кинопостановки «Идиота», этого прекрасного зрелища, давшего развернуться таланту Яковлева в образе князя Мышкина и Борисовой в образе Настасьи Филипповны. Конечно, это должно было как-то отразиться и на творчестве Такташа. Да и на нас с тобой! Ты помнишь, какое прекрасное впечатление произвел на нас этот фильм. Это, конечно, не значит, что я только с тех пор стал особенно интересоваться Достоевским. Нет, конечно, но это был дух времени: мой уже существующий интерес к Достоевскому, по-

становка Пырьева и интерес к ней Такташа — все это совпало и выразилось в его нехитром, но в какой-то мере пророческом полотне; в нем, как и во всяком художественном произведении, проявился элемент нового, неожиданного. Ведь и пырьевская постановка «Идиота» в такой форме и с такими проникновенно играющими артистами была немыслима раньше — ни в дореволюционные, ни в довоенные времена, следовательно, и тут остается в силе моя формула: мы те, которых не бывало прежде! Да впрочем, так бывало и всегда, ведь и сам-то Достоевский был человеком не прошлого, а будущего и только через сто лет дождался и понимания, и правильного истолкования, и действительно блестящего воплощения своих замыслов посредством искусства для него будущего — искусства цветного кино.

— Но почему же ты-то стал похож на Достоевского, а не на человека будущего! — ехидно сказала жена.

— Потому что, видимо, не исчерпано то, что как-то объединяет с Достоевским, остающимся великим провидцем будущего и ныне! — вот единственное, что я нашел ответить на этот коварный вопрос.

Жена считала, что все это вздор: и Такташ не изобразил меня похожим на Достоевского, и я сам нисколько на Достоевского не похож, и что вообще все мысли, излагаемые в данной новелле, хаотичны и бессвязны. И я бы перестал думать обо всем этом, если бы не еще одно происшествие, случившееся уже во время демонстрации нового фильма по Достоевскому — «Преступление и наказание», который нам понравился меньше, чем «Братья Карамазовы», и, по нашему мнению, не мог выдержать никакого сравнения с «Идиотом». И вот в те дни, когда Раскольников уже сошел с экранов, однажды вечером я шел по Ломоносовскому проспекту, было сыро и скользко, экстраординарная, небывало теплая зима отвратительно действовала на сосуды, хваткий черт высокого давления назойливо хватал меня когтями за грудь, и вдруг, не доходя до кино «Прогресс», где на смену «Преступлению и наказанию» шел уже какой-то эфемерный боевик, я ощутил, что кто-то берет меня под руку.

— Так скользко,— услышал я.

Это был голос девицы, низкорослой девицы в скромном пальтеце и платочке. Переведя девицу через скользкое место, я с деликатным поклоном высвободил руку и свернул к нашему дому. Но, оказавшись уже перед витриной

хозяйственного магазина, я вдруг ощутил, что меня снова берут под руку.

— Теперь я вас поддержу,— услышал я голос той же девицы.

«Господи,— подумал я,— неужели я выгляжу так старо и немощно, что меня хотят поддержать, чтобы я не упал?»

— Пройдемся! — сказала девица.

— Но куда?

— Куда хотите. Мне все равно,— торопливо проговорила она.— Идем, идем!

И тут меня охватил ужас. На кого я похож? На кого похожа она? Или действительно мы не те, которых не бывало прежде, или действительно я похож на человека, который берет девушек с улицы? Или действительно она похожа в лучшем случае на Сонечку Мармеладову? Или еще хуже — ведь она моложе! И тут я со страхом подумал: неужели же я не случайно попал в такую кошмарную, в духе Достоевского, ситуацию? Но может быть, эта девица просто безумна, больна?

— Вы не больны? — спросил я, убедившись, что она не пьяна.— Идите домой, идите!

— Не хочу, не хочу! — закричала она.— Я вас сразу узнала. Вы же киношник!

— Вы ошибаетесь! — с облегчением сказал я, вспомнив свою якобы величайшую похожесть на артистов, то есть на француза Маре, на русского Столярова, который играл циркового артиста Мартынова.— Вы заблуждаетесь, я не артист!

— Не артист, так я не говорю, что артист, да мне и лучше, если режиссер. Я вас сразу узнала. Я так хочу сниматься!

Я остановился. Что делать? Это была девушка как девушка, одета скорее скромно, чем наоборот. Ее личико ничем не выделялось среди других. В ее голосе, в ее словах я не ощутил ничего другого, кроме искренности. И тут мне вдруг вспомнилось: надо ответить на письма!

О нет, не на ту гору писем, писем от лиц разного пола и возраста, то есть от тех людей, которые хотят не сниматься, а печататься! С этими людьми, авторами перепевов тех или иных авторов от Маяковского до Исаковского, дело проще: отвечай им или не отвечай, а они все равно будут продолжать свое-чужое до тех пор, пока не иссякнет в том потребность. Нет, я вспомнил, что надо ответить тем, кто, по-моему, действительно нуждается в помощи.

Сколько их таких, талантливых, которых хоть за шиворот тащи в литературу, а они все равно упираются!

Так подумал я. «Но может быть, и в этой дурочке заложен дар, в данном случае сценический! — подумал я вслед за этим.— Надо бы, конечно, порасспросить ее! Но с другой стороны, ведь привяжется, начнет докучать, а потом еще и какие-нибудь истерики!»

И, сознавая, что поступаю эгоистично, я все-таки освободил руку.

— Простите! — вздохнув, сказал я.— Еще раз говорю, я не киношник! Прощайте.

— Куда же вы? — крикнула она, пытаясь вцепиться мне в рукав еще крепче.

Что было дальше? Сделав по инерции еще несколько шажков за мною, она остановилась и уже вслед мне выкрикнула безумно. Что бы вы думали, она выкрикнула дико и бессвязно? Да то же самое:

— Вы картины снимаете, я знаю!

И я, даже не пытаясь разобраться в бессмысленной осмысленности ее слов, не пытаясь понять, почему она почувствовала мою причастность к ее жизни, а просто стремясь скрыться с ее безумных глаз, быстро шагал, повторяя нечто вроде стихов, стихов, не написанных, кстати, и до сих пор. «Боже, на кого же мы бываем похожи, аж мороз пробирает по коже, когда подумаешь, на кого же мы бываем похожи!»

И, холодея от этой мысли, я почувствовал себя, нет, не стариком Достоевским и не одним из его героев, но металлически-холодным и страшным «Пророком» Гаргальо с полым ртом, дико-продолговатым левым глазом и фантасмагорической грудной клеткой, в которой бушует огромное замысловатое сердце.

В мире книг

Сергеев-Ценский

Уже Бунин видел, что «новые люди стали появляться в степи». Это из маленькой поэмы в прозе, напечатанной под названием «Руда» в «Журнале для всех» в августе 1901 года. Бунин имел в виду степь южнорусскую, где над пыльными посевами потемнел от пыльных ветров кроткий

лик Богоматери, те края, откуда люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу, уходить в далекую Сибирь.

Вспоминая о прошлом, писал он: «Помню трогательные молебны перед Заступницей Всех Скорбящих,— в поле под открытым небом...», «Но жизнь не стоит на месте... Она пребывает в постоянном обновлении. Новые люди пришли в степь, длинными буравами сверлят землю», «Руда!.. Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов... Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь?»

Позднее это печаталось под названием «Эпитафия». Я не могу сказать, что мне, родившемуся через четыре года после ее опубликования и познакомившемуся с этой маленькой поэмой уже в революционные годы, эта ламентация была чужда. Нет, конечно! Глядя на все это из-за Урала, из Сибири, куда мало-помалу уходили упомянутые Буниным люди, не испытывая никакой грусти при виде людей с буравами, я все-таки жадно воспринимал все эмоции своих физических и духовных предков, уроженцев Европейской России, и, не говоря уж о наслажденье стихами о России менделеевского зятя Александра Блока и профессорского сына Андрея Белого, часто-часто, особенно в сумрачные летние вечера, повторял хлебниковский шедевр: «Вечер темец тополь земец море реч ты далече!»

Однако наиболее остро, наиболее объемно почувствовать печаль полей, печаль русских полей дал мне Сергей Николаевич Сергеев-Ценский.

Собственно, он прямо продолжил «Эпитафию» Бунина, этот Сергеев-Ценский, так же, кстати, как и Бунин, сын участника Севастопольской обороны, да и сам-то известный нынешнему широкому читателю главным образом, пожалуй, как автор «Севастопольской страды».

Судьба Сергеева-Ценского сложна: жил, восхищался, возмущался, грешил, заблуждался, постигал истину, как всякий художник — «Жил беспокойный художник в мире лукавых обличий». Он много задумывал, не все сделал, кое-что переделывал под старость — например, своего пронзительного «Бабаева». И порой я думаю: не его ли, Ценского в том числе, имел в виду Бунин, ругаючись на русскую литературу своего времени, того времени — времени реакции, точнее. Но мне при имени Сергеева-Ценского вспоминается не «Бабаев», «повесть о крайнем индивидуалисте, ставшем царским карателем», как сказано в «Краткой литературной энциклопедии», то есть повествование об окончательно отупевшем от пьянства офицере провинци-

ального гарнизона, скатившемся от простого разврата и игры в кукушку до некрофилии. Нет, ни гениальный «Бабаев», ни «Пристав Дерябин», ни «Медвежонок» помнятся мне через полвека отчетливо и ясно, но, конечно, «Наклонная Елена» — сильнейшая, по-моему, вещь Сергеева-Ценского!

Это произведение относится к предвоенной поре, как раз к 1913 году, когда Ивану Бунину господь бог продиктовал провиденциальное стихотворение «Мушкет», к тем временам, когда Ценский выступил, по определению Горького, «большим русским художником, властелином словесных тайн, проницательным духовидцем и живописцем пейзажа».

Я, зеленый подросток, читал Сергеева-Ценского тех времен, не зная ни Донецкого бассейна, ни оценки творчества Ценского Максимом Горьким, но и без нее явственно видел тень «Наклонной Елены», отбрасываемую ею на сумрачную печаль полей. Я видел будто воочию, как над помрачневшими от угольной пыли посевами пшеницы по воздушной электрической дороге плывет на заводы с рудника уголь, добытый шахтерами, которых иногда засыпают обвалы, иногда калечат, уродуют, затаптывают, загрызают взбесившиеся подземные лошади в недрах «Наклонной» или еще другой — «Вертикальной Елены». «Наклонная Елена», оборудованная еще хуже «Елены Вертикальной» (о которой упоминалось только мельком), была одной из шахт бельгийской компании в Донбассе. Впрочем, я не знаю, так ли называлась шахта на самом деле, я ведь рассказываю не об историческом факте, а о талантливом повествовании Сергеева-Ценского, но все, что рассказано в этом его повествовании, казалось и кажется мне абсолютной реальностью, начиная с «Наклонной Елены» взамен старой бунинской богородицы, склоненной над печалью полей, и кончая переживаниями двадцатитрехлетнего инженера, в задачу которого входило, чтоб уголь в добыче обошелся не в 6,4 копейки, а 5,3 копейки пуд.

И вот сейчас, более чем через полвека, когда я вспоминаю о «Наклонной Елене», мне кажется, что я дышу и свежим ветром южных полей, заглушаемым грошовыми ароматами лавчонок шахтерского поселка, и едкими крупицами угольной пыли, и могильным смрадом подземных обвалов, то есть всем тем отнюдь не благовонным духом, который и породил Революцию. И когда я при этом читаю, что-де в годы реакции Сергеев-Ценский «испытал на себе

влияние поэтики модернизма» и в некоторых случаях у Ценского отмечается «чрезмерная усложненность психики героя», то наиболее убедительно во всех общих, но ко многому обязывающих, сколько-благочестивых писаньях литературоведов-энциклопедистов наиболее убедительно звучит лишь концовка, я думаю справедливо констатирующая, что «творчество Сергеева-Ценского до сих пор недостаточно изучено». А ведь оно посвящено, как говорят сами высокомудрые исследователи, очень важным «вопросам изображения различных слоев охваченного предреволюционным кризисом русского общества... интеллигенции, сочувствовавшей рабочему классу, и... другой прослойке интеллигенции, рефлектированной, индивидуалистически настроенной».

Да, разумеется, еще и еще раз прав старый добрый Екклезиаст: «Всему свое время, время всякой вещи под небом». Все на свете подчинено законам времени, и можно по стилю и смыслу узнать не хуже, чем по радиокарбоновому анализу, по радиогеохронологическому методу возраст написанного.

Действительно, Сергеев-Ценский талантливо и ярко выдает свою принадлежность к художникам слова начала XX века. Можно с высоты конца этого века, то есть с наших позиций, свысока судить, насколько первично написано одно и насколько вторично другое, например, образ околоточного надзирателя или несчастной проститутки, которую юный инженер, герой «Наклонной Елены», жалеет, а она обкрадывает его во имя своих малолетних голодных дочек. Знакомы, слишком хорошо знакомы, и не только по «Игроку» Достоевского, сцены игры вкрупную, игры ва-банк. Но это и этому подобное, известное уже раньше из литературы, вторичное, как бы забывается, забывается так же, как, скажем, забывается то, что Карамзин был сентименталистом, но мы-то ведь, если признаться честно, и вообще судим его не столь как автора «Бедной Лизы», сколь как автора «Писем русского путешественника» и автора ценнейшей по фактическому материалу «Истории государства Российского».

Итак, не будем с горячим критическим пристрастием заниматься сентиментализмом Карамзина и туманными вопросами влияния на Сергеева-Ценского поэтики модернизма, а также вопросами чрезвычайной, по мнению некоторых литературоведов, усложненности психики героев этого автора. А вернемся к тому неповторимому, что оста-

вил он нам не для того, чтоб оно стало добычей книжных червей в глубине книгохранилищ. Заглянем как будто бы не в «Краткую Литературную энциклопедию» (том 6, стр. 795), а как бы глазами современника Сергеева-Ценского с высоты кургана Могила Мечетная туда, за Донецкий кряж, в Донбасс, в тот его южный край, который тяготеет к Ростову-на-Дону. Вглядимся в инфернальный подземный мир шахт. Присмотримся к незримо присутствовавшим там бельгийским концессионерам, к эфемерным домашним очагам рабочих выселков и всяких нахаловок, к чудовищно тоскливым невразумительным надписям на степных ветхих могильных крестах. И тогда в тени «Наклонной Елены» мы увидим человека, по определению Корнея Чуковского,— «человека с огненным взором и невероятно густой шевелюрой», писателя, наследие которого еще только ждет настоящего внимательного изучения.

Когда я вспоминаю о Сергееве-Ценском, мне приходят на память еще два имени, два человека, два его современника.

Вспоминается мне Винсент Ван Гог, старший современник Сергеева-Ценского, умерший в 1890 году, когда Сергею Николаевичу было всего пятнадцать лет; Ван Гог, художник, тоже живший немало среди шахтеров, среди рабочих и гениально изобразивший мир, находящийся под властью богатеев; художник — изобразитель «Едоков картофеля», художник узников («Прогулка заключенных»), художник взбудораженной природы турбулентных небесных бездн.

Ади

А второй человек, который вспоминается мне, когда я пишу эти строки,— это замечательный венгерский поэт начала нашего столетия Эндре Ади. Я вспоминаю его чаще всего в книжных магазинах и букинистических лавках, видя там молодых людей, склонившихся над зеркально-стеклянными витринами этих торговых заведений. Чего ищут они, эти юноши и девушки, не различимые по костюмам и прическам, а различимые только разве по растительности на лице? Кого видят они в стекле витрин, кроме своих собственных отражений? Едва ли они, гоняющиеся за гвоздями сезона, за бестселлерами, ищут там Сергеева-Ценского или тем более Эндре Ади, который, кстати, так

хорошо написал о них в стихотворении «Я бедных юношей жалею»:

Бедняги юноши, доступно вам
Услышать лишь из наших ветхих книжек,
Что шепчут волны Сены по ночам.

У Ади волны Сены, но вообще-то говорит он не только о Сене и о Дунае, но и о Тибре и Арно, о Риме и мире:

Мертвы столетия, не только Рим когорт
Отстал от вас, но целый мир священный
С искавшими прекрасное — он мертв!
Жизнь обновляется, живет и мчится...

Кстати, прямо как у Бунина в его «Руде», в его «Эпитафии» первых дней века, помните: «...Жизнь не стоит на месте... она пребывает в неустанном обновлении».

Жизнь обновляется, живет и мчится, но
Какой была, когда брала разбег,— вам даже
И знать нельзя, познать не суждено!

И лишь из ветхих книг о лучших днях былых,
Все памятующих, стоящих, как на страже,
Вы догадаться можете о них!

Он прав и не прав. Горько прав и счастливо не прав. Он прав, что обо всем лучшем, что было прежде, последующие поколения узнают именно из книг мыслителей и поэтов былых времен. Но он не прав, называя эти книги мудрецов и провидцев одряхлевшими книгами, ибо если добрые книги и ветшают, то ветшают они или от пыли забытых книгохранилищ, или от усердного перехода из рук в руки, от зачитанности читателями, ветшают, так сказать, своим бумажным телом, а не бессмертной душой! Таковы и творения самого Ади, которые дают молодым поколениям возможность не только догадываться о прошлом, но и познавать это прошлое, что совершенно необходимо для созидания Грядущего.

Вот о чем думал я, сидя за своим рабочим столом, на котором лежали изветшавшие, пожелтевшие от времени первоиздания стихов Ади. Эти же строки Ади, кстати, вспомнились мне и в Париже, в любимом Ади Париже, когда я в сумерках стоял на набережной, слушая, что шепчут волны Сены.

Эти же строки я повторял, блуждая за Дунаем на высотах Буды по улице Эндре Ади, есть такая улица в Будапеште. На кручах Паннонской стороны я вспоминал о лучших и не лучших днях Эндре Ади. Жизнь поэта мало походила на идиллию, творчество — на пастораль, хотя оттуда, с Будайских высот, пространство-время с особенной отчетливостью раскрывало будто бы на первый взгляд и буколистические видения Ади. Как будто наяву видел я одного из самых выразительных героев Ади — венгерского пастуха, вернее, пастушонка. «Он, паренек из рода кунов, огромными глазами глядя на мир мучительных соблазнов, он гнал стада по знаменитой венгерской степи Хортобади», «Но, видя рубища пастушьи и это шествие коровье», он, этот пастушок, на первый взгляд такой буколический,— «он схоронить старался песню и дальше брел по Хортобади, свистя кнутом и сквернословя!»

Кто-то назвал Ади символистом, но что может быть реальнее этого ожесточенного пастушка, этого живого образа юнца 1906 года. Так думал я, глядя на Пешт с высот Паннонии, откуда когда-то Эндре Ади, как сам легендарный властитель этой Паннонии Пан, своей флейтой и хохотом наводил панику на эльдорадо пьяных радостей, на столичные злачные места, напоминая буйствующим хозяевам жизни о том, что где-то в Уйпеште перед грозным пробужденьем задремала нищета. Где-то в Уйпеште! Пышный Пешт и жалкий его пригород Уйпешт! Это — чтоб современные юнцы не только догадывались, а знали, чем была Венгрия, когда еще существовала Австро-Венгрия, это чтоб юные чувствовали, чем когда-то попахивало над «кучей господской Гуннии вонючей» и что такое былая «вонь Вены — спесь аристократов, и униженье, и жандармы».

Да, Ади был очень венгерским поэтом! Но, как всякий истинный поэт, он в то же время жил и жизнью всего страждущего человечества, ясно ощущал, как «кругом несутся миры, века, народы-великаны, колеблются предания и троны». И о чем бы он ни говорил — о весенних ли вихрях или об осеннем знойном холме цветов,— все это было связано с тревожным ощущением надвигающихся событий.

Радуга сияет над головами земледельцев: «Дай любви и счастья, боже, женщинам, мужчинам этим, подари их долголетьем, да и денег дай им тоже».

Но вот отсияли радужные дуги, как будто «слишком тесным был небосвод над потным полем, чтоб место дать таким прекрасным святым комедиям небесным... Скончалось солнце!» Это — 1909 год. И вот он «Голос ужаса»:

Взвыл мой пес, паровозы скорбно скулят...
Ночи порядок таков у нас.
От размноженья зверей и солдат
Эта ночная взволнованность...

Чем это кончится? За год до мировой войны Ади знал это. 1913 годом датировано стихотворение, кончающееся словами:

Мы в Революцию несемся!

Вот что видел Ади, взгляд чьих глаз со старых фотографий напоминает взгляд Александра Блока. Кстати, и умерли они, Блок и Ади, почти в одном возрасте, едва перевалив за сорок.

О жизни Эндре Ади написано немало — и его современниками, и соотечественниками, и ценителями его творчества — литературоведами разных стран, в том числе и нашими.

Я не стану пересказывать всего того, что уже написано об Эндре Ади, который, будучи сыном бедного венгерского дворянина, по праву мог сказать о себе: «Я Дёрдя Дожи внук, я дворянин в лаптях, скорбящий за народ». И я не стану рассказывать об Ади — зилахском гимназисте, старшеклласснике, репетиторе гимназиста-младшеклассника Белы Куна, а затем об Ади — студенте юридического факультета Дебреценского университета и об Ади-публицисте, который в газетных статьях приветствовал русскую революцию 1905 года, об Ади-поэте, который так любил и так воспевал свою великолепную Леду. Но я постараюсь коротко написать кой о чем из того, что неизвестно об Эндре Ади его друзьям и современникам, и даже ему самому [1].

Например, о том вечере, когда на станцию Омск прибыл тот эшелон с военнопленными, в котором, может быть, были и Лигети, и Мюнних, и Бела Кун — известные деятели будущей Венгерской революции, а если и были, так я и не узнал бы их, не заметил, а вот Ади, конечно, заметил бы Белу Куна. Но Ади среди этих мадьяр, авст-

[1] Я бы, пожалуй, не писал и этих строк, если бы два небольших сборника Ади, изданных у нас маленьким тиражом, как-то не потонули бы, не затерялись бы в книжном потоке.

рийцев, немцев, словаков и турок явно не было, а я не знал тогда стихов Эндре Ади, но когда через много лет узнал их, то понял, что кругом в мире тогда было все так, как сказал Ади:

Взвыл мой пес, паровозы скорбно скулят...
Ночи порядок таков у нас.
От размноженья зверей и солдат
Эта ночная взволнованность...

Словом,

Но кто-то стегнул вселенную,
Жестоко стегнул вселенную.

Щелчок и свист этого бича отдался и за Уралом. Конечно, я не представлял, откуда приехали они, вернее, откуда именно привезли их, а еще вернее, откуда занесла их на восток Первая мировая война. Естественно, десятилетний, я тогда еще не читал ни Шопенгауэра, ни Кафки, ни Густава Мейринка, ни так же не написанной еще тогда книжки о жизни и гибели Австро-Венгрии — «Марш Радецкого» Йозефа Рота. Все это для меня было еще впереди, в том числе и понимание Ади, с его уверенностью — «несемся в Революцию!» И я знать не знал его великолепного осеннего знойного холма цветов и этой ночи перед войной, странной ночи, когда «ничтожества смело скакали, а люди добрые таились... Слаб человек — мы знали это, и он должник любви. Но все же так странно наш и первозданный сплелись миры, такой дразнящей Луна вовеки не бывала, / И не был человек вовеки / Так мал, как этой ночью... / Странной была эта летняя ночь, странной».

Впрочем, не буду цитировать в отрывках и перечислять по названьям стихи Ади, которые мне понравились и которые я перевел с венгерского на русский язык по мере сил моих и возможностей.

По мере сил и возможностей! Предваряя те или иные суждения на эту тему, скажу лишь одно: я далек от мысли, что мне удалось зеркально, как ручью Нарцисса, отразить творчество Ади. Сколько бы я ни старался и какую бы неоценимую помощь я ни получил от таких прекрасных консультантов, как мои венгерские друзья Агнесса Кун и Антал Гидаш, все-таки, разумеется, я не стану уверять читателей, что мне удалось повторить неповторимость Эндре Ади.

А он воистину был неповторим. Он был неповторим даже в своей гордо-самостоятельной преемственности от

традиций венгерской народной и классической поэзии. Он был отнюдь не подражателем, а истинным продолжателем великого Петефи. Он, Ади, был неповторим и в своих взаимосвязях с новой европейской, особенно французской, поэзией — например, как мне кажется, с Артюром Рембо, создав как бы отклик на «Пьяный корабль» Рембо, который нового желает рулевого:

СУДНО, КОТОРОЕ ПРОДАЕТСЯ

Продается судно!
Расшаталась мачта, перегнили снасти,
Словом — сколько хочешь всякого несчастья.

Продается судно!
Починить нетрудно — корпус все же прочен;
Хозяин измучен — надоело очень!

Продается судно!
Было это судно доброе, как видно;
Снова выйти в море на таком не стыдно!

Продается судно!
Сотни раз то судно море штурмовало,
В тысяче вселенных судно побывало!

Продается судно!
Кто грехов прекрасных хочет безрассудно,
Тот, завороженный, и взойдет на судно!

Продается судно!
Видно, в путь отважный хочет оно снова,
Нового желает рулевого!

Продается судно!
Это судно годно в чудный путь до ада.
Продается судно хоть дороговато, а купить бы надо!

Этим рулевым, этой кормщицей была для Ади сама социалистическая революция.

И если еще в 1908 году Ади пророчески писал о Звезде звезд, красной звезде на восточном небе, то через девять лет после этого он от всей души приветствовал наступающую эру Революций.

А в 1918 году он написал, почти перед смертью, воистину завещательные стихи, в которых говорилось о том, что истинный поэт всегда в юных сердцах, в жизни, идущей всегда вперед!

Вечная мне суждена весна,
Не нападайте на жизнь мою,
Словно святая гробница она;
Цвету живому не будет конца!

Поиски абсолюта

За окном очень яркая осень, надо было бы еще и еще раз сходить за листвой на Ленинские горы, но все не хватает времени, мешают дела!

И я только думаю о прекрасных зарослях и о человеке, которого в них когда-то встретил. Он прыгал, как фавн. Я вспоминаю об этом часто и даже однажды написал об этом стихи, но они где-то затерялись, найдутся или нет, а на всякий случай расскажу в прозе.

Начать хотя бы с того, что тогда мы только что переехали из Сокольников на Юго-Запад, и я был лишь поверхностно знаком с топографией Ленинских гор. Очаровательные зеленые массивы над Москвой-рекой представлялись мне слитно и смутно, и изучать их я начал во время вечерних, а иногда и ночных прогулок.

Я хорошо помню эти теплые летние ночи в конце пятидесятых... И вот как-то раз, когда я пробирался почти что ощупью по малоизвестным мне зарослям где-то между Университетом и церковью, в кустах послышался хруст. И я различил среди листвы бородатого гривастого старца.

— Тут канава! — сказал он глухим голосом.— Ну-ка прыгайте, гоп!

И, перепрыгивая канаву, я на лету сообразил, что передо мной не кто иной, как Голосовкер, Яков Голосовкер, Яков Эммануилович Голосовкер, которого в Подмосковье приняли однажды за господа бога.

Я знал, что Голосовкер занимается античной древностью, редактирует переводы из римских поэтов и переводит сам. Я встретился с ним в Гослитиздате, где старик глядел на меня довольно безразлично, ибо у него был свой круг знакомств и привязанностей. И кажется, там же, в Гослите, мне кто-то и рассказал про Голосовкера, о том, что этот вспыльчивый, запальчивый и неуживчивый старик с библейской наружностью, гостя на даче не то у Пастернака, не то у Фадеева, был принят соседями за небожителя. Сельские жители, увидев Голосовкера через забор в садике, сказали или шутя или всерьез, что у писателя обитает сам господь бог Саваоф с бородищей.

И вот теперь, если не летя, как Саваоф, то скача, точно фавн, из своих собственных переводов Горация, он вел меня через самые густые заросли. Мы прыгали через ро-

вики и канавки, почти не разговаривая между собой. Я даже не понял, узнал ли он меня во мраке. Не спросил его об этом, а он с какими-то неопределенными междометиями указывал мне на те или иные детали ночного пейзажа. Затем мы так же сосредоточенно выбрались из чащи, вышли на асфальт и добрались по бульвару до десятиэтажного дома на Университетском проспекте. И, махнув рукой на прощанье, Голосовкер скрылся под аркой этого дома, в котором он получил жилье тоже недавно, подобно многим перебравшимся в наш район во второй половине пятидесятых годов.

Через несколько дней мы снова встретились в зарослях и на этот раз были, как и прежде, немногословны. Помню, старик лишь усмехнулся, когда я сделал попытку заговорить о том, что-де старые переводчики древних одолевали главным образом ритм и смысл, а в задачу переводчиков новых входит при этом еще и воссоздать фонетику оригинала — «медь» латыни...

Но он не поддержал разговора, так же как не поддержал моих попыток высказаться и на многие другие темы — например, о том, что храмообразный университет на этих славных высотах возник не случайно, именно там почти, где когда-то зодчий Витберг задумал выстроить великолепнейший в мире храм, храм Христа-спасителя в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, храм, напоминающий по своему проекту очертания Вавилонской башни. Не вызвали никаких откликов со стороны Голосовкера и мои догадки о том, что Герцен с Огаревым клялись на Воробьевых горах именно на том месте, откуда теперь запускаются ракеты во время салютов и фейерверков. Как мне кажется, равнодушно пропустил он мимо своих косматых ушей и мое высказывание о том, что, возможно, под развалинами каких-нибудь исчезнувших боярских поместий над Москвой-рекой истлевают книги из разоренной в Смутное время библиотеки Иоанна Грозного. Словом, на все эти мои попытки исторически осознать окружающее, Яков Голосовкер не реагировал никак — ни одобрительно, ни отрицательно. Но пришло время, когда он все-таки показал свой характер.

Это было уже к осени.

Был ветреный пасмурный поздний вечер. Тучи неслись над Ленинскими горами, окуная в себя шпиль университета.

«О достоевственно несущиеся тучи!» — процитировал

я хлебниковскую строку. Но Голосовкер, как бы обидевшись и сердито взглянув на меня, вдруг прохрипел:

— А вы знаете, кто убил старика Карамазова?

— Кто? — в некотором замешательстве спросил я. Но Голосовкер, еще более гневно кашлянув, неожиданно повернулся и, как бы раздумав отвечать, пошел прочь. И я так и не понял, на что он рассердился: то ли, что я, может быть, неверно процитировал стихи, то ли эти стихи ему вообще не нравятся, то ли на то, что я не ответил ему толково на вопрос о том, кто убил старика Карамазова.

На этот вопрос я получил ответ от самого Голосовкера, но не лично. Не помню, встречался ли я с ним после того вышеописанного диалога или это и было нашей последней встречей, предел которым положила зима. И с этого времени я вообще потерял Голосовкера из вида. И лишь в начале шестидесятых годов в магазине «Академкнига», купив небольшую книжечку Голосовкера, я понял, к чему относилось его восклицание-вопрос, знаю ли я о том, кто убил старика Карамазова?

«Достоевский и Кант» — называлась эта книга. «Кто убил старика Казамазова?», «Поединок Тезиса и Антитезиса под личиной героев романа», «Последний секрет черта, засекреченный и для самого черта» — так назывались главы этого труда.

Почтительно читал я предисловие профессора Гудзия, где говорилось, что в данном труде раскрывается полемика Достоевского с Кантом и что книга представляет несомненный интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся творчеством Достоевского...

Уяснив, насколько мог, содержание книги, я понял, что широкий круг читателей, способных разобраться в философских терминах и рассуждениях автора, не так уж широк и, во всяком случае, я еще не вполне принадлежу к нему, к этому кругу. Установив данный факт, я поставил книжку на полку, сказав себе, что перечту это сочинение, сперва прочтя и перечтя как следует самого Канта и кое-что о Канте, чтоб окончательно уяснить себе точки зрения Канта, Достоевского на Канта и Голосовкера на Достоевского и Канта. Но тут появилось много других книг и забот. И поставленная на полку книжка Голосовкера так и осталась почти целое десятилетие стоять под стеклом.

Но я вспомнил о ней не только потому, что осень 1971 года раскрасила в самые яркие цвета листву Ленинских гор и меня снова потянуло туда, где я когда-то бродил со стариком Голосовкером, который, увы, к тому времени уже скончался.

А дело вот в чем. К нам приехал наш старый знакомый парикмахер, на этот раз со своей супругой, сопровождавшей его потому, что он недавно перенес инфаркт. Она была тоже женщина, не пышущая здоровьем: будучи работницей торговой сети и по роду своих обязанностей самолично принимая всякие товары в подвальных складских помещениях, она приобрела ревматизм и радикулит и еще что-то такое, из-за чего ей и пришлось неоднократно лежать в водолечебнице на улице Талалихина. Но, несмотря на все эти болезни, к тем дням, о которых идет речь, у ней сохранилась бодрость, пытливость, интерес к жизни, она была у нас тогда впервые и с любопытством озирала наши книги и камни. Думая ее развлечь, я прежде всего обратил ее внимание именно на эти камни. Я стал показывать ей эти подмосковные камни с отпечатками древних организмов, известняки, окаменелости, обломки коралловых рифов со дна того древнего моря, которое когда-то бушевало здесь на месте современной Европы. Море схлынуло, но воды его остались, уйдя в трещины земных недр. И вот, мол, в водолечебнице на улице Талалихина ее и лечили этими водами подземного моря, подымаемыми по скважинам. Вот о чем я ей собирался сказать. Но, поахав над красивыми камнями, она решительно перенесла свое внимание на книги, причем остановила свой выбор не на какой-нибудь иной, а именно на книге Голосовкера «Достоевский и Кант». Она, как говорится, впилась, въелась взорами в эту книгу. Я тщетно выжидал, что она поглядит-поглядит и бросит, утомившись диковинностью философских терминов, обилием незнакомых имен, сложностью построения фраз. Но не тут-то было! Усевшись в уголке, упрямо отвернувшись от нас, Мария Ильинична, так звали нашу гостью, добрый час одолевала текст, как будто бы выясняя досконально, в чем же заключается последний секрет черта, засекреченный и для самого черта, и чем кончится поединок Тезиса с Антитезисом под личиной героев романа.

Наконец я оторвал ее от книги, сказав, что, как видно, она нешуточно интересуется Достоевским.

— Да. «Братья Карамазовы» — прекрасное сочине-

ние,— ответила она.— А тут,— и она указала на брошюру Голосовкера,— все объяснено по-научному!

И вздохнула.

Я не знаю, насколько глубоко вникла она в ход рассуждений Голосовкера и что именно поняла и что недопоняла. Да, тут сказано, что Достоевский полагает, будто старика Карамазова убил черт в образе науки, то есть в образе философии, которая как главный стимул, фундамент и оружие атеизма стоит за спиной атеистической науки, и что глава «Кошмар Ивана Федоровича» — это сплошная карикатура на философию Декарта, Канта, Фихте, Гегеля; их имена в романе затушеваны, все прикрыто одним словом «наука», которой вооружен «человек-бог» — абсолютный атеист. Но, говоря словами того же самого Голосовкера, живые образы героев Достоевского сильнее олицетворяемых им идей, и, вероятно, Мария Ильинична, эта женщина из мира подвально-складских помещений торговой сети, столь непохожая на героя Достоевского, человека из подполья, читая о борьбе Тезиса с Антетезисом, видела не их, а именно те живые образы, которые сильнее отвлеченных идей. Но тем не менее, подумал я, прав и профессор Гудзий, написавший, что имеющий, разумеется, дискуссионный характер труд Голосовкера о связи романа Достоевского с основными положениями учения Канта об антиномиях как о якобы неразрешимых противоречиях чистого разума представляет несомненный интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

«Вот вы и нашли себе таких читателей, Яков Эммануилович,— сказал я, имея в виду милейшую Марию Ильиничну.— Вы, Голосовкер Я. Э., хотя и не упомянутый в «Литературной энциклопедии». Вы, о вдумчивый и вспыльчивый латинист XX века, принятый однажды подмосковными жителями за бога Саваофа, вы, вооруженный наукой человек-бог, абсолютный атеист!»

А я? На кого в свете всего этого похож я?

И, глядя на пеструю осень, пылающую за открытым окном, в которое врывался ветер с полей за проспектом Вернадского, и вспоминая наши прогулки с Голосовкером по чащам и дебрям Ленинских гор и «достоевственно несущиеся тучи», окунающие в себя звезду на шпиле университета, я подумал, что в свете всего этого я больше всего похож на старого молодого поэта Алексея Кольцова, который однажды в письме к Белинскому, рассуждая

о философии и жизни, заметил: «На свете еще и не таких диковинок много... Субъект и Объект я немножечко понимаю, а абсолюта ни крошечки — впрочем, о нем надо говорить долго».

Малиновый звон

Собираемся в деревню. Вот уже пятый год, как мы отдыхаем не у черноморских вод, на берегу близ потухшего вулкана Карадаг, а здесь, в Подмосковье, на истринских берегах. Все меняется: коктебельским коттеджам мы предпочли степановскую избу. Но и она уже изменилась, за зиму ее перестроили почти что до основания, и она стала внешне похожей на самый настоящий коттедж, да и внутренне, по крайней мере на половине, которую мы занимаем,— на жилище городского типа со всеми атрибутами, но к тому же просторное — прямо хоть танцуй, если бы мы с Ниночкой не отгородились от остальных членов нашего дачного семейства легкой, похожей на деревянную ширму летней перегородкой. Этот древесный узор перегородки и стен, пожалуй, единственное, что осталось от былой деревенскости. Печь, например, исчезла бесследно, ее заменяют оползающие всю внутренность домика белые змеи центрального отопления, чья топка на хозяйской стороне. Так удобнее хозяйке Галине Михайловне, хранительнице этого нового паро-водяного домашнего очага.

Модернизированное жилище оборудовано люстрой, продолговатыми лампами дневного света, холодильниками, газовыми плитами, телевизором и радиоприемником с проигрывателем. Рад ли я этой метаморфозе старой избы? Разумеется, я выразил восхищение. И в самом деле, кто, как не я, когда-то написал о старых избах:

> Будь проклят тот сентиментальный лжец, что
> воспевал крестьянское жилище.

Убогие избы возмущали мою душу горожанина. Но значит ли это, что и тогда, в юности, мне не грезились избы иные, идеальные? Грезились, да еще как! Идеальные избы с идеальной резьбой над идеальными крыльцами, избы с идеальными русскими печами, в которых идеально трещат идеальные поленья, для того чтобы в таких печах выпекались идеальные калачи. А на печах и на ле-

жанках мерещились мне идеальные тулупы. Я и сам не знал, откуда у меня, урбаниста, брались все эти «славянофильские» грезы, тогда я еще не читал ни Аксакова, ни тем более Леонтьева, я упоминаю именно его, чтобы не углубляться в дальнейшем в еще более глубокие лабиринты бревенчатой тьмы, ибо в этих грезах было наряду с притягательным еще и нечто отталкивающее, возмущающее мой разум в красных углах, озаренных красно-зеленым светом лампад, мне грезились не лики святых, а облики Распутина и Иллиодора, вселяя уверенность, что, если отколупнуть краску в уголке образа, так оттуда выглянет и сам нечистый. Это было порождено, конечно, настроениями времени, так сказать, поствольтерьянством отцов,— предреволюционная интеллигенция была вольнодумней постреволюционной. Подросши, я думал, что, может быть, какие-то врожденные воспоминания, унаследованные уж не от родителей, а от дедов и прадедов, заставляют меня видеть в обыкновенном кнуте на крестьянской телеге не столько орудие для управления конем, сколько орудие для наказания человека человеком, а в симпатичных недрах деревенских изб я усматривал березовые следы хлыстовских радений. И все это было столь ярко, столь отчетливо, что я, сбрасывая со счетов и Мельникова-Печерского, и Мережковского, и Андрея Белого, склонен был полагать, что это только мои личные бреды, с которыми я и должен бороться со всей непримиримостью, отвергая какую бы то ни было клюевщину — апологетику каких бы то ни было бедных или богатых, явно смердящих или фальшивоблагоухающих изб. Это было не левачество, в котором был склонен меня обвинить Ваня Ерошин, не американщина, за которую меня собрался однажды отколотить бедняга Илья Мухачев,— это было стремление освободить и крестьян, и самого себя от чар идиотизма сельской жизни. Вот почему я совершенно сознательно обходил стороной эту, так привлекающую меня Русь с ее избами, с ее древней прекрасной живописью в церквах, с малиновым звоном колоколов — словом, я обуздывал все унаследованное и благоприобретенное для того, чтобы мне, идущему, как мне казалось, единственно верной дорогой, не попасть в ложное положение, как это случалось, да и ныне случается, с некоторыми, которые слышат малиновый звон, да не знают, откуда он.

Однажды, и не так уже давно, года три назад, уже отказавшись от всех крайностей своего былого непримири-

мого урбанизма, а в силу физических причин — от курортного приморского солнца и познав прелесть деревенского отдыха над быстрою Истрой, я все-таки в одну душную летнюю ночь испытал рецидив избофобии и банебоязни, если именно так понимать то, что я ощутил и выразил в следующих стихах:

Почему иногда во Вселенной ,85
Духота, как в избе пятистенной?

Мне явственно представилась эта изба, сквозь чердачное оконце которой на меня подозрительно, а может быть, и презрительно поглядывает седолунный господь, а подполье этой избы забито бесчисленными пыльными большими и мелкими картофелинами земных шаров и других планет. Но я не закончил этих стихов, потому что почти одновременно с их написанием получил от моего юного друга из Оша Миши Синельникова нечто подобное. Это случается. Иногда не только люди, живущие в разных концах страны, но даже и антиподы бывают охвачены одним и тем же чувством... Словом, я не стал печатать этих стихов. И правильно сделал, потому что недавно, читая новую книгу Б. Кузнецова «Этюды об Эйнштейне», обнаружил, что оба мы — и я, и Миша — забыли о Достоевском. Кузнецов, говоря об Эйнштейне и Достоевском, цитирует высказывание Свидригайлова насчет вечности: «Вдруг... будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность». Ведь вот, подумал я, откуда может быть у меня эта мысль о Вселенной — избе пятистенной и этот вопрос — почему иногда во Вселенной духота, как в пятистенной какой-то моленной, где таятся старообрядцы? Никакая, оказывается, не предпамять, а просто невольный плагиат из давно перечитанного «Преступления и наказания».

Однако счастливее всех нас, конечно, Галя, наша хозяйка Галина Михайловна Ульянова, в смысле историческом гордящаяся лишь тем, что их семья с такой знаменитой ленинской фамилией в деревне одна среди других деревенских семей, носящих преимущественно фамилию Мухиных. Галина Михайловна не читала ни Достоевского, ни Лескова, ни Леонтьева, ни Бунина, ни Клюева. Ей некогда читать или даже рассматривать картинки. Она даже не подозревает, что внешним своим обликом она напоминает одну языческую богиню, превратившуюся в христиан-

скую святую. Она похожа на знаменитую Параскеву Пятницу из Галича. Но из многочисленных трудов мне известно, что под византийским обликом Параскевы Пятницы скрывается прообраз древней славянской Лады, то есть с принятием Русью христианства функции хранительницы домашнего очага были переданы от белокурой Лады византийской смуглянке Параскеве, на которую и похожа внешностью и натурой наша Галина Михайловна. Она об этом и не подозревает, она не занимается мифологией, а занимается делом — растит огурцы под полиэтиленовыми кровлями парников своего колхоза-миллионера, а в свободное время, которого весьма мало, они с мужем доразукрашивают свою модернизированную избу и если мечтают, то только о том, чтоб оборудовать если не ванную, так душ, да еще мечтают раздобыться каким-нибудь более сильным средством от бессонницы, вызванной естественным переутомлением: седуксен и элениум уже не помогают.

Между прочим, я понял, откуда у нашей Галины Михайловны такое необычное даже и для колхозницы из колхоза-миллионера стремление к городскому образу жизни и почему она столь легко рассталась с устаревшей русской печью. Дело в том, что Галя, эта хранительница домашнего очага, перевоплотившаяся из мифической Лады в византийскую святую,— дочь самой настоящей петербуржанки. Ее мать в годы голода и разрухи вышла замуж за подмосковного крестьянина. Галя выросла в Подмосковье, в деревне, но факт остается фактом — она без вздохов рассталась с русской печью, которая занимает много места и на которой Галине Михайловне некогда лежать.

И все-таки я думаю о том, что традиционная русская печь, может быть, и будет восстановлена в этом или, может быть, в новом доме не детьми, но внуками Галины Михайловны. Дети ее, один из которых уже отслужил действительную службу, вернулся из ГДР, женился и живет в Москве, а другой возвращается из армии, тоже из ГДР, нынче едва ли восстановят в отчем доме русскую печь. А вот внуки — возможно... Но до этого еще далеко, и нынче я, грешный, буду спать в избе без печи, хорошо, что хоть под тулупом, который, кстати, мы привезли из дома, ибо в селе Степановском тулупами даже и не пахнет. А нам тулуп для экзотики купила в Вологде племянница Леся, тоже не у мужиков вологодских, а у знакомого же-

лезнодорожного кондуктора. Старик, выйдя на пенсию, уступил свой тулуп, являвшийся для него не более чем прозодеждой.

Утром я вывесил этот тулуп, как некое чудовище, проветриваться на заборе за малиной и вишнями, а сам пошел навестить соседа-дачника, старого художника Комарденкова, когда-то делавшего обложку для имажинистской «Конницы бурь», а теперь, подобно мне, углубленного в колхозный быт и рисующего волшебно-декоративные русские избы, которых нет кругом и в помине,— кругом коттеджи; а ближайшая, не волшебная, но все же достопримечательная изба — это ресторан под названием «Русская изба» в селе Ильинском за три автобусные остановки. Комарденков, вероятно, опять покажет мне все новые изображения сказочных изб на курьих ножках, причем его супруга будет упорно подчеркивать, что это эскизы декораций, что ее супруг — художник-декоратор, но я-то знаю, что он не декоратор, а поэт и мечтатель. И я уж чувствую, что Комарденков снова пожалуется мне на издательство «Искусство», которое далеко не все напечатало из его мемуаров о футуристически-имажинистском прошлом. Я посочувствую ему и пойду своей дорогой по улице села в надежде отыскать еще хоть один обломок от старой церкви, исчезнувшей бог знает когда. В позапрошлом году, когда рыли канаву для водопровода, я нашел кусок прекрасной лепной детали, авось нынче обнаружу и ее недостающую половинку. А может быть, и ржавый обломок церковного колокола, издававшего когда-то малиновый звон над этими полями. Так, размышляя, с улицы, пересеченной асфальтовой дорогой, я выйду в поля созерцать валуны, похожие на окаменевшие головы не слишком гигантских богатырей. Эти и другие прекрасные камни выброшены на обочины дорог с пространств, нынче гораздо тщательнее засеянных зерновыми и кормовыми культурами. Затем я углублюсь в лес, первое время надеясь, что там будет много земляники. Вслед за ней пойдут, надо думать, и грибы. Подберезовики. Если улечься возле них на траву, они могут показаться маленькими Иванами Великими с бурокаменными стволами и золотыми куполами, а сыроежки и лисички возле них — богомолками и каликами. Есть еще и другие породы грибов с иными, старчески сморщенными или с младенчески округлыми ликами. А сплетение ветвей с листвой над моей головою при известном взлете фантазии может показать-

ся колебанием живой славянской вязи, письменами, богатыми непонятными именами, а в крайнем случае, и просто филькиной грамотой, которую не понять, а можно только лицезреть, осязать, обонять, переосмысливая все это заново и заново.

Исповедь читателя

И брожу я меж соленых луж,
Зарожденье жизни наблюдая,
На тебе, планета молодая...
О, твоя еще взойдет звезда...
Высшая премудрость иногда преждевременна
для человека,
Как железная руда для питомца каменного века!

В одной из новелл я рассказывал о том, как испытал чувство быть забытым, ощущение быть незамеченным или во всяком случае непризнанным автором. А теперь поведаю, как я очутился в положении читателя, причем читателя не просвещенного и не благосклонного, к которому, обычно именуя его именно так, со всякими реверансами обращаются авторы, но читателя самого рядового, заурядного, обыкновеннейшего читателя чужих книг, такого, который кое-чего порой не понимает, но кое-что и чувствует, хотя и может выразить свое отношение к прочитанному лишь только восклицаниями: «Да, это мне понравилось!» или «Нет, это мне не понравилось!» Словом, так оно и было, когда в моих руках очутилась подаренная мне Алексеем Асинкритовичем Титаевым его книжка «Эволюция органических соединений на Земле».

Эта книжка, на блекло-зеленой обложке которой повисла рябиновая гроздь каких-то молекул, живо напомнила мне самую первую встречу с Алексеем Асинкритовичем. Книга эта, выпущенная Московским обществом исследователей природы в издательстве «Наука», как бы отражала ту объективную реальность, которая именуется Красногорским районом Московской области в том ее уголке, где быстрая Истра ныряет в зеленое зеркало москворецких вод.

Я познакомился с Алексеем Асинкритовичем в лесу, где он созерцал явно несъедобный, причудливой формы грибок, растущий не на земле, а на древесном стволике. Я тогда, помню, спросил:

— Что вас интересует?

Алексей Асинкритович ответил:

— А под каким углом растет гриб по отношению к стволу!

Я спросил:

— Это касается гравитации?

Но мой новый знакомый усмехнулся, сказав, что это не совсем так. И мы пошли из леса и вернулись в деревню, где Алексей Асинкритович с женой своей Еленой Александровной обитали в домике почти рядом с нами, но столь тихо и незаметно, что мы и не подозревали о таком приятном соседстве. Оказалось, что у Титаевых есть две дочери, одна из которых, геофизик, каждое лето уезжает на Камчатку. Я сказал, что у меня давно есть стихи: «Это север ревет в своем гимне, это трапы скрипят, шатки, то по-летнему, то по-зимнему в Петропавловске-на-Камчатке. Холодно. Меховые перчатки стаскиваю и пальцем по снегу черчу: — Туча снежная на Камчатке шла навстречу солнечному лучу, облюбовала, околдовала, прыгала с ним, плавала, на снежном вулкане протанцевала с ним танец Петра и Павла!» Алексей Асинкритович улыбнулся и сказал, что его дочь ищет на Камчатке в вулканических извержениях следы образования и передвижения и преобразования радиоактивных элементов. И перед отъездом на Камчатку приедет попрощаться сюда в деревню.

— И тогда я прочту ей стихи! — сказал я.

Но вместо нее, я помню, в тот раз приехал ее дядя, специалист по петрографии Петр Александрович Герасимов, которому я показал найденный мной между колхозным коровником и водокачкой большущий, в форме шахматного коня, обломок ископаемого кораллового рифа. Затем наступила осень, и все мы вернулись в Москву, чье ночное марево все ярче и ярче светилось на восточном краю сентябрьского небосвода. Вот, собственно, и вся предыстория того, как я на следующий год получил в подарок от Титаева его книгу.

Эта книга, повествующая, как сказано в аннотации, о наиболее вероятном, с точки зрения автора, происхождении биополимеров в теплых прибрежных зонах первобытной Земли, то есть о возникновении жизни, — книга эта, рассчитанная на широкий круг читателей — биологов, философов, учителей, медиков и всех интересующихся наукой, само собой, оказалась снабжена неизбежными для

всякого научного труда, но трудными не только для простодушных, неподготовленных читателей, но и для типографских умелых наборщиков формулами, цифрами, специальными терминами и потому обладала и довольно значительным количеством опечаток. Но опечатка, как говаривал когда-то один мой знакомый издатель, ныне покойный, так же украшает хорошую книжку, как мушка лицо красавицы. И, выправив ряд этих украшений и полюбовавшись на иллюстрации, такие, например, как природная окаменелость «нога девушки» или сланцы со следами преджизни трехмиллиардолетней давности на снимках, похожие на современные женские украшения, вроде сережек и брошек, я приступил к чтению книги.

Конечно, я понял, что есть мнение, будто источником энергии в предбиологический период существования Земли были преимущественно коротковолновые ультрафиолетовые лучи Солнца, но понял и предположение Алексея Асинкритовича, что синтезы и зарождение жизни на Земле предпочтительно шли в тени,— Земля в тот период могла быть окутана облаками, вода в значительной степени находилась в атмосфере, ультрафиолет не проникал на Землю. Мне кажется, что я тогда понял и еще довольно многое. Но, с трудом пробираясь через свинцовонаборную, пахнущую типографской краской чащу химических формул и специальных терминов, я утомился и, оторвав от них взор, взглянул через окно деревенского домика на леса и поля Подмосковья. И вдруг будто увидел рост этих лесов, их деревьев, грибов, ягод и трав как бы в обратную сторону, в том направлении времени, откуда все это возникло, то есть в сторону добиологического, дожизненного, преджизненного периода бытия. И тут на фоне этого пущенного вспять кинобиофильма вспыхнули как титры следующие слова книги: «Конечно, никому не известны реальные условия существования на Земле в предбиологический период, неизвестны и истинные пути синтеза органических веществ»... «То, что нам кажется теперь наиболее правдоподобным, могло редко встречаться или вовсе не быть на первичной Земле. В настоящее время на Земле жизнь нередко развивается в таких невероятных условиях, какие раньше нам казались несовместимыми с жизнью. Поэтому трудно отдать предпочтение какой-либо одной из гипотез, трактующих пути химической эволюции. Самая невероятная, с нашей точки зрения, гипотеза могла быть реальностью на первобытной Земле».

И тут я подумал: да, он прав! Как он широко мыслит, этот знающий цену словам и имеющий дело лишь с фактами ученый! Но если ретроспекции столь туманны, то каковы же перспективы? Если Былое столь неясно, то каково же Грядущее? Можно ли в свете опыта эволюции предусмотреть, предугадать, насколько непохоже на Настоящее будет Будущее? Будет ли оно хоть сколько-либо похоже на фантастические футурологические картинки с журнальных обложек и иных книжных страничек, на все эти попытки изобразить на фоне не блещущего ни флорой, ни фауной пейзажа города мыльнопузыреобразные и города кротовоноровидные, якобы оберегающие наших потомков от нового супердантовского ада истощенной Земли, планеты отравленной, перенасыщенной угарным газом? Бредовые опасения? Или, увы, все это и стрясется; нет, так не должно быть!

И, охваченный такими мыслями, взволнованный ими, я живо записал их на бумагу, причем главным образом о своих тревогах, волнениях и опасениях, а не о том, о чем трактуется в книге Алексея Асинкритовича, а затем, передиктовав написанное моей чудно печатающей племяннице Ирине, я отнес эти листки Алексею Асинкритовичу.

— Вот мой читательский отзыв! — сказал я.— Пожалуйста, посмотрите!

Ознакомившись, он снял свои мерцающие очки (в лесу их блеск я различал через самые густейшие заросли, а в поле ощущаешь их мерцанье за три-четыре километра) — он снял эти очки, протер их и сказал с грустью:

— Очень мило написано. И насчет экологии, и насчет футурологии. Но, увы, самая суть моей скромной книжки осталась как-то вне сферы вашего внимания, Леонид Николаевич. Ведь дело, по моему мнению, вот в чем: прежде чем возникли живые существа, хотя бы в форме бактерий, должны были синтезироваться, возникнуть из неорганического материала те структурные вещества, из которых и могли быть построены первые на Земле живые существа. И вот в книге даны, описаны оригинальные пути образования этих веществ, сконструирована модельная система, в которой все сложные структуры веществ, «живая материя» могли сложиться из самых простых, первобытных, бывших на Земле,— именно здесь, на Земле! — веществ, в том числе белки, нуклеиновые кислоты, сахара и даже жиры из уксуса. Это главная тема!

— Да! — сказал я сокрушенно.— Но почему же я не уяснил себе этого? Неужели же стал искать в книге, чего там нет, и упустил то, что есть! Неужели же все это по невежеству!

— Ну, зачем так! — мягко ответил Алексей Асинкритович. И тут он привел очень знакомый по литературе пример. О том, как житель первобытных островов (подразумевается — дикарь), впервые увидев трехмачтовый огромный европейский корабль и поднявшись на его борт, был всем заинтересован: и механизмами, и парусами, и различными блестящими предметами — и понял, уяснил себе назначение почти всех отдельных вещей, но, увы, не уяснил главного, всего вместе взятого: идеи корабля!

— Благодарю вас за пример и пояснения! — сказал я.— Теперь, мне кажется, я понял кое-что достаточно ясно. То есть теперь-то уж я все равно напишу — не рецензию на книгу, но вообще обо всем этом...

И я написал...

Нет, я не написал о том, как дикарь, сойдя прочь с корабля и взглянув на него со стороны, вновь вообразил его, как поначалу, живым существом.

И я не написал, как, напротив, мне, что называется, культурному человеку, облака и тучи порой кажутся кораблями, дирижаблями, китами или ангелами, хотя иногда они, эти тучи, способны не только извергать гром и молнии, но и радовать радугами. И я не написал из скромности, как я в конце концов догадался, в чем, на мой взгляд, главная суть в книжке Алексея Асинкритовича.

Сконструировав модельную систему, в которой все сложные структуры вещества, «живая материя», могли сложиться из самых простых первобытных бывших на Земле веществ, Алексей Асинкритович пришел к чрезвычайно важным для нас всех выводам, что жизнь наша, жизнь на Земле, не случайность, занесенная из космоса с метеоритной пылью, а наша собственная земная закономерность!

Земная жизнь не подарок свыше, не с небес к нам прилетела, а наше земное кровное дело! Вот в чем соль! И сложный диалектический, полный противоречий, высокодраматический процесс развития жизни должен привести к победе разума над безумием, порядка над беспорядком, гармонии над хаосом, свежего воздуха над угарным газом. И это должно осуществиться пусть не сразу, но мало-помалу везде, всюду, в конце концов — в глобаль-

ных масштабах. Вот в чем смысл кропотливых изысканий, смысл полных формулами и специальными терминами работ таких ученых, как мой серебряновласый друг — биолог Алексей Асинкритович.

Но, оставив попытку расшифровывать эти формулы и термины, и взглянув на Алексея Асинкритовича и на себя как бы со стороны, и увидев друг друга как бы на незримом перекрестке дорог за березовыми рощами и картофельным полем, я написал вот что:

И брожу я меж соленых луж,
И как будто вижу я, блуждая,
Что блуждаю как ученый муж, зарожденье
жизни наблюдая,
На тебе, планета молодая!
О, твоя еще взойдет звезда
Поостынет дикая вода,
Кровь и мед появится, и млеко!
Но когда еще? Еще когда?
Высшая премудрость иногда преждевременна
для человека,
Как железная руда для питомца каменного века!
Но ее, 5,5
Чтоб подковать коня,
Цепь сковать и зубья для капкана,
В недрах зарождают для меня
Великаны дыма и огня,
Боги металлургии,
Вулканы!

Хорошо ли, плохо ли, а вышло то, что вышло!

И не написал я рецензии и о следующей книжке Алексея Асинкритовича — «Биология высших грибов», из которой я, читатель, извлек ценнейшие для меня сведения о грибах Подмосковья и всего мира, о геотропизме высших грибов, о влиянии на грибы земного магнетизма, о грибах столь причудливой формы, что они напоминают рисунки наилучших художников-фантастов, и о грибах, вызывающих у людей галлюцинации. Я не поведал о том, что я узнал о грибных ароматах: о том, что одни грибы пахнут фиалками, другие апельсинами, третьи, четвертые и т. д. яблоками, селедкой, огурцами, скипидаром, камфарой, пчелиным медом, человеческим потом. Я не написал о том, что в книге Титаева трактуется новая идея — о реликтовых путях обмена веществ у отдельных видов грибов, сближающих их с предками — протобионтами. Нет, я, скромный читатель, не дерзнул ни в коей мере рецензировать

эту научную книгу о грибах, а написал лишь вот что, не столько о ней, сколько о ее авторе:

О, идущие по грибы,
Искатели душистых ягод,
Не те, кто выгоды рабы,
Как будто для несенья тягот
В лес тащатся, а те, кто в лес
Грядут с природой повстречаться,
Чтоб сумеркам наперерез
К вам возвращаться, домочадцы,
Как будто полную луну
С ее медовыми лучами
Неся на палке за плечами,
И даже не ее одну,
А и гирлянды звезд, чей свет
Порою столь бывает ярок
И столь обилен, что в подарок
Получит даже и сосед

Лукоморье

Лукоморье

1

Это не историческое исследование, а скорее старые сибирские сказы, может быть и переходящие кое в чем в сказки. Можно считать точно установленным, что как среди сподвижников Ермака, так и среди людей, нанимавшихся на сибирскую службу при Годунове, было немало грамотеев. Умели и читать и писать. Простые казаки из Ермаковой дружины дали позднее архиепископу Киприану письменные показания о походе в Сибирь. И надо полагать, что многие из этих грамотеев, собираясь сюда, за Камень, были уже знакомы со старинными писаниями о «незнаемой восточной стране».

Много заманчивого рассказывалось о Сибири и о Северном Урале в старинных сказаниях новгородских. Выходило так, что еще лет за пятьсот до похода Ермака начали стремиться русские люди на восток, за Камень. Приходили сюда торговать, заключали союзы с вождями здешних племен, предлагали им дружбу, вступали в споры. Было за что и поспорить. Серебро, моржовые клыки, а главное, мягкая рухлядь — пышные драгоценные меха, за которые чистым золотом расплачивались и арабы, и персы, и свеи, и франки. Но люди, оберегающие эту страну сокровищ, были дикие, опасные люди. Их, по преданиям, когда-то загнал в Камень сам царь Александр Македонский. Из дивного полуденного Солнче-места погнал Александр этих человеков племени Иафетова за Русь, на полночь, туда, где стоят горы, заходящие в луку моря, имеющие высоту до небес. И в горах тех клич велик был и говор. Сначала «дикие человецы» сидели в Камне, в недрах гор, куда загнал их Александр Македонский, да прорубили в камне оконцы малые, «хотяще высечися». И протягивали руки, прося железа — ножей, секир и топоров, суля в обмен мягкую рухлядь. С помощью русского железа сумели-таки освободиться из каменного плена. И стали встречать купцов на дорогах и в горных щелях, и по-

прежнему выменивают меха на железо, на оружие, чтоб, вооружившись, обратить это оружие против тех, кто вооружил. Таков смысл сказаний новгородских. А что далее, за Камнем? «Мужи старии, ходившие «за югру и за самоядь», будто бы сами видели в полунощных странах, как появляются над тундрою тучи, из которых валятся наземь пушные звери. «Спаде веверица млада, аки топерево рождена, и взростши и расходится по земле. И паки бывает другая туча и спадают оленицы малые в ней».

Чудеса! И не один чернец монастырский, начитавшись подобных известий, бросал тихую обитель, чтоб бежать на клич бирюча:

— В Сибирь! В Лукоморье!

И из уст в уста, от грамотеев к невеждам, передавались рассказы о волшебных странах.

2

Однако стольный город сибирский Тобольск, сколь ни был он дивен, все же мало походил на Лукоморье новгородских сказаний.

Расспрашивали обо всем этом русские люди татар. Татары тобольские подтверждали, что действительно волшебная страна есть. Там, на севере. Кучум, да и прежние цари брали дань со многих племен Приобья, но самые ценные меха — дальше на полночь. Есть страна Мраков, где бесчисленное количество соболей, росомах, куниц, лис. Страна Мраков. Меховая тьма. Возможно, что мягкая рухлядь сыплется там и прямо с неба.

Казаки охотно отправлялись туда, на полночь.

Возвращаясь в Тобольск с низовьев Оби, рассказывали люди немало любопытного и загадочного. Толковали о великом пушном богатстве далекой холодной окраины, о дивных идолах, медных гусях, деревянных старцах, золотых бабах. Вспоминали о причудливых полярных сияниях, озаряющих черное небо зимней ночи. Но все-таки никто еще не увидел звериной тучи. Может быть, та страна, где соболя сыплются прямо с неба, та страна, куда ходили с берегов Печоры мужи старии, лежит где-нибудь еще дальше? Все может быть. Новгородские летописи остались там, в Новгороде. И казаки сибирские, какие бы ни были среди них грамотеи, все ж не могли похвастаться доскональным знанием того, что написано в старых книгах.

Но вот появились в 1600 году в Тобольске некие почтенные и достойные всяческого доверия люди. Это были иножи, звали их Логгин и Дионисий. Оба они были соловчанами и прибыли в Тобольск для построения здесь первого монастыря. Они поселились за Иртышом, на устье Тобола, где и принялись за сооружение обители во имя Зосимы и Савватия — двух чудотворцев соловецких. В этом монастыре, по мысли его строителей, должны были найти приют и покой престарелые увечные воины, участники завоевания Сибири.

Но не только старики, а и молодые тоболяне сделались частыми гостями иноков Логгина и Дионисия. Каждому человеку было ясно: иноки соловецкие кое-что понимают в северных делах. И должны уж знать наверняка все то, что сказано в книгах старинных.

Монахам не стоило труда ответить на это. Вспомнили повесть о походе князя Улеба. «В лето 1032 князь Улеб изыде из Нова города на Железные врата и вспять мало кто возвратишася, но мнози там погибоша». Хотел, мол, князь Улеб пройти сюда, в Сибирь, морем или сушей, да не дал бог удачи. Но позднее, через несколько столетий, храбрые новгородцы добрались-таки до рубежей сказочного Лукоморья. И об этом поведано в славном «Сказании о человецах незнаемых в восточной стране». Сказание сие добрые иноки помнили почти целиком наизусть. Кое-что они повторили тоболянам. На восточной, мол, стране, за Югорской землей, над морем, «живут люди Самоядь, зовомые Малгонзеи. Сии же люди не велики возрастом, плосковиды, носы малы, но резвы вельми и стрельцы скоры и горазды».

— Это — так! — подтверждали казаки, побывавшие в Березове и далее, на низовьях Оби.— Люди самоядь есть. И рассказано о них точно. А дальше что?

— А платие носят соболье и оленье, а товар их соболи.

И это было верно. Именно этот зверек и вел по своему следу храбрых тоболян все дальше и дальше на север. Этот зверек рассказывал больше, чем все книги. А сказано ли было в старых книгах точно и ясно о времени и месте падения сего драгоценного зверька из туч? На этот вопрос, увы, не могли ответить и премудрые Логгин и Дионисий. Но зато они вспоминали о других чудесах, описанных в книгах. Чудны те самоеды. «Ядь их мясо оленье да рыба, да меж собою друг друга ядят. И гость к ним откуда придет, и они дети свои закалают на гостей да и тем

кормят, а который гость у них умрет и они того съедают». Видели вы это, ратные люди?

Нет! Этого ратные люди не видели. Не видели они среди самояди и людей без голов, с глазами на животе, и людей, засыпающих на всю зиму, как медведи, и многих других лукоморских чудовищ, о которых упоминалось в сказаниях про страны полунощные. Да все ли там правда? Может быть, новгородские мужи старии кое-что и добавили для прикрасы? Следовало бы проверить все это, а прежде всего — где и как падают соболи с неба.

Пора, пора идти в поход туда, в Мангазею, в Лукоморье, как бы ни называлась эта загадочная страна. Тем более что тоболяне смутно знали: появляются в тех дальних краях какие-то таинственные русские люди с Печоры.

3

Борис Годунов был прекрасно осведомлен обо всех замыслах казаков тобольских. Но отпустить тоболян искать Мангазею Годунов не торопился. Он знал: стоит лишь показать дорогу в страну соболя, как устремятся по этой дороге те, кому не надлежит туда стремиться. В случае удачи мангазейского похода ринулась бы на север без спроса и без удержа добрая половина населения острогов сибирских. И пожалуй, обессилели бы эти остроги, стали бы неспособны для обороны при нападении южных соседей. Пугало еще и другое — крестьяне, холопы по эту сторону Урала. Если в 1590 году приходилось вербовать крестьян на переселение, обильно снабжать их скотом, деньгами, утварью, так в 1600 году тысячи мужиков самовольно уходили с помещичьих и монастырских земель туда, за Камень. Это десятилетие — 1590—1600 годы — не было счастливым для крестьян. Не нравились мужикам новые законы царя Бориса, угодные для дворян. Отданные в полную власть помещиков, мужики сопротивлялись. Возникали волнения. Росло количество беглых. И путь этих беглых был если не на юг, в вольные казацкие степи, так сюда, на восток. Словом, было бы весьма опасным открыть свободный доступ в такие края.

Однако и держать долго на запоре эти ледяные ворота Лукоморья едва ли было бы возможно. Стремились открыть их не только тоболяне. Еще более настойчиво, чем прежде, добивались возможности проникнуть в северную Сибирь иностранцы. Лег в могилу на открытом им острове

Новая Земля Виллем Баренц, пытавшийся найти северный путь морем из Европы в Китай. Иностранные шкипера то и дело тайно сговаривали архангельских поморов показать ход к устьям Оби и Енисея, к той самой сказочной Мангазее, о которой мечтают храбрые тоболяне. Царь Борис знал это. Известие про это он получил от тех самых поморов, которых сговаривали иноземцы. Поморы-промышленники, извещая, что не поддались на уговоры заморских гостей, просили царя разрешить им плавать в Сибирь самим.

Со всех сторон стремились люди к ледяным воротам Лукоморья. И царь Борис колебался — что делать? Несколько лет назад, еще при жизни царя Федора, послал Годунов в страну мангазеев разведчика, доверенного своего человека Федора Дьякова. «Отправляйся, мол, с Печоры через Камень и далее. Что там есть?» Федор Дьяков вернулся. Годунов немедленно призвал Дьякова к себе.

То, что сообщил Дьяков, удивило царя Бориса. «Там в незнаемых странах восточных на реке Таз и на реке Пур полным-полно русских людей»,— заявил Дьяков. «Каких?» — «А всяких. И архангелогородцев, и устюжан, и пустозерцов, и вымичей... Они там давно: кто торгует, кто охотится, а кто дань с самояди берет в свою пользу, воровски, облыжно; а сказывают при этом, что собирают ясак на государя».

Что говорить! Ловкачи поморы. Туда просятся, а сами уж давно там. И воруют. Не мог не засмеяться царь Годунов. Однако настала пора навести порядок в странах полунощи. Ближе всего до Мангазеи, конечно, из Тобольска!

4

Юный князь Мирон Шаховской, брат князя Петра, воеводы пелымского, вырос и начал службу здесь, в Сибири, и вскоре достиг званья письменного головы при тобольских воеводах Сабурове и Третьякове. На князе Мироне и остановился выбор Годунова. Молод. Силен. Привычен к местным суровым условиям. Пусть и будет начальником похода в страну мангазеев.

Князю Мирону дали в помощники двух опытных людей — письменного голову Хрипунова и тобольского торгового человека целовальника Семена Новоселова. Новоселов бывал уж на Севере, у рубежей Лукоморья.

В охотниках пойти на Север недостатка не было. Казаки добивались этой чести. Однако воеводы тобольские Сабуров и Третьяков разрешили князю Мирону взять чуть больше ста человек из Тобольского гарнизона. Нужны, мол, люди и здесь, в Тобольске, где следует весь острог чуть ли не заново перестраивать и много новых домов ставить. Недостающих людей пусть князь Мирон возьмет в Березове.

Березовцам приказали приготовить и корабли, годные для похода. Кое-как выстроили там четыре кочи и две лодки-коломенки.

Весной 1600 года тоболяне двинулись на Север. Мудрые иноки Логгин и Дионисий, напутствуя казаков, повторили еще и еще раз все, что знали о странах полунощных. В Березове к тоболянам присоединились еще тридцать казаков. Погрузились на корабли. Поплыли. Ледяное дыхание океана чувствовалось все резче и резче. Слева выглянули из тундры снежные вершины приполярного Урала. Обь то делилась на неисчислимое множество проток, то вдруг раскрывалась во всю свою великую ширь. И вот наконец флотилия достигла моря. Высокие волны шли с северо-востока. Надлежало пересечь губу наискось. Там, за горизонтом, и находилась страна сказочных богатств полуночи, где белки, соболя и оленицы сыплются прямо из туч. Верили ли в эти сказки князь Мирон и целовальник Семен Новоселов? Кто знает! Впрочем, случай проверить волшебные свойства лукоморских туч представился очень скоро.

Огромные, серые, косматые, впрямь похожие на каких-то меховых чудовищ, поднялись эти тучи с полуночи. Море закипело. Кочи и лодки, сколоченные неумело и наспех неопытными березовскими кораблестроителями, заскрипели и застонали, шлепая плоскими днищами о морскую волну.

Эта буря выбросила все корабли на берег и на прибрежные камни. Люди спаслись. Но сильно пострадал груз.

В это время прикочевали к берегу ненцы, та самая «самоядь», о которой столь много ходило чудесных известий. Целовальник Семен Новоселов имел уже опыт в общении с этими людьми. «Мирная обская самоядь»,— определил Новоселов. Он живо устроил базар. Человек, опытный в торговле, Новоселов сумел выгодно выменять у ненцев на подмоченный хлеб и толокно оленей и нарты.

Морское путешествие кончилось. Олени были готовы в путь. Князь Мирон не спрашивал людей, куда они хотят ехать. Нельзя было сомневаться в ответе. Вперед, в Лукоморье! Не удалось достигнуть сказочной страны морем, так они достигнут ее сухопутьем. На Пур и на Таз!

Проводниками согласились быть ненцы. Отряд не мешкая двинулся дальше, на северо-восток. А слухи о движении этого отряда неслись вперед еще быстрее. Вся тундра знала: князь Шаховской идет из Тобольска на Таз. Идет, рать ведет, везет товары. Хлеб! Продавать будут, когда острог на Тазе поставят. Хлеб вкусен, даже если он и подмочен. Готовьте меха!

Но одновременно с ненцами узнали о походе князя Мирона и другие люди, далеко не столь простодушные, как ненцы. Эти люди говорили ненцам, что радоваться нечего. Недобрые, мол, гости люди князя Шаховского — меха возьмут в ясак, а хлеб съедят сами.

Кто же были эти люди, светловолосые, голубоглазые? Может быть, жители приполярного Урала, зыряне, чьи женщины так красивы в своих меховых одеждах? Зыряне выгодно промышляли в тундре, издавна торговали с ненцами, выменивая у них пушнину и перепродавая ее за Камень. Зыряне сами ходили на Таз и не были заинтересованы в появлении там царских людей. Но может быть, это были и не зыряне, а такие же русские, как и князь Шаховской и казаки? Может быть, это были переодетые на зырянский лад вымские и пустозерские авантюристы-промышленники, те самые, что объявляли себя посланцами из Москвы и собирали с ненцев дань в свою пользу, облыжно? Как бы то ни было, но однажды ненцы-проводники покинули лагерь Шаховского, не доведя русских до реки Пур. А на следующий день тоболяне оказались окружены скопищем ненцев. Это были не мирные обские ненцы, но воинственные енисейцы, бегающие на лыжах, подбитых собольими шкурками. Копья и стрелы обрушились на тоболян. Ратные люди защищались упрямо и храбро. Добрая половина казаков погибла в этом бою. Князь Мирон, раненный, «пал на оленей душой и телом».

5

В Москву из Тобольска пришли печальные вести. Отряд, посланный в страну мангазеев, разгромлен самоядью. Некоторые казаки вернулись в Тобольск через Березов,

а где князь Мирон с остальными уцелевшими после боя, живы ли они — неизвестно.

Гнев обуял Годунова. Гнев не на молодого князя Мирона, но на тех старых неумных людей, воевод тобольских, которые так плохо подготовили поход. Допустили воеводы тобольские, что отправился отряд в море на плохих вертких кораблях. Людей дали мало, только сто тридцать человек. О чем думали воеводы тобольские! В то время когда надо было ставить острог на Тазе, больше всего заботились о сооружении новых уютных хором в Тобольске! Царь Борис решил сменить этих воевод на людей более умных. Таких по Москве ходило немало, и некоторым из них давно пора было бы оставить Москву, ибо здесь и без них ума хватало.

К числу таких людей, по мнению Годунова, принадлежал и боярин Федор Иванович Шереметев, потомок Камбиллы-Кобылы, выходца из Балтийских стран. Навлек на себя Шереметев немилость Годунова тем, что вмешался в дело государственное. Слишком уж близок был с врагами царя — боярами Романовыми. Против Шереметева улик не нашлось, но послать Федора Ивановича служить на окраину можно было.

А товарищем боярину Федору назначил царь другого, не менее видного человека — Остафия Михайловича Пушкина. За последние двадцать лет проявил себя Остафий Михайлович мудрым политиком, был послом в Польше, вел в Нарве переговоры со шведами, назначен был Годуновым затем в думные бояре. Но опять же оказался близок с врагами царя, с Романовыми.

Вот каких людей послал царь в Тобольск на смену бестолковым воеводам Сабурову и Третьякову. Но кого же послать в Мангазею, чтоб поставить острог на Тазе?

И тут царь Борис понял, что не обойтись без Рубца.

Рубца не любили. Неприятные качества этого человека были известны всем в Москве. Князь Василий Михайлович Мосальский-Рубец был алчен, коварен и нагл. Но он был, несомненно, храбр и решителен. Он, как было известно всем, пошел бы на любой риск, если это сулило выгоду и славу. Его и решили послать в Мангазею, а для надзора за ним присоветовал Остафий Михайлович Пушкин дать ему, Рубцу, в товарищи своего родственника Пушкина Луку.

Вскоре вся новая сибирская администрация — Шереметев, Пушкин и Рубец отправилась в путь за Камень.

Их поезд опережали гонцы в Ярославль, в Вологду, в Пермь, в Верхотурье. В Ярославле и Вологде закупали холсты для парусов, снасти, а в Перми выбрали нужное количество морских якорей, в Верхотурье дали приказ строить новые, хорошие, отнюдь не верткие кочи. Словом, снаряжая Рубца в новый поход на Мангазею, Москва позаботилась сама обо всем.

Весной 1601 года еще одна сотня казаков тобольских направилась в Мангазею. На этот раз флотилия состояла из одиннадцати кораблей. Скорострельные пушки новейшего фряжского образца стояли на палубах кочей. Трюмы были набиты хлебом, порохом, свинцом. Приняв в Березове еще сотню людей, Рубец вышел в море. На этот раз море ничего не могло поделать с кораблями. Верхотурские мастера построили их хорошо.

Идя вдоль восточного побережья Обской губы, отряд делал несколько остановок. Ненцы испуганно откочевывали подальше от берега. По-видимому, боялись расплаты за нападение на Шаховского.

Остатков его отряда не было и следа. Видно, пришла пора поминать князя Мирона за упокой. Рубец улыбался. Он, а не кто-нибудь победит мангазеев.

Но он побелел от досады, когда корабли, благополучно войдя в устье Таза, поднялись вверх по течению этой реки: над изумрудным ковром летней тундры высился свежесрубленный острог.

Князь Мирон, окруженный веселыми казаками, вышел из ворот мангазейского острога приветствовать вновь прибывших.

Храбрые тоболяне, спутники князя Мирона, все-таки вышли на Таз и выполнили все то, что задумали. Честь постройки мангазейского острога ушла от Рубца.

Князь Мирон с радостью передал воеводство Рубцу и Пушкину. Князь Мирон знал — Годунов не забудет его усердия. Мирона ждала Москва.

6

Той же зимой 1601 года в Москве получили меха мангазейские. Замечательны были эти меха. Иноземные послы поздравляли царя Годунова с победой. Мангазея. Гиперборея эллинов! Это знали англичане и голландцы. А премудрые послы повелителя Персии великого шаха Абаса рассказывали, что еще шесть-семь столетий назад меха

страны Мраков славились по всему Востоку. В Багдаде, в Магребе, в Египте, в дальней Кордове высоко ценился соболий мех из страны Мраков, что сзади страны руссов, за Камнем. Сама Зобейда, любимая супруга калифа Гарун-ар-Рашида, ввела когда-то обычай носить шубы, подбитые соболями из страны Мраков.

Страна Мраков! Гиперборея эллинов! Лукоморье древних новгородских сказаний! Ласково гладил Годунов мех мангазейского соболя. Самоядь подбивает им лыжи, не ведая, что сей соболь — желанный мех для царей и цариц и патриархов. Этих соболей повезут послы в дар владыкам Востока и Запада. Этот мех повезут в Исфагань, Стамбул, Венецию, Гамбург, Лондон. Любовался мангазейскими соболями Борис Годунов. А сын царя — юный Федор нанес Мангазею на ту карту России, которую сам составлял.

В эти дни немало купцов отправилось из России туда, в новый острог мангазейский. Годунов позволил купцам торговать с самоядью мангазейской любыми товарами, кроме заповедных, то есть оружия — огнестрельного и холодного. Вооружать самоядь запретил строго-настрого. Мол, и в старых сказаньях поведано, что выбрались они из каменного плена, вооружившись железом! Мудры сказания древние.

С одним из купцов ярославских отправился в Мангазею приказчик, некий отрок по имени Василий.

7

А в Мангазее тем временем происходило вот что. Спровадив князя Мирона, новые воеводы почувствовали себя полновластными хозяевами страны. Удивительной была эта область! Соболя, правда, и здесь не валились с небес, но их можно было хватать прямо с земли. Зверьки забегали во двор острога. Казаки били их палками. Рубец и Пушкин сперва не поверили князю Мирону, когда тот рассказывал о том, что ненцы подбивают свои лыжи соболиными шкурками. Но вскоре оба воеводы убедились во всем этом сами.

Все рассказанное князем Мироном перед отъездом было правдой. «Мангазейцы — что голуби,— говорил Мирон на прощание,— стоит только хлебные крошки на снег посыпать, сейчас со всей тундры слетятся».

Князь Мирон, чуть было не погибший от стрел и копий ненецких, впоследствии сдружился с этим народом. Рубец

и Пушкин решили продолжать дружбу. И вскоре пригласили в острог всю самоедскую знать. Кое-кто не шел, тех пришлось привести даже насильно. Но их встретили хорошо, ласково. Усадили за стол, накормили, угостили вином. И затем Савлук Пушкин обратился к мангазейцам с жалованным словом от государя.

— Прежде сего,— объявил Пушкин,— приходили к вам в Мангазею и Енисею вымичи, пустозерцы и многих государевых городов торговые люди, дань с вас брали воровством на себя, а сказывали — на государя. Обиды, насильства и продажи от них были вам великие...

Ненцы согласно выслушали эту речь, переводимую толмачами.

— Теперь же государь и сын его царевич,— сказал далее Пушкин,— жалуя мангазейскую и енисейскую самоядь, велели в их земле поставить острог и от торговых людей их беречь! Чтоб жили в тишине и в покое. И ясак платили в государеву казну без ослушания. И быть вам под высокой государевой рукой неотступно!

Так сказал Пушкин, а Рубец добавил, что возьмут они, воеводы, для порядка в острог самоедских заложников, или, по-другому сказать,— аманатов. И будут, мол, те заложники жить в покое и сыто, если ясак станет поступать исправно... А коли не так — пусть уж самоеды не взыщут — худо заложникам придется!

Заложников взяли тут же. Посадили в особую избу. И Рубец, смеясь, говорил казакам, что-де когда-то Александр Македонский, великий царь, загнал, по преданьям, сей народ самоедский в Лукоморье, в горы, в Камень, а теперь мы обойдемся деревянной избой. Зачем целый народ загонять в Камень? Взять заложников и посадить в острог — и весь народ будет покорен. Будет работать, ясак тащить, дань.

Вскоре после этого началась перепись людей в тундре.

Казаки-грамотеи, которые когда-то читали старинные преданья о чудесной «стране восточной незнаемой», теперь заносили в книги имена жителей этой страны. Писали, где кто кочует, кто сколько ясаку платить должен.

Если ясак поступал неисправно, то заложников мучили. Дожидались сдатчиков ясака, вели их к избе аманатской и показывали, как плохо живется аманатам, как их наказывают за то, что ясак нехорош. Давали аманатам вместо хлеба и мяса вонючую юколу — собачий корм из перегнившей сушеной рыбы. И просили заложники, чтобы

несли ненцы побольше мехов умилостивить князя Рубца.

Князь решил вернуться домой богатым, во всяком случае не беднее, чем те, которые прежде являлись сюда, чтобы брать ясак облыжно. Но делал Рубец свои дела осторожно. Озаботился, чтобы не было зависти у подчиненных. Смотрел сквозь пальцы на разные проделки казаков, когда они умыкали девок и женок из тундры и жили с ними, некрещеными язычницами, следил сам, чтобы в кабаке всегда было достаточно вина.

8

Вскоре появились в Мангазее гости из-за Урала — купцы московские, нижегородские, вологодские, ярославские. Они привезли много товаров и для казаков и для самояди. Понастроили в Мангазее лавки. Ездили и за город. Выменивали у самояди пушнину, а порою и кой-что еще. Ярославский купец, тот, с которым приехал юный приказчик Василий, выехав однажды в тундру для меновой торговли с самоядью, привез красивую северную девку. «Я не хуже вас, казаки»,— кричал он пьяный. И все в остроге приветствовали удаль ярославца.

Бревенчатый терем ярославца стоял неподалеку от аманатской избы. Приказчик Василий, в отсутствие хозяина, часто наблюдал, как стражи кормят заложников. Юкола хранилась в ямах, в бураках, сделанных из древесной коры, перегнивала до того, что превращалась в вонючую мерзлую жидкость. Аманаты, закрыв глаза, принимались за такой проклятый обед. Плача и причитая, толпились родичи заложников у аманатской избы. Все это видел из окна лавки приказчик Василий.

Был он юноша добрый. И такого обращения, хотя бы с язычниками, не одобрял. Когда же хозяин, вернувшись из тундры, пьяный ввел в дом некрещеную самоедскую девку и «преспал» с ней, скорбь обуяла Василия. Еще в большее смятение пришел Василий, когда купец выгнал назад в тундру обесчещенную самоедскую девку. Прельстился новой. Первая девка ушла в тундру, довольная подарками. Вторая девка не отделалась так легко: когда она надоела ярославцу, тот уступил ее казакам. «Что хочу, то и делаю,— сказал хозяин в ответ на несмелый упрек Василия.— Я-то ее купил. Мне ее самоедский вождь продал. Значит, поступаю, как хочу. Грех? Ну, что с моей

душой будет, это не твое, Василий, дело. Тут, в Мангазее, свои порядки».

И в споре с хозяином сорвалась с языка приказчика угроза: вот, мол, вернемся в Россию, так спрошу у людей знающих, божеские ли порядки здесь в Мангазее и по божеским ли законам жил здесь ты, хозяин.

Хозяину меньше всего хотелось, чтоб о веселой жизни его узнала купчиха, жена, оставшаяся там, в Ярославле. Что же до мангазейских порядков, так это касалось воевод. На всякий случай ярославец обмолвился раз в беседе с князем Рубцом, что, мол, приказчик Василий порядки мангазейские порицает — не нравится веселая жизнь, не нравится, как аманатов содержат, чем кормят. Грозится, вернувшись в Россию, обличить.

Рубец кивнул головой. Он взял эти слова ярославца на заметку. Стал присматриваться к Василию. Заметил, что тот много разговаривает с казаками, со старыми казаками, которые поскромнее да побогомольнее. О чем беседы? Спросил казаков. Ответили, что о книжной премудрости, отрок — грамотей, любитель читать книги. Вот и беседуют о старых сказаниях про Лукоморье, о божественном. Рубец посмеялся над казаками — нашли собеседника, мальчишку. А ярославцу князь сказал: если, мол, затеет Василий чего-нибудь снова, начнет произносить какие поносные речи, тащить его в съезжую избу прямо за шиворот. А там видно будет. Но хозяин и сам был неглуп.

Однажды купец выскочил из дома, крича, что ограблен. Ярославец заявил, что оставил дома приказчика Василия, а теперь нет ни денег, ни товаров. И вскоре мангазейцы увидели, как ближние люди воеводские волокут Василия в съезжую избу. Никто не знал толком, как это все случилось. Куда девал товары Василий, если он их украл? Говорили, что хотел Василий бежать на собаках к Камню и оттуда на Печору.

Началось дознание. И затем из съезжей избы вынесли мертвое тело приказчика.

Князь Рубец говорил, что упорный приказчик хотя ни в чем не сознался, но явно виновен. Савлук Пушкин ходил понурый, стараясь не смотреть на Рубца.

Купец-ярославец уехал восвояси. А вскоре отбыл из Мангазеи и князь Мосальский-Рубец. Отпросился в Москву. Нечего больше было ему делать там, в Лукоморье. Что надо было там приобрести, он приобрел. Да и слухи стали ходить нехорошие. Жаловались самоеды: «Грабит!» Стали

мстить. А кому? В первую голову казакам. Роптали и казаки. Зарвались-де воеводы, хватают через край. Самоядь не щадят, против казаков самоядь озлобляют, да и своих до смерти замучивают. Ведь ничего не доказали на приказчика отрока Василия, а, однако, убили. Князь Рубец точно учел все эти толки. И, проезжая через Тобольск, сумел рассеять сомнения, а попутно и отплатить воеводе тобольскому Остафию Пушкину за то, что сей боярин навязал ему, князю Рубцу, в спутники своего родственника Савлука. Рубец горько пожаловался воеводе Шереметеву на Пушкина. Вот-де Савлук, глаз ваш зоркий, наделал мне в Мангазее хлопот. Запытал до смерти он человека... И тяжело было слышать старому боярину Остафию Пушкину о таком злодействе, сотворенном родственником его Лукой. Оправдывался Савлук, говорил, что нисколько не виноват в таком черном деле. Рубец, мол, разрешил ярославцу пытать приказчика. Он же, Савлук, хотел приостановить пытку, но тогда ярославец подбежал и ударил Василия ключами в висок. Ударил с разрешения Рубца. Убил. Так оправдывался Савлук.

Рубец говорил иное, поносил Савлука и всех Пушкиных. И занемог после этого старый боярин Остафий Пушкин и скончался от сердечного припадка.

А князь Рубец ушел на Русь, заметя все следы.

9

Воевода тобольский Федор Иванович Шереметев, похоронив своего товарища боярина Остафия, не стал возвращаться к неприятному делу с Василием. Забот было и без того немало. Из Мангазеи, от посланного туда нового воеводы Булгакова, поступили весьма любопытные новости. Город-де растет не по дням, а по часам. Откуда только люди берутся! Едут и через Березов, и из-за Камня — знай принимай. И пробились морем, с Архангельска. Да не только свои русские, но и иноземцы. Пришли голландцы на огромных судах. Шереметев отписал об этом в Москву: гости пришли. Что делать? Как принимать? Из Москвы не спешили с ответом. Шереметев догадался: Москве сейчас не до Мангазеи. Разразился зимой на Руси голод. Начались болезни и смуты. Некогда стало правительству заниматься Сибирью. И отписал Шереметев мангазейцам — управляйтесь, как знаете, только собирайте ясак

исправно. А в том, что превращается Мангазея в какой-то новый порт, в этом Шереметев сам беды не видел.

Вскоре Шереметев покинул Тобольск. Новый воевода — Голицын, не успев еще разобраться в делах лукоморских, был отвлечен делами более важными. В России разразились большие события. Двинулся с западных рубежей самозванец, помер царь Борис, шла война.

Вести об этих событиях быстро дошли и до Мангазеи. Но здесь все это не воспринималось так остро. Война? Здесь своя война, вечная война с непокорными племенами. А уж ляхи-то не дойдут сюда, конечно. Были даже и свои выгоды от всего этого великого замешательства,— не приходилось теперь бояться, что приедут из Москвы сыщики для надзора. Торгуй, живи как хочешь — сама себе Мангазея хозяйка!

Весело жилось в Мангазее. Росла Мангазея. И лет через десять после основания стала большим, хорошо укрепленным городом. За трехсаженными стенами острога стояли две церкви, всякие административные здания — съезжая изба, воеводский двор, склады, тюрьма, таможня, да два кабака, да торговые бани. Множество лавок имела Мангазея. Четыре большие улицы города были тесно застроены домами, да еще многочисленные избы лепились у стен острога, под прикрытием высоких башен. Домов насчитывалось больше двухсот. В речном порту появились десятки судов.

Такой стала Мангазея в годы крестьянской войны, когда Москва переживала великие беды. Умер царь Борис — славный зачинатель мангазейских походов, погиб царевич Федор, начертавший на своей карте России новую северную провинцию. Царевича убила та же рука, которая убила и мангазейского приказчика Василия,— «окаянный князь» Мосальский-Рубец, перейдя на сторону самозванца, порешил в Москве семью Годуновых. Об том поведали мангазейцам купцы и промышленники, приехавшие из-за Камня. Много их появилось здесь в это время. Из Москвы, из Поморья, с Печоры, с Перми, уходя от превратностей смуты, шли сюда, в волшебные и дикие края полунощи. Купцы иноземные, пользуясь отсутствием бдительных порубежников, вели свои корабли в гиперборейскую гавань. Всех гостеприимно встречала страна Мраков. До тысячи гостей принимала в иные годы Мангазея. И до ста тысяч соболиных шкурок проходило за год через этот город. Шумными были ярмарки зимой.

Но почему ныне только историки вспоминают о славном городе этом? Куда девалась Мангазея, столица северного Лукоморья?

Упадок Мангазеи совершился в годы царствования Михаила Романова. Прибывший в 1616 году в Тобольск новый воевода князь Иван Куракин обратил особое, и отнюдь не благосклонное, внимание на этот вольный город, построенный тобольскими казаками. Князь Куракин установил с очевидностью, что многое множество мягкой рухляди, драгоценной пушнины, соболей, при существующих в Мангазее порядках, уходит в руки частных лиц, не поступая в казну государства. Сделать Мангазею златокипящей вотчиной государевой — вот что поставил себе в задачу усердный князь Иван Куракин.

Высокая пошлина, ограничение вывоза и закрытие вольного морского пути из Европы к берегам Таза — такие мероприятия решил осуществить Куракин. Он писал, что надо запретить морской путь в Мангазею. Сначала это не удалось — промышленники протестовали, и царь Михаил не решился идти против. Но Куракин убедил правительство все же закрыть морской путь — по нему-де ходят в Мангазею иноземцы и, не ровен час, отторгнут златокипящую вотчину государеву от России. Из Тобольска же против них войска не пошлешь — далеко. Случаи грабежа иностранными пиратами северного побережья России действительно были. Особенно обнаглели авантюристы за годы крестьянской войны. И в конце концов правительство склонилось на доводы князя Куракина. Морской путь был закрыт.

И в самой Мангазее князь Куракин установил свои порядки. Он ограничил частную инициативу в торговле — например, отобрал в казну торговлю вином. Громадные прибыли перешли от предпринимателей в руки государства.

Все эти ограничения и строгости не понравились северным горожанам, людям, привыкшим к вольной жизни и свободной наживе. Мангазея пустела. Корабли уже не поднимались, как прежде, вверх по Тазу. Ватаги промышленников далеко обходили город, не желая попасть на глаза таможенникам. Так же поступали и купцы. Те и другие стремились в обход Мангазеи дальше, в «уезд», благо что тот уезд простирался на тысячи квадратных ки-

лометров к востоку, северо-востоку и юго-востоку. И горько прозвучали слова некоей челобитной, направленной царю Михаилу в 1623 году мангазейцем Мартыном Бехтеяровым: «Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси холоп твой Мартынка Бехтеяров челом бьет. В нынешнем году, государь, в 131-ом мая в 17 день волею божьей половина города выгорела до тла, а из остальной половины ползут тараканы в поле. И видно быть и на той половине гневу божьему, и долго ли коротко ли и той половине горети, что и от старых людей примечено. А того для не велено ли будет и остальную половину зажечь, выбрав пожитки, дабы не загорелся град не вовремя и не погорела бы у людишек худобишка, да и твоей, пресветлейшего государя казне не было бы убытка».

Разрешение зажечь остальную половину не последовало. И еще в течение целого ряда десятилетий при новых воеводах тобольских, сменивших князя Куракина, существовал острог мангазейский, и поступали через Мангазею в казну государеву сотни тысяч драгоценных шкурок. Сокровища златокипящей вотчины государевой шли в Москву, а оттуда и на заграничные рынки, и в подарки иноземным владыкам, восточным митрополитам и патриархам. Острог мангазейский существовал до 1672 года, пока наконец не был перенесен на триста километров восточнее, дальше, на Турухан. Но город, такой город, каким была Мангазея в начале века, не возродился.

Прошло его время. Те, кем была славна молодая Мангазея — казаки и промышленники,— ушли отсюда, чтоб не вернуться. Давно уж были забыты суровые куракинские порядки, но какие ни получала бы Мангазея свободы и льготы, она не воскресла б. Не было в том нужды. Люди ушли вперед. Куда? Дальше, на восток. В поисках новых мест, нового Лукоморья. Князь Иван Куракин закрыл ход Северным морем из Архангельска в Мангазею, но это было, по существу, тем же самым, как если бы захлопнули дверь за спиной уже прошедшего через нее человека. Казаки и промышленники шли вперед, не оглядываясь на Архангельск, равно как на Тобольск и Березов. Покинув Мангазею, вышли казаки и промышленники с Таза на Енисей, с Енисея на Лену, а вскоре и на великий Амур. И открыли они новые сказочные Лукоморья. Соболя и там не падали прямо с неба. Но были присоединены к державе российской огромные земли, богатейшие территории северной Азии, вплоть до самого Великого океана.

Путь к ним лежал через Мангазею. Именно в этом ее великое историческое значение. «От города Мангазеи остались одни лишь развалины,— записал в свой дневник один ученый-путешественник профессор Шухов, посетивший реку Таз в 1914 году, то есть через триста лет после расцвета Мангазеи.— По берегу торчат бревна построек, нижние склады зданий... Сохранилось едва только одно строение, судя по архитектуре, башня. Сохранились три стены, в одной есть бойницы, архитектура, аналогичная с башнями в Юильском городке на р. Казыме. Место, где была Мангазея, кочковатое, поросшее сорной травой и кустарником — березняк и ольховник». В отвалах берега нашел путешественник много любопытных предметов — наконечники стрел, деревянный крестик древнерусского стиля. Деревянный крестик, наконечник стрелы, развалины башни — вехи на великой дороге русского народа к востоку.

Сын боярский

1

Двор Ремезовых ничем не выделялся среди других деревянных построек Тобольска. Дерево, как и всюду. Он находился в слободе близ стен острога. Казенная изба, переходя к Ремезовым от поколения к поколению, стала ремезовской наследственной собственностью. Здесь жил дед Моисей, по прозванию Меньшой, простой воин, участник походов на остяков, вогуличей и татар в старое тревожное время, когда азиатские князьки, пытаясь вернуть себе былое величие, шли походами на Тобольск, чтоб стереть с лица земли стольный город Сибири. В этой избе родился Ульян Ремезов, который впоследствии получил звание сына боярского. В Сибири получить сословные преимущества было легче, чем за Уралом, многие казаки и стрельцы бывали тут жалованы в дети боярские и в дворяне — кто за доблесть, кто за усердие и грамотность. Ульян же Ремезов в начале пятидесятых годов XVII века выполнил важное поручение правительства. Случилось это так: весной 1650 года явились в Тобольск с верховьев Иртыша послы от грозного, но дружелюбного восточного государя — Аблая, тайши калмыцкого. Сообщили, что гото-

вится Аблай в поход на казахов. И для обеспечения победы требуется ему волшебный талисман. А талисман этот надеется получить Аблай именно через посредство тоболян. Наследники татарского мурзы Кайдаула и кодского князя Алача тем талисманом незаконно владеют. Так пусть его величество молодой царь Алексей Михайлович повелит храбрым тоболянам, чтоб отобрали они у наследников Кайдаула и Алача и передали тайше Аблаю волшебный талисман — доспехи славного Ермака Тимофеевича.

Москва решила удовлетворить просьбу калмыцкого властителя. Но для того чтоб послать доспехи Ермака в подарок Аблаю, необходимо было их прежде отобрать от наследников Кайдаула и Алача. Отобрать не насильно, а мирно. И выполнить это должен был тобольский воевода Хилков с помощью своих служилых людей. Однако владетели доспехов Ермака и слышать не хотели о том, чтоб отдать. Ни ласки не действовали, ни угрозы. Но в конце концов привез все же Ульян Моисеевич Ремезов в Тобольск ермаковскую кольчугу. Уговорил-таки наследника мурзы Кайдаула!

Кольчуга Ермака! Состоящая из искусно сплетенных между собой железных колец, эта кольчуга имела два аршина длины и аршин с четвертью ширины в плечах. Спереди и сзади она была украшена золотыми двуглавыми орлами — мишенями царскими. На подоле и на рукавах зеленела окислившаяся медь. Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как погиб облаченный в эту кольчугу Ермак. И вот сотник стрелецкий Ульян Ремезов повез ее в подарок калмыцкому тайше Аблаю!

Аблай торжественно принял гостей тобольских. С великими почестями взял калмык кольчугу в свои руки, поднял ее высоко над головой и затем поцеловал. И вспомнил Ермака Тимофеевича, как пришел тот в Сибирь с войском, как воевал, как погиб и что произошло с его мертвым телом. «Когда оно было найдено,— сказал Аблай,— в него пускали стрелы и — чудо! — из него текла кровь!» Аблай вспоминал о том, где и как похоронили Ермака, как над могилой показывался огненный столб и пламя, подобное пламени свечи,— знамения, которые были невидимы для русских,— как были поделены панцири и одежда, какие про них рассказывали чудеса, как татарам было под страхом смерти запрещено показывать могилу и о чудесах говорить. Аблай удостоверил, что сам испытал силу чудес: в юности заболев, ел землю с могилы Ермака и выздоро-

вел. И имеет он, Аблай, обыкновение, идя на войну, брать с собой немного этой земли, и когда берет, то поход бывает успешен. Вот почему, он, Аблай, и просил у царя России в дар доспехи Ермака Тимофеевича. Он принимает этот дар с глубоким уважением в знак величайшей милости царской. И отныне он друг русским навсегда. Он будет бережно хранить эту драгоценность, которой, конечно, недостойны владеть ничтожные потомки Алача и Кайдаула. А он, Аблай, теперь хочет идти войной против соседей и надеется на полную победу, имея кольчугу Ермака.

Ульян Ремезов с товарищами испытывали великую гордость за то, как славен Ермак у азиатцев. Тоболяне знали наверное — теперь-то уж калмыки Аблая не будут замышлять поход на Тобольск, как это делали они несколько лет назад. Заполучив волшебный талисман, пойдут в большие южные походы, куда приходилось ходить и тоболянам,— на немирных кочевников, которые грабят караваны туркестанских купцов, направляющиеся к Тобольску. Что же касается чудес, так Ульян Ремезов записал дивный рассказ Аблая и попросил тайшу скрепить этот документ своей калмыцкой печатью. И, доставив грамоту в Тобольск, передал ее воеводе Хилкову. А копию оставил у себя дома. И хорошо сделал, ибо очередной пожар, уничтоживший вскоре почти весь Тобольск, не пощадил и архива съезжей избы. А изба Ремезовых уцелела. И многие ценности сохранились в этой скромной избе. Записи Ульяна о своих походах, трофеи этих походов, луки, стрелы и копья северных воинов, узорчатое оружье южных кочевников, изделия из мамонтовой кости и пышные меха стран полунощных, ковры, шелка и циновки восточных стран — чего только не было тут! Хранился тут чай — растение, настой из которого пьют китайцы. Первый ввез чай в Россию посол к Алтын-хану монгольскому Василий Старков. Возвращаясь Сибирью, он останавливался в 1638 году в Тобольске и подарил кой-кому чаю. Был здесь и табак, за употребление которого жестоко преследовали в России. Но этот табак был привезен не из-за Камня, а с востока, из того же Китая; спокон веков поступал табак из этой страны сюда, в Сибирь, под названием травы Думбагу.

Много редкостей и ценностей хранила старая ремезовская изба. Сын стрелецкого сотника Ульяна Ремезова, внучек деда Моисея Семен, имел чем позабавиться в родительском доме.

2

Семен родился в начале шестидесятых годов, году в 1662,— словом, в те неспокойные годы, когда за Камнем разразилось огромное восстание башкир и перекинулось не только на юг к ногайцам, но и сюда, в Сибирь. Внучата Кучумовы под предводительством Девлет-Гирея, объединившись с башкирами, тревожили сибирские рубежи. Тобольский полк пошел на войну с башкирами и татарами. С этим полком уходил из дому и Ульян Моисеевич, сын сотника, отец Семена. А затем Ульян Моисеевич уходил на север, ибо остяки и самоеды пытались снова, как полвека назад, разгромить город Березов. В доме стрелецкого сотника Ремезова лучше чем где-нибудь знали обо всех этих страшных событиях, и старики, как подобает, вздыхая, вспоминали «о добром старом времени», когда и всего было не так, как теперь. По рассказам стариков выходило, что промежуток времени между концом «смуты» и пятидесятыми годами — словом, их молодость — был счастливейшей порой. И азиатцы, мол, убедившись в мощи нового царствующего дома Романовых, оставили свои бунтовские замыслы. Алей, сын Кучумов, сдался русским и поехал жить в Ярославль, калмыки перестали грабить порубежные села, Алтын-хан монгольский попросился под высокую царскую руку, а северные князцы Алачевы — так те всем семейством явились в Тобольск и крестились здесь зимой 1633 года прямо в проруби на Иртыше.

Так вспоминали старики — дед Моисей и его соратники. Конечно, они, отдавшись воспоминаниям молодости и припоминая приятное, забывали про неприятное, забывали, что в то время как одни восточные владетели просились под высокую царскую руку, другие затевали войну на порубежных линиях, в то время как Алей поехал жить в Ярославль, внук Кучума Аблай грабил вместе с калмыками русские селенья... Но во всяком случае, было в разговорах стариков и немало верного — если годах в тридцатых после окончательного разгрома иноземных захватчиков, поляков и шведов, жизнь на Руси, казалось, начала налаживаться как надо, так теперь снова все изменилось к худшему. Особенно после смерти Михаила Федоровича, когда взошел на престол Алексей. Неспокойно стало в Сибири, а уж о России и говорить нечего. Соляной бунт, Медный бунт, мятежи в Поволжье. Восстания башкир, татар, ногайцев. А Степан Разин, донской атаман казац-

кий, на бояр да князей повел бедноту православную, русскую!

В годы новой крестьянской войны, в годы восстания Разина, в тревожные годы рос Семен Ремезов, сын стрелецкого сотника тобольского.

В неспокойное время 2700 душ христианских из Тобольского, Верхотурского и Тюменского уездов и из городов погибли в огне самосожжения в 1678 году! А Тобольск озарялся иными пожарами. В том же 1678 году выгорело полгорода от воров-поджигателей. Двора сто три по самый девичий монастырь сожрало пламя.

Кто жег? Раскольники? Бунтовщики-ссыльные? Неспокойно было в Тобольске. Еще неспокойнее было в России, за Камнем.

Но Москва, далекая, шумная, окруженная волнующимися народами,— Москва — мать земли русской, несмотря ни на что, росла и крепла. Она, в спорах с западными соседями, занимала все более и более прочное место среди великих европейских держав. Иностранные послы соперничали за право на близость к царю. Англичане соревновались с голландцами в поставке на Русь своих товаров и спорили, кто из них прежде получит право на транзитную торговлю через Россию и Сибирь с волшебными странами Востока. Но ни те, ни другие не получили привилегии для судовождения по Иртышу, Оби, Енисею... Дорога к Китаю и Индии пролагалась не иноземцами, а храбрыми сибиряками. И, как говорит один из исследователей нашей страны, в эти годы все ясней и ясней выступала из мрака неизвестности еще неведомая до того образованному миру значительная часть азиатского материка.

В течение семидесяти лет русские землепроходцы прошли всю северную Азию, одну из величайших равнин земного шара!

Огромными посадами, русскими, татарскими, бухарскими слободами оброс Тобольск. Пожирали и город и слободы пожары, топили наводнения, но снова и снова вставал Тобольск — город стольный. Разноплеменная толпа шумела на торгу. Величественный посольский двор был открыт для восточных гостей.

Мальчик Семен Ремезов был свидетелем того, как в конце 1674 года проследовало через Тобольск в Москву посольство Очирей Саип-хана Халкасского, а весной следующего, 1675 года проследовало через Тобольск из Москвы в Пекин посольство Спафария; весной 1678 года через

дымящийся от пожаров Тобольск проследовало в Москву посольство владетеля Кашгары джунгарца Галдана Бокошту, а в 1680 году тобольский воевода переслал владетелю Монголии Лоузану похвальную царскую грамоту за его верноподданничество.

3

1681 году Семен Ремезов был поверстан в чин из неверстаных детей боярских. Иными словами, подросток превратился в мужчину. Пошел на службу, женился, стал видным человеком в Тобольске. Заслуги отца и деда открывали Семену Ремезову широкую дорогу.

Начиная служить, Семен Ульянович мечтал о том, что выполнит дела не меньшей важности, чем были выполняемы когда-то его отцом. Но, как видно, доспехи Ермака встречались не на каждом шагу, да и восточные владетели теперь не столь стремились к приобретению волшебных талисманов. Времена изменились, изменились и нравы, изменилась и служба. В первые годы службы Семена Ремезова Тобольск был поглощен перипетиями борьбы между властью духовной и светской. Духовная власть полагала, что воеводы недостаточно строги в делах благочестия, мало заботятся о нуждах церкви, о благополучии монастырей, сквозь пальцы смотрят на бегство крестьян с монастырских земель, слабо борются с раскольниками. Митрополит полагал, что раскольники именно потому и не унимаются, что воеводы недостаточно строги. Воеводы же указывали митрополиту, что если он не оставит столь жестоко преследовать раскольников, то быть беде. И так уже раскольники стали жечь не только себя, но и православных — подожгли около Тюмени в Каменке церковь во время заутрени. Четыреста православных погибло. И, мол, лет десять назад пыталися уже какие-то воры сжечь весь Тобольск, а ныне сожгут наверняка. Митрополит, учтя сие предупреждение воевод, начал строить церкви каменные и такие же стены вокруг них. Украсил Павел Тобольск чудными каменными храмами, но толковали воеводы, что-де, мол, Павел из трусости каменные церкви строит. Митрополит, узнав, отлучил несколько воевод от церкви. Стал жаловаться в Москву царевне Софье. И опять издевались гражданские власти, сравнивая Павла с известной персоной из стихотворной повести,— похож, мол, Павел на попа ябедника Савву, который «по приказам волочится». Семен Ремезов рад был оказаться подальше ото всей этой кани-

тели и с охотой уезжал из Тобольска. Он не однажды ездил на Урал, проверяя, достаточно ли крепки заставы для преграждения самовольного перехода русских людей в Сибирь. Изменились времена, изменились! Прежде радовалась Москва, что Сибирь заселяется, а теперь повелела запрещать переход. Помещики боялись, как видно, что все крестьянство перебежит сюда, за Камень! Ездил Семен Ремезов на юг к джунгарам, к киргизам и на дальний север выручать корабельщика Родиона Иванова, потерпевшего крушение на западном берегу Ямала у Шараповых Кошек.

И скитался так по Сибири Семен Ульянович без малого десять лет. Путешествуя, молодой Ремезов уделял немалое внимание осмотру старинных городищ, капищ языческих идолов. Искал камни-самоцветы, руду.

Чтоб не забыть, где это видел, стал он делать подробные записи и сопровождать их чертежами, а то и просто рисунками. Рисунки удавались.

Ремезовская изба наполнялась мало-помалу новыми редкостями и диковинками — рисунками, чертежами, камнями, всевозможными предметами, привезенными издалека. И дивились на все это, как когда-то дивился сам Семен Ульянович на находки отцовские, дети Семена, сыновья малолетние Иван, Леонид, Петр и Семен Семеновичи.

Давно умер дед Меньшой. Отдал душу богу и Ульян Моисеевич. Но росло новое поколение. Уж пятым ребенком ходила жена Семена Ремезова, могучая сибирячка, не расстающаяся ни зимой, ни летом с пышным собольим мангазейским душегреем. Жена нянчила детей. Семену Ульяновичу все не сиделось дома. Он продолжал бы путешествовать и дальше, если бы не попались однажды его курсовые записи, зарисовки и чертежи на глаза тому же самому митрополиту Павлу. Посмотрел Павел чертежи ремезовские и объявил, что никто иной, кроме Семена Ульяновича, не сможет придумать, какова должна быть новая каменная стена вокруг архиерейского дома.

Ремезов согласился сделать чертеж и проследить за постройкой. Но что-то плохо ладилось дело. Затянулось. Переделывали, откладывая завершение работы с весны на осень, с осени на весну... Так в хлопотах вокруг этой злополучной стены и провел Ремезов время до 1689 года. А тут и самому не захотелось больше никуда уезжать из Тобольска. Любопытные шли из Москвы вести.

4

В Москве совершились большие перемены. Молодой царевич Петр взял власть в свои руки. Царевну Софью заключили в монастырь. Жестоко поплатились за своевластие стрельцы московские. Притихли раскольники, поднявшие было голову в годы правления Софьи. А что дальше? Про Петра толковали, что он окружил себя иноземцами, вводит в обычай все иноземное.

Из Москвы от молодого царя шли какие-то необычайные, торопливые и не всегда приятные распоряжения. Более чем когда-либо усилились строгости насчет взимания пошлин, выплачивания ясака. В то же время последовали указы не обижать азиатцев — не пытать и не казнить их без доклада государю.

Не верил, видно, царь в мудрость сибирского начальства, раз так ограничивал его законные, вековые права. Да! Так оно и было. Все чаще стали поступать распоряжения, показывающие, что не весьма уважает молодой царь старую сибирскую администрацию — почтенных бородачей воевод. Пришел однажды указ прямо оскорбительный. Повелел царь верхотурскому кабацкому и таможенному голове строжайше осматривать людей всякого звания без различия пола и возраста, а в том числе и воевод, со всеми их чадами и домочадцами,— не везут ли в Сибирь в излишке мед, пиво, вино и табак для обмена на мягкую рухлядь, а из Сибири не везут ли в платьях, в постелях, в полозьях, в хомутинах мягкую рухлядь. Знаем, мол, куда деваются лучшие меха!

Проскакал сломя голову через Тобольск Петров посол к китайскому богдыхану, некий Избранд Идес, датчанин. Не был он похож на чинных старых послов московских.

Семен Ульянович в эти дни был занят делом скромным и благочестивым. Он, по просьбе нового митрополита тобольского Игнатия Римского-Корсакова, чертил проект выносной часовни для поставления на реке Иртыш иорданного священия воды, расписывал часовню красиво — золотом, киноварью, лазурью. Но, не успев закончить сего богоугодного дела, был Ремезов вызван к новому воеводе Нарышкину. Сей ставленник и родственник молодого царя с шутливой серьезностью объявил Ремезову, что пора и ему послужить богу Марсу, а посему не угодно ли будет ему, художнику сибирскому преизвестному, написать семь новых камчатных знамен для конных и пехотных

полков сибирских? Что ж, Семен Ульянович не имел ничего против, чтоб сделаться знаменщиком и живописцем. Заказ он выполнил мастерски. Это было в 1695 году. Осмотрев знамена, Нарышкин потребовал от Ремезова других его рисунков. И как видно, написал что-то в Москву. И вскоре пришел из Москвы указ, продиктованный не иначе как самим Петром I,— пусть-де боярский сын Ремезов примет участие в написании большого чертежа страны сибирской. Чертежи составлять было велено всем сибирским городам и уездам, а в Тобольске было велено изготовить на основании этих материалов общий чертеж Сибири, огромный чертеж, вышиной три аршина и в длину четыре аршина. Составлять велено было быстро, «безо всякого мотчания».

Детские воспоминания — чертеж воеводы Годунова... Старые, сделанные на глаз и на память, нехитрые чертежи отца — стрелецкого сотника Ульяна Моисеевича,— все, все приобрело теперь вдруг необычайную важность. Царь поручает чертить великий чертеж. Сам царь!

Вскоре Ремезов выехал из Тобольска. Рисовать Сибирь. С Ремезовым выехали его дети — помогать в важной работе. Долго не было Ремезовых дома. А вернувшись, они превратили старую избу в такую чертежную палату, каких еще не было в Тобольске.

Так появился первый чертеж — «Чертеж земли тобольского городу». Но это было только начало работы. Выезжая не один раз в разные концы Сибири, расспрашивая приезжих бывалых людей про далекие страны, безводные степи, огромные озера, про славный Алтай-камень, который искони создан главой всех великих рек — Иртыша, Енисея, Селенги, китайской Корги, индийского Ганга, Ремезов готовил новую карту.

Однако этот труд пришлось вдруг оставить. Что же случилось? А случилось то, что Петр I решил срочно перестроить город Тобольск. Часто, мол, горит деревянная столица сибирская, пусть она станет неуязвимой для огня. Все казенные учреждения надо сосредоточить на горе, в новом каменном городе. А составить план постройки нового города, составить план перестройки старого Тобольска надо поручить известному сибирскому чертежнику и живописцу Семену Ульяновичу Ремезову.

Ремезову предложили быстро составить проект строительства и велели явиться с ним в Москву, захватить, кстати, и готовые сибирские чертежи.

5

Москва. Видывал ли ее до сих пор кто-нибудь из Ремезовых? Едва ли. Бывал там только дед Моисей. Храбрый сотник Ульян Моисеевич побывал во многих столицах — на развалинах татарской столицы Искера, в шатровой столице калмыцкого тайши Аблая, в сооруженных из звериных шкур столицах северных князьков, но родной столицы, Москвы, он так и не увидел за всю свою жизнь. Ну что ж! Зато повезло внуку и правнуку. Семен Ульянович отправился в Москву вместе с сыном — Семеном Семеновичем, старшим мальчиком, наиболее деятельным помощником в черчении карт.

Две недели из Тобольска через Верхотурье, Соль-Камскую, Кайгородок, Устюг Великий, Вологду и Ярославль ехали в Москву путешественники. Это был путь воевод и ратных людей, путь искателей счастья, путь опальных, путь колодников. Много рассказов, много преданий было связано с этой сибирской дорогой. Старики великоустюжские до сих пор помнили проезд через их город одного из сибирских воевод, князя Темкина, как, приехав в два часа ночи, велел у посадских людей ворота ломать, у изб и клетей двери высекать, а жителей велел бить чеканами, обухами и плетьми, а животы их грабить, и от того насильства и боя произошел в Устюге великий переполох и начали бить в колокола. Это было давно, полвека назад, но и сейчас еще добрые устюжане с некоторым недоверием смотрели на проезжих сибиряков. Кто их знает, этих людей из-за Камня. Пьяные, веселые, грозные, требовательные проезжали эти сибиряки, сторожа рубежей восточных. Ремезовы, впрочем, ничуть не походили на сих удалых безобразников. Семен Ульянович, показывая сыну города старой родины, объясняя, что и как, скорее напоминал паломника к святым местам. Русь! Древняя Русь. Какова-то Москва? Там, говорят, нынче нарушено юным царем все благочестие. В пестрых кафтанах и завитых париках носятся там иноземцы, да так же оделся и сам молодой государь, и многие близкие ему люди. Тонет Москва в дыму табачном. Обо всем этом, вздыхая, рассказывали Ремезову добрые люди в Устюге, Вологде, Ярославле... И думал Семен Ульянович — вот она, ксеномания, сиречь чужебесие! Скоро, скоро увидит он все сие воочию!

И вот они приехали в Москву. Столица вовсе не выглядела сплошной немецкой слободой, как врали досужие

выдумщики, вологодские и ярославские. Правда, иноземцев было немало, то и дело слышалась нерусская речь и в приказах, но — соображал Семен Ульянович — когда их не было тут, в Москве! Говорят, со времен Грозного толкались тут, соперничая друг с другом, всякие заморские немцы, добивались привилегии в торговле, устраивались на теплые места при дворе. А мало ли было иноземцев при Борисе, при Алексее Михайловиче. Русь не погибла, да, видно, не погибнет и ныне, потому что строго посматривают на иноземцев русичи, а особенно румяные, статные москвичи. Мол, болтай, болтай, а рукам воли не давай! Знай свое место.

Да и сам царь-то, главный ксеноман-чужебесец, далеко не всякому иноземцу оказывает почтенье. Разгневавшись на голландского посла, хватил его, говорят, кулаком!

Сибирским приказом ведал боярин князь Иван Борисович Репнин. Ласково принял Репнин тобольских гостей. Похвалил чертежи, сделанные ранее, указал кое-какие их недостатки и велел тут же в Москве продолжать работу. Отцу и сыну Ремезовым дали жалованья и оклад и указали быть в доме ближнего боярина Михаила Яковлевича Черкасского в пропитании.

Ремезовы принялись за чертежи. Во время этой работы неожиданно вызвали Семена Ульяновича какие-то бояре и стали допрашивать, что он знает о кольчуге Ермаковой, о панцире; правда ли, что сей панцирь возил отец его, сотник Ульян Моисеевич, калмыцкому тайше Аблаю? Встревожился Ремезов, к чему это? Но ответил так, как было,— это ведь знали все в Тобольске. Да, сотник Ульян Моисеевич отвез кольчугу от наследника Кайдаула тайше Аблаю. Какова была кольчуга? По рассказам и записям отца, кольчуга была в два аршина длиной, украшена золотыми орлами двуглавыми. Заставили описать точно, зарисовать. Показали какому-то иностранцу, называемому геральдиком. Это было не имя, а профессия. Иностранец, рассматривая рисунок, кивал головой. Ремезову объяснили, что вздумал царь дать всем городам гербы, то есть особые знаки, так вот на тобольском гербе предполагается изобразить доспехи Ермака Тимофеевича. Отлегло от сердца Семена Ульяновича. Доспех, побывавший в руках у отца, будет изображен на гербовом щите тобольском! А то уж думал Семен Ульянович — беда какая!

Однако все это было сделано попутно. А вызвали в Москву не столько расспрашивать, сколько учить. После-

ли Ремезова в Кремль, в Оружейную палату, в ведении которой находилось каменное строение всяких дел. И начали тут мастера русские и иноземные водить Ремезова от машины к машине, показывать, как надо из камня строение ставить, как надо сваи бить, глину месить, разминать и на гору известь, камень, воду и иные припасы втаскивать. Все записывал Ремезов, ничего нельзя было упустить из виду, особенно же как на гору таскать припасы: высока Троицкая гора, на которой встанет новый каменный град Тобольск. Показывали еще мельничное колесо и много разных других машин и приборов.

Так знаменописец тобольский превратился в архитектора, в инженера. И москвичи, показав тоболянину сию премудрость, еще раз осведомились: пространно ли, довольно сказано?

Об этом узнал он довольно. Но, окончив науку в Оружейной палате, постарался еще Семен Ульянович поучиться кой-чему у математиков и астрономов. Ибо знал, что царь Петр, посмотрев его чертежи, хвалил их и велел продолжать работу дальше. Хотелось, чтоб эта работа вышла еще лучше.

И еще одно дело было в Москве у Семена Ульяновича. Сто десять лет тому назад основатель Тобольска Данила Чулков взял в плен хана Сеида, казахского султана Уразмухамеда и мурзу Карачу. Пленники были отвезены в Москву. Их потомки, по слухам, жили здесь и по сей час. Ремезов отыскал их. Это были совсем обрусевшие, потерявшие азиатский облик люди. «Род сей есть и днесь»,— записал Ремезов...

К началу зимы Ремезовы покинули наконец Москву. Ехали в Сибирь вместе с бояриным Черкасским, в московском доме которого были «в пропитании». Черкасский получил назначенье тобольским воеводою. Ремезов, таким образом, стал как бы доверенным его человеком, советником.

К новому, 1699 году Семен Ульянович благополучно вернулся домой, привезя с собой немало московских подарков. Была тут и печатная книга фряжская о каменном строении, были тут и краски, и кисти, и циркули, и компасы, и блестящая добрая заграничная бумага, и полотна. Но самым ценным из того, что привез в Сибирь домой Ремезов, была уверенность в том, что все идет так, как надо, что нечего бояться новых порядков, что табачный дым не застил глаза никому и ничуть не страшна пресло-

вутая ксеномания молодого царя. Ксеномания, ксенофобия, ксенофилия — все это чушь, пустяки, если есть царь в голове.

Так и сказал Семен Ремезов согражданам, сбежавшимся слушать московские новости.

6

На Троицкой горе, где когда-то Данила Чулков срубил нехитрый свой острожек из судового ладийного леса, рос теперь новый Тобольск, Тобольск Петра Великого, гордый огнеупорный город, обличьем своим напоминающий европейские города. Этот новый город строился под руководством Ремезова. И стал в эти дни Семен Ремезов очень важным человеком в Тобольске, вроде как первым после старшего воеводы князя Черкасского. Шутка ли! Заново строил город.

Много хлопот было у Ремезова. Но между этими хлопотами выдумал он, казалось бы и совсем некстати, еще одну. Не при виде ли дела рук своих, этого нового города, вспомнил Семен Ремезов, строитель, о седой старине? Слушая треск и грохот разрушаемых изб, скатывая с горы бревна, вдыхая их гниль и пыль, не вспоминал ли Семен Ремезов тех, кто строил эти избы, тыны и башни? Старина! Может быть, Семен Ульянович даже слегка грустил, что не увидит больше этих древних бревенчатых, заплесневелых стен тобольского славного острога. Так грустят люди, расставаясь со старой, изношенной, видавшей виды одеждой, перед тем как облачиться в новое, непривычное, необношенное, хотя и более добротное, и более нарядное платье. Воспоминанья! Как бы то ни было, но строитель нового Тобольска Семен Ульянович Ремезов, этот полный сил тридцатисемилетний человек, разведыватель новых дорог и стран, географус и архитектор,— словом, человек нового времени, нового духа,— Семен Ремезов решил написать труд о седой старине.

Между делом, урывками, возвращаясь с горы, где веселые каменщики воздвигали новые здания, брался за перо Семен Ульянович.

С чего он начал? Всевидящее око, Евангелие, лучи от него, озаряющие славный полукруг городов и острогов — Тюмень, Тару, Пелым, Березов, Сургут, Нарым, Кетск, Кузнецк, Селенгу, Аргунь. А внизу крупностольный город

сибирский, Тобольск. Это был рисунок, а текст под рисунком гласил о том, что «искони всевидец христианский наш бог, творец всея твари чадебно предповеле проповедоватися через Сибирь евангелю в конце вселенныя на край городу Тобольску, граду имениту». Тобольск — ворота Востока, преддверье вьюжного Лукоморья, преддверье знойной Азии. Вот ответ всем, кто толкует, что Восток нас поглотит!

Далее излагал Семен Ульянович в коротких статьях историю завоевания Сибири. Рисунки, живые и ясные, дополняли слова. Молодой Ермак борется. Молодой Ермак учится стрелять в цель. Поход за Камень. Битва с татарами. Завоевание иртышских низовий. Гибель Ермака. Постройка городов... Все это было описано и изображено здесь. При составлении своего труда Семен Ульянович пользовался всякими известиями — описаниями старых казаков-грамотеев, летописью и синодиком Киприана, трудом дьяка архиерейского дома Саввы Есипова, который в тридцатых годах расширил и дополнил первую летопись. Но много Семен Ульянович добавил и своего, нового, еще нигде и никем не написанного. Так, например, повествуя о пленении Чулковым хапа Сеида, султана Уразмухамеда и мурзы Карачи, добавил Ремезов о том, что потомки сих азиатских владетелей счастливо продолжают свой род в России. Он сам видел этих людей в Москве. И упомянуть об этом было очень важно, чтоб знала Азия о том, как благосклонна и добра Россия к покоренным народам.

А особенно живо рассказал Ремезов о той великой славе, которую приобрел Ермак Тимофеевич у азиатцев. Как чтили они его память, каким волшебником и чудотворцем казался он после смерти. Обо всем этом Семен Ульянович мог писать с гордостью и с глубоким знанием дела. Подробно и увлекательно изложил Семен Ульянович в своей книге историю путешествия отца с доспехами Ермака к тайше Аблаю... Наивные и полные очарования рисунки сопровождали этот рассказ. Вот Ульян Моисеевич Ремезов «с товарищи» скачет на юг, везя Аблаю волшебную кольчугу. Вот столица калмыцкая, узорный шатер тайши. Высокий, худощавый, в меховой шапке, Аблай обращает свое калмыцкое морщинистое лицо к бородатым здоровякам, тоболянам. Аблай целует кольчугу Ермака. Аблай повествует о чудесах ермаковской могилы. Аблай пирует с послами. Этот рассказ о посольстве Ульяна Ремезова к

Аблаю в 1650 году был как бы вставным эпизодом в летопись, повествующую главным образом о завоевании Сибири и о постройке Тобольска. Последние главы своего труда посвятил Семен Ульянович рассуждениям на политические, этические и религиозные темы. И кончил свой труд Семен Ульянович так:

«Се дозде доплывши, ветрила словес спустивши, в твердом пристанище истории охотие почием. Никто ж себе тако не милует, яко всех нас бог. Ты же, читателю, зря вышеписанное, вспоминай бога паче дыхания, чти его делом, а хвали его словом и помыслы. Бойся его. Душу имей, аки воеводу, тело аки воина, дабы воин воеводе во всем благопокорен был, а не воевода воину, яко ества здравая из глиняного блюда есть вкусно. Аз же в сибирьстей бытна о единодушных казацех вкратце глаголал, налично всположих в Тобольске граде всенародному зрению нескрытно; аще и языка светлого не стяжах, еще железным ключом отверзах, а златый уготових ко утешней всенародной пользе...»

Так написал он. И то, что он написал, не было, пожалуй, летописью в полном смысле этого слова. Да и не к чему это ему было делать. Ибо знал он: летопись тобольскую пишет другой человек. Был такой человек в городе. Писал труд под заглавием «О поставленьи городов и острогов в Сибири». Начав также со времени покорения Сибири, сей писатель не остановился на делах стародавних, но отмечал все события современности. Этот летописец описывал все: и события времен Михаила, и воцарение Алексея, и смерть его, и воцарение Федора, и смерть и восшествие на престол двух юных царевичей Петра и Иоанна, и про Софью... Про всех воевод, не только тобольских, но и иногородних, подробно рассказывал сей летописец — кто куда поехал, кто сколько служил. Также отмечал он и все выдающиеся события церковной жизни: явление Николая-чудотворца воеводе Шереметеву, явление божьей матери в Абалаке, написание дьяконом Матвеем ее иконы, подарки церквам от воевод, строительство новых церквей. Все пожары тобольские великие — от небрежности, от молний, от поджогов. А за сто лет своего существования раз десять чуть ли не дотла выгорал город,— все это было описано сим трудолюбивым дьяком-летописцем. То была настоящая летопись. А Семен Ульянович имел иную цель. Он взял несколько ярчайших случаев из старины тобольской. В сущности, это была не ле-

топись, но некая поэма о старине, о стариках, о предках. Он оговорился, что я, мол, не светлоречив. Но вряд ли он сам верил этим словам. Многие главы, особенно о постройке Тобольска, пленении Сейдяка и Карачи, о поездке отца к хану Аблаю с доспехами Ермака, вышли у Ремезова чрезвычайно ярко и живо. Кое-какие статьи, особенно отвлеченные рассуждения, действительно были написаны несколько витиевато. Однако и то и другое было написано от души.

Поэма о предках. Старинным торжественным словом писал он ее. И, отдав сию дань старине, вернулся к действительности. Вовсе не таким языком, как писал, объяснялся он с каменщиками на Троицкой горе. Не таким словом писал он и объяснения к чертежу Сибири. Царь Петр, сам выражавшийся по-новомодному, стремительно и ясно, едва ли похвалил бы Ремезова за славянизм, торжественность, витиеватость. Тут надо было писать по-другому. Некогда было выдумывать красивости. Тем более что из Москвы весьма торопили. Ждали большой чертеж.

Быстро закончив свою летопись, Ремезов вернулся к этим делам. Утром на постройке, вечер — за чертежом. Чертеж — это, пожалуй, теперь самое главное. И действительно, Семену Ульяновичу еле-еле удалось справиться вовремя. Он с помощью сыновей своих Ивана, Семена, Петра и Леонида завершил этот труд к 1 января 1701 года.

7

Сказать, что это был чертеж с описанием,— значило бы сказать слишком мало. Это были не только карты и объяснения к ним. Это была отнюдь не одна география. Богатейшие экономо-статистические данные о стране, количество населения, дворов, характер угодий, масса указаний исторического и археологического свойства — где какие гробницы, памятники, руины, указания на то, куда выводят дороги из Сибири,— чего только не было здесь, в этом труде! Говорилось здесь не только о прошлом и настоящем, но и о будущем; так, например, наметил Семен Ремезов города, которые еще не существовали в его время, но не могли не возникнуть в будущем.

Не зря путешествовал Семен Ульянович Ремезов по Сибири. Не зря, вернувшись из Москвы, беседовал он так

много и подробно со старожилами-сибиряками, со всякими памятными бывальщиками в непроходимых местах, в степях и морях и в каменьях безводных, с русскими и азиатцами новокрещеными, с гостями — бухарцами, татарами и калмыками. Опрашивая, он проверял показания этих добрых людей. Диковинными заморскими инструментами — компасом и циркулем. Не зря привез эти инструменты из Москвы. И в Москве побывал не зря. Поездка в Москву, общение с лучшими людьми своего времени, работа в книгохранилищах, в архивах сибирского приказа — все, все пригодилось, все сказалось в той замечательной работе, которую проделал Семен Ульянович Ремезов.

Сибирь — хозяйка Северной Азии, Сибирь, гигантски выросшая за сто лет русского владычества, Сибирь, глядящая в Ледовитый и Великий океаны, глядящая на Китай, Индию, Персию,— вот какая Сибирь ожила под пером тоболянина, сына боярского Семена Ульяновича Ремезова.

Уж подлинно золотым ключом в некую сокровищницу Востока был этот чертеж земли сибирской.

Труд Ремезова высоко оценили не только в Тобольске, но и в Москве. Этот труд стал основой многих европейских карт Азии. Надо сказать, что и все прежние, так называемые «западноевропейские», карты русского Севера и Северо-Востока были составлены не иноземцами, а русскими людьми. Известная карта голландца Исаака Мааса, обнародованная им в 1612 году — карта с изображением северного берега России от Архангельска до устья Енисея,— была составлена русским, помором. Карта того же Мааса, изданная им в 1633 году, была попросту переизданием карты, составленной царевичем Федором, сыном Годунова. Голландец Витзен, хвастаясь перед Европой своей мнимой осведомленностью в восточных делах, преподнес наивным амстердамцам ту самую карту старого тобольского воеводы Годунова, которой в детстве любовался Семен Ремезов. И теперь, когда Семен Ремезов составил свой замечательный труд, когда чертежи тобольского исследователя оказались в Сибирском приказе в Москве, иностранцы сумели извлечь из этого свою пользу. Витзен был тут как тут. И вскоре изумленная Европа увидела новую «витзеновскую» карту. Кто там в Голландии знал про тобольского географуса Семена Ремезова, изготовившего сей ключ золотой Востока?

Однако ключ золотой оказался тяжеловат для голландцев. Не им, голландцам, все же предстояло открыть дверь в сокровищницу северной Азии.

Ключи. Ключ железный, ключ золотой. Сибирская история, сибирская явь. Старое и новое.

8

Новое! Оно давало о себе знать что ни день. На рубеже XVIII века, когда кончал Семен Ремезов свои чертежи, много нового произошло здесь, в Сибири. Беспокойно вздыхали старые воеводы, уютно сидевшие в глухих городках и острогах: «Ну, времена!» Не стало покоя. То и дело появлялись из Москвы какие-то сыщики, ревизоры. «Почему на вас жалоба?» — «От кого жалоба?» — «От инородцев жалоба, что грабите их, отбираете то, что должны бы они сдавать в казну. Царь давно приказал вам не казнить инородцев без спроса, а вы казните. От рудознатцев тоже жалобы, что им дорог к железу не показываете».

Беспокойные пришли времена. Железо вдруг стало дороже злата. В 1700 году возник в Тобольском уезде на верховьях Исети первый большой железный завод. Тобольский сын боярский Иван Астраханцев лил там пушки, мортиры, ядра. В том же году мастера, прибывшие в Тобольск из Тулы, оборудовали здесь оружейный завод. Царь Петр Алексеевич весьма торопил со всем этим. Снаряды и орудия оказались теперь нужнее, как никогда прежде. Началась Северная война!

Началась Северная война, и устанавливались мирные добрососедские отношения с сопредельными странами Востока. Проследовали через Тобольск в Россию посольство от самого Цевана-Роптана, сильного и влиятельного царя Джунгарии. Это было в 1701 году, в том году, когда Семен Ульянович кончил свой атлас.

Что делал он, кончив атлас? Дело нашлось. Отдыхать было некогда в это горячее время. Недаром вслед за мелкими сыщиками послал царь в Тобольск тогда, в 1702 году, важных людей из Сибирского приказа и с ними думного дьяка, главу всех пушкарей, Андрея Андреевича Виниуса. Как процветают новые железные заводы? Заводы на Каменке, на Ухтусе, в Алапаихе. Пушек! Больше пушек! Так твердил Виниус. А приказные пытали: почему мало белок, соболей, горностаев поступает в казну? Каково со сбором налогов? Каково с торговлей? Ведь торговля, как говорит

царь Петр, верховная обладательница судьбы человеческой. А деньги, говорил он, деньги «являются главною артериею войны».

Шла война, война за Прибалтику. Она началась не блестяще, Петр потерпел поражение под Нарвой. Но вслед за этой неудачей пришли и победы, которые дались, само собой разумеется, не легко. И в год закладки Санкт-Петербурга, в 1703 году, явился в Тобольск некий грозный наборщик рекрутов Андреян Романов, и набирал он великое множество духовных и деловых людей по всей Сибири.

Что делал в это время Ремезов? Он продолжал наблюдать за постройкой каменного города. Но не только. Помогал он Андреяну Романову вербовать рекрутов. Путешествовал, ревизуя оружейные заводы. Разъяснял, что деньги «являются главною артериею войны». Вероятно, как известный грамотей и художник, помогал Ремезов новому митрополиту тобольскому Филофею Лещинскому оборудовать первую в Сибири школу, школу для детей церковнослужителей. Может, именно Ремезов рисовал декорации для первого сибирского театра, ибо не позже как через два года, в 1705 году, школьники тобольские дали первое в Сибири драматическое представление.

Не исключена возможность и того, что сын боярский Семен Ремезов, одетый уже в европейское платье, нес караул по охране ссыльных типографщиков — единомышленников Григория Талицкого, печатавшего воровские письма, будто Петр — антихрист. А может быть, Семен Ремезов нес караул при ссыльных стрельцах астраханских или при ссыльных булавинцах,— те и другие оказались здесь, в Сибири.

Наконец, мог Семен Ремезов участвовать в экспедиции против беглых людей. Много таких развелось опять на Руси. Бежали от рекрутчины, от налогов, от вербовки на работу по постройке Петербурга, каналов, соединявших Балтику с Каспием, Волгу с Доном. Бежали, громя по пути усадьбы помещиков, бежали на юг, бежали и за Камень.

Беспокойное было время. И наверняка можно сказать — не отдыхал Семен Ремезов, сын боярский. Тобольск кипел. Прибывали все новые и новые люди. Одни оставались в городе, другие ехали дальше — кто на Алтай, кто к границам Китая, кто на далекую Камчатку. Тут были и чиновники, и ратные люди, и сыщики, и ревизоры, и

ученые, и купцы. Духом небывалого оживления веяло по всей Сибири.

А в конце 1708 года объявил тоболянам воевода князь Михайло Михайлович Черкасский, сын умершего Михаила Яковлевича, что он, Михайло Черкасский, есть последний у тоболян воевода. Смотрите, мол, на меня и запоминайте! Ибо больше ни в Тобольске, ни в других городах Сибири воеводам не бывать. Царь, мол, Петр недаром посылал в Сибирь столько разных ревизий. Теперь, изучив, решил, что нельзя по-старому править страною. Ревизия воеводского управления показала, сколь много несовершенства и злоупотреблений имеется. И вот царь Петр, от всего этого сыскного дела устав, повелел воеводское управление уничтожить. «И будет отныне сибирская губерния, к которой приписаны двадцать шесть городов. И править сей губерней будет губернатор».

9

Конец пришел старому Тобольскому воеводству. Конец старине. Словно чувствовал это Семен Ремезов заранее, когда писал труд свой — летопись о днях стародавних.

Конец воеводству! Подсчитали тоболяне: за сто тринадцать лет перебывало в стольном городе сорок воевод. Сорок начальников, вольных и невольных, мудрых и простоватых. Всякие были. Правили, как умели. Сибирь азиатцам назад не отдали, а наоборот — беспредельно расширили ее границы. Теперь же сказано новое слово: губерния. Двадцать шесть городов. Тобольский губернатор будет править и Тюменью, и Тарой, и Березовом, и Сургутом, и Томском, и Пелымом, и Новой Мангазеей, что на Турухане, и Енисейском, и Кузнецком, и Ишимском, и Иркутском, и Нарымом, и Туруханском, и Верхотурьем, и Красноярском, и Нерчинском, и Якутском, и Кетском, и Кунгуром. Э! Да еще и городами за Уралом — Пермью великой, Чердынью, Солью-Камской, Кайгородком, Induced Яренском и даже Вяткой с четырьмя пригородами. Дивно! Както управится с такой обширной губернией новый тобольский воевода, то бишь губернатор!

Семен Ульянович Ремезов видел приезд этого губернатора — юркого, непоседливого князя Матвея Петровича Гагарина, бывшего нерчинского воеводы, а затем президента Сибирского приказа. Гагарин явился в Сибирь с великой торжественностью — плыл на судне, сплошь обши-

том алой тканью, чуть ли не под алыми парусами. Выходил Гагарин на пристанях, принимал хлеб-соль и переименовывал бородатых растерянных воевод в коменданты. Прибыв в Тобольск, Гагарин осмотрел воздвигнутый Семеном Ульяновичем на горе новый каменный город. Сказал — работу надо продолжать еще и еще. Мало построек, город должен стать волшебно красивым. «Дам тебе скоро искусных помощников! Таких инженеров, что и Москва не видывала. У меня с царем уже договорено!»

И действительно, вскоре прибыли в Тобольск пленные шведы из-под Полтавы. Гагарин сразу распределил, кто из них что будет делать. Прусскому уроженцу фон Врехту, взятому со шведами под Полтавой, Гагарин посоветовал открыть в Тобольске школу. Других умников приспособил Гагарин заняться переводом азиатских книг — предъявил сочиненье Абулгази Багадур-хана о монголах и татарах. А шведских инженеров отдал в распоряжение Семена Ульяновича.

Замечательные новые строения воздвигали эти шведы на Троицкой горе. Там возникло несколько больших домов, палаты над крепостными воротами, грандиозная арка, получившая название шведской. Скандинавским средневековьем веет от этих грандиозных стен, украшающих и поныне Троицкую гору. Договорился Гагарин со шведами и о том, чтоб отвели они русло Тобола,— воды реки подмывали городской берег. Прорыт был канал, и Тобол пошел новой дорогой.

Тобол-река, давшая имя стольному городу сибирскому,— пошла по новому руслу. Не вся ли жизнь сибирская пошла по новому руслу в эти годы? Чужебесие? Этого слова теперь никто не боялся. Иноземцы пришли в Сибирь не хозяевами, но покорными слугами неукротимого царя.

Семен Ремезов видел, как Гагарин послал многих из этих господ в дальний путь по Иртышу с экспедицией, отправленной на юг искать золотые пески страны Эркеть, а может быть, и дорогу в Индию, ту дорогу, о которой когда-то расспрашивал видальцев и бывальцев Семен Ульянович,— дорогу к верховьям индийской реки Ганг, Трехтысячный отряд готовился встретить следующую весну в солнечном Туркестане.

Руководители этой экспедиции познакомились с «чертежами» Ремезова. Обратили они внимание на пометку Семена Ульяновича о том, что над устьем реки Омь, на краю степи калмыцкой, пристойно быть новому городу.

Омскому городу! Едва ли они интересовались устьем какой-то Оми. Сказочные сокровища Востока, Китая, Коканда, Индии — вот что манило путешественников. Ремезов знал это.

Но не узнал Семен Ульянович, что город на Оми пришлось все-таки поставить. Не удался поход в Туркестан, в Индию, а закончилась экспедиция именно постройкой предсказанного Семеном Ульяновичем города на Оми.

Ремезов не узнал этого, ибо в том самом году он умер.

Он, родившийся в небольшом деревянном Тобольске, умер в каменном новом городе, красивейшем и величайшем городе северной Азии. Восемнадцать тысяч дворов насчитывалось уже в Тобольске. Слава о городе шла от полярного моря до монгольских степей, от берегов Тихого океана до персидской границы.

Русские, шведы, пруссаки, татары, китайцы, джунгары, кокандцы, бухаретяне, казахи, ханты, манси, коми — кого только не было здесь, у стен белокаменного тобольского кремля. Строитель этого нового города Семен Ремезов умер в 1720 году. Причина его смерти нам точно неизвестна. Скорей же всего, как говорится, «сгорел» на работе. Ибо работал он на редкость неутомимо, на редкость талантливо и плодотворно. Архитектор-художник, географ, историк, писатель — Семен Ульянович Ремезов был достойным современником и соратником Великого Петра.

Содержание

Леонид Николаевич Мартынов

ЧЕРТЫ СХОДСТВА
Новеллы

Составитель Сякин Владимир Викторович

Рецензент **В. Дементьев**
Редактор **Н. Суворова**
Художник **А. Шпаков**
Художественный редактор **Г. Саленков**
Технический редактор **Н. Децко**
Корректоры **В. Лыкова, Н. Дегтярева**

ИБ № 1960
Сдано в набор 18.02.82. Подписано к печати 14.04.82. А02036. Формат 84x108/32. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 12,39. Тираж 50 000 экз. Заказ № 3800. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28, в Рязанской областной типографии. 390012, Рязань, Новая, 69/12.